
ЖОРЖ
БЕРНАНОС
Под солнцем
Сатаны
•
Дневник
сельского
священника
•
Новая история
Мушетты

Дневник сельского священника

Жорж Бернанос

Аннотация
Бернанос Жорж. Дневник сельского священника
I
II
III

Аннотация

Жорж Бернанос (1888-1948) - один из крупнейших французских писателей, с которым русский читатель знаком по нескольким новеллам. В настоящий сборник включены три наиболее зрелых и сильных произведения Бернаноса: "Под солнцем Сатаны", "Дневник сельского священника" и "Новая история Мушетты". Писатель ставит проблемы, имеющие существенное значение для понимания духовной жизни человека. Бернанос отдает свои симпатии людям обездоленным. Страдающие, подчас отчаявшиеся, они находят в себе силы для любви, добра.

Бернанос Жорж
Дневник сельского священника

I

У меня приход как приход, ничего особенного. Все приходы на одно лицо. Теперешние, естественно, приходы. Я сказал вчера об этом норанфонтскому кюре: добро и зло здесь в равновесии, но только центр их тяжести лежит низко, очень низко. Или, если предпочитаете, добро и зло наслаиваются одно на другое, не перемешиваясь, как жидкости разной плотности. Г-н кюре расхохотался мне в лицо. Это хороший священник, очень добрый, отечески благорасположенный, в архиепископстве он слывет даже вольнодумцем, немного опасным. Его шуточки веселят всю епархию, и он сопровождает их настойчивым взглядом, как он считает - живым, но, по-моему, таким, в сущности, усталым, измученным, что хочется плакать.

Мой приход снедает уныние, точнее не скажешь. Как и множество других приходов! Уныние снедает их у нас на глазах, и мы тут бессильны. Возможно, не далек день, когда эта зараза коснется и нас, мы обнаружим в себе раковую опухоль. С нею можно жить очень долго.

Эта мысль пришла мне в голову вчера на дороге. Моросил мелкий дождичек, из тех, что впитываешь легкими и влага заполняет тебя, проникая до самого нутра. С сенваастского откоса деревня вдруг увиделась мне такой придавленной, такой жалкой под мерзким ноябрьским небом. Вода курилась над ней со всех сторон, и деревня точно прикорнула там, в струящейся траве, как несчастное обессилевшее животное. Какая же это малость, деревня! И эта деревня была моим приходом. Она была моим приходом, а я был бессилен ей помочь и печально смотрел, как она погружается во тьму, исчезает... Еще несколько минут, и я уже не буду ее видеть. Никогда прежде я не ощущал с такой пронзительной болью ее одиночество и мое собственное. Я думал о скотине, сопение которой слышалось в тумане, о пастушонке, который, возвращаясь из школы с ранцем под мышкой, скоро погонит коров по вымокшему пастбищу к теплому, душистому стойлу... И она, деревня, казалось, также ждала - без большой надежды, - что после стольких ночей, проведенных в грязи, придет хозяин и поведет ее к какому-то несбыточному, непостижимому приюту.

Я отлично понимаю, что все это бредни, я и сам не принимаю их вполне всерьез, так, грезы... Де-

ревни не подымаются на зов мальчишки-школьника, как коровы. Ну и пусть! Вчера вечером, мне кажется, найдись какой-нибудь святой - она бы пошла за ним.

Итак, я говорил себе, что мир снедаем унынием. Естественно, нужно немного призадуматься, чтобы отдать себе в этом отчет, так сразу не увидишь. Это вроде как пыль. Ходишь, бродишь, занятый своим делом, и не замечаешь ее, дышишь ею, пьешь ее, ешь, но она так тонка, так въедлива, что даже на зубах не скрипит. Стоит, однако, остановиться хоть на мгновение, она покрывает твое лицо, руки. Нужно суетиться без устали, чтобы этот дождь пепла не осел на тебе. Вот мир все и суетится.

Мне скажут, пожалуй, что мир давным-давно свыкся с унынием, что уныние подлинно удел человеческий. Возможно, семена его и были разбросаны повсюду и взошли местами, на благоприятной почве. Но я спрашиваю себя, знавали ли люди и прежде такое всеобщее поветрие уныния? Недоносок отчаяния, постыдная форма отчаяния, эта проказа, нет сомнения, - своего рода продукт брожения разлагающегося христианства.

Ясное дело, такие мысли я держу про себя. Но не стыжусь их, однако. Я даже думаю, что меня

хорошо бы поняли, слишком хорошо, пожалуй, для моего спокойствия - я хочу сказать, для спокойствия моей совести. Оптимизм наших владык давно омертвел. Те, кто все еще проповедуют его, поучают по привычке, сами в него не веря. На малейшее возражение они отвечают понимающей улыбкой, словно извиняясь. Старых священников не проведешь. Пусть внешние формы и неприкосновенны, пусть соблюдается верность исконному словарю, сами темы официального красноречия уже не те. Люди постарше нас замечают перемены. Прежде, к примеру, в соответствии с вековой традицией, епископское послание непременно завершалось осторожным намеком - убежденным, конечно, но осторожным - на грядущие преследования и кровь мучеников. Теперь предсказания такого рода делаются реже. Уж не потому ли, что их осуществление представляется довольно вероятным?

Увы! В священнических домах все чаще слышишь словечко из так называемых "окопных" - этот отталкивающий жаргон, не знаю как и почему, казался забавным старшему поколению, но моих сверстников от него коробит, так он уродлив и скучен. (Поистине удивительно, впрочем, с какой точностью мрачные образы этого жаргона

выражают мерзкие мысли, но только ли в окопном жаргоне дело?..) Все кругом только и твердят, что главное - "не вникать". Господи! Но мы ведь созданы для этого! Я понимаю, на это есть высшие духовные лица. Ну а кто их, наших владык, информирует? Мы. Так что, когда превозносят послушание и монашескую простоту, мне, как я ни стараюсь, это не кажется убедительным...

Все мы, если велит наставник, способны чистить картошку или ухаживать за свиньями. Но приход не монастырь, тут одной добродетели мало! Тем более что они ее даже не замечают, да, впрочем, им и не понять, что это такое.

Байельский протоиерей, уйдя на покой, стал частым гостем в Вершоке у достопочтенных отцов картезианцев. Одна из его лекций, на которой господин декан предложил нам присутствовать почти в обязательном порядке, так и называлась: "Что я видел в Вершоке". Мы услышали немало интересного, даже увлекательного, вплоть до самой манеры изложения, поскольку этот очаровательный старец сохранил невинные причуды бывшего преподавателя словесности и холил свой стиль не меньше, чем руки. Казалось, он надеется, впрочем не без опаски, на весьма маловероятное присутствие среди своих слушателей

в сутанах г-на Анатоля Франса и словно бы испрашивает у того снисхождения к Господу Богу во имя гуманизма, расточая многозначительные взгляды, двусмысленные улыбки и изящно отставляя мизинчик. Церковное кокетство такого рода было, наверно, модным в девятисотые годы, и мы постарались отдать дань его "меткости", хотя он ровным счетом ни во что не метил. (Я, возможно, слишком груб по природе, слишком неотесан, но, признаюсь, образованные священники мне всегда были противны. Общение с высокими умами - это, в сущности, тот же званый обед, а лакомиться на званом обеде под носом у людей, умирающих с голоду, недостойно.)

Короче, г-н протоиерей поведал нам уйму всевозможных историй, как принято выражаться, "анекдотов". Думаю, смысл их я понял. К сожалению, все это тронуло меня меньше, чем мне бы хотелось. Не спорю, никто так не управляет своей внутренней жизнью, как монахи, но все эти пресловутые "анекдоты" вроде здешнего вина - его нужно пить на месте, перевозки оно не терпит.

Возможно также... должен ли я об этом говорить?.. возможно также, что когда такая небольшая группа людей живет день и ночь бок о бок друг с другом, она невольно создает благо-

приятную атмосферу... Мне и самому доводилось бывать в монастырях. Я видел, как монахи, распростершись ниц, смиренно выслушивали, не пытаясь даже возражать, несправедливые поучения какого-нибудь настоятеля, который старался сломить их гордыню. Но в этих обителях, куда не долетает эхо внешнего мира, сама тишина приобретает такое особое качество, такое поистине поразительное совершенство, что слух, обострившийся до чрезвычайности, мгновенно улавливает малейший трепет... Иная тишина в зале капитула дороже аплодисментов.

(В то время как епископское увещевание...)

Я перечитываю первые страницы своего дневника без всякого удовольствия. Разумеется, я немало передумал, прежде чем решился завести его. Но это меня отнюдь не успокаивает. Для человека, привыкшего к молитве, размышления слишком часто не более чем алиби, скрытый способ утвердить себя в определенном намерении. Рассудок легко оставляет в тени то, что мы желаем там спрятать. Мирянин, раздумывая, взвешивает твои возможности, это понятно! Но о каких возможностях может идти речь для нас, коль скоро мы раз и навсегда приняли грозное присутствие божественного в каждом мгновении

нашей ничтожной жизни? Пока священник не утратил веры, - а что от него останется, если он ее утратит, ведь тем самым он отречется от себя? - он не может даже составить ясного представления о своих собственных интересах, представления столь же прямого - хотелось бы даже сказать: наивного, непосредственного, как человек, живущий в миру. Взвешивать свои возможности да зачем? Против бога не играют.

Получил ответ от своей тетки Филомены, в конверт вложены две стофранковые купюры, - этого как раз хватит на самые неотложные расходы. Деньги утекают у меня между пальцами, как песок, просто ужасно.

Надо признать, что я делаю непоправимые глупости! Так, например, эшенский бакалейщик г-н Памир, человек порядочный (двое из его сыновей священники), сразу же принял меня очень дружелюбно. Он, впрочем, постоянный поставщик моих собратьев. Когда бы я ни зашел к нему, он непременно потчевал меня в задней комнате своей лавки хинной водкой и печеньем. Мы подолгу с ним беседовали. Времена для него сейчас трудные, одна из дочерей все еще не устроена, а оба младших мальчика, студенты католического института, немало ему стоят. Короче, как-то, при-

нимая мой заказ, он сказал с милой улыбкой: "Я добавлю три бутылки хинной, у вас хоть краска появится в лице". Я, по глупости, решил, что это - подарок.

Бедняк, который двенадцати лет прямо из нищего дома попал в семинарию, так никогда и не узнает цену деньгам. Я полагаю даже, что нам трудно сохранить честность в деловых вопросах. Лучше уж вовсе не рисковать и не играть, пусть даже и невинно, с тем, что большинство мирян считают не средством, но целью.

Вершинский священник, не всегда отличающийся тактом, счел нужным шутливо намекнуть г-ну Памиру на это небольшое недоразумение. Тот искренне огорчился. "Я всегда рад господину кюре, - сказал он, - пусть заходит ко мне почаще, мы не откажем себе в удовольствии выпить вместе. Я, слава богу, от одной бутылки не обеднею. Но дела есть дела, я не могу раздавать свой товар даром". А г-жа Памир, кажется, добавила: "Нас, коммерсантов, ведь тоже положение обязывает".

Сегодня утром принял решение, что буду вести дневник не дольше года. Ровно через двенадцать месяцев, 25 ноября, я сожгу эти листки и постараюсь о них забыть. Но это решение, принятое после обедни, успокоило меня ненадолго.

Я не испытываю угрызений совести в прямом смысле слова. Мне не кажется, что я делаю что-то дурное, отмечая здесь день за днем с полной откровенностью скромнейшие, ничтожнейшие секреты жизни, в которой, впрочем, нет ничего тайного. Из того, что я закрепляю на бумаге, мой единственный друг, которому мне еще случается открывать душу, не узнал бы обо мне ничего существенно нового, к тому же я никогда бы не осмелился, я это ясно чувствую, написать все то, что поверяю каждое почти утро Богу без всякого стыда. Нет, на угрызения совести это не похоже, тут скорее какой-то безотчетный страх, инстинктивная настороженность. Когда я впервые положил перед собой эту школьную тетрадку, я попытался сосредоточиться, заглянуть в себя, как делаешь, проверяя свою совесть, перед исповедью. Но этим внутренним взором, обычно таким спокойным, проницательным, пренебрегающим мелочами и устремленным к главному, я увидел не свою совесть. Казалось, он скользил по поверхности какой-то другой совести, мне до той поры неведомой, по какому-то замутненному зеркалу, и мне вдруг стало страшно, что я увижу в нем лицо, - чье? не мое ли? - лицо вновь обретенное, забытое.

О себе должно говорить с неколебимой суровостью. Откуда же у меня, при первой попытке понять себя, эта жалость, эта нежность, эта душевная размягченность и эти слезы, подступающие к горлу?

Вчера был у торсийского кюре. Это хороший священник, очень добросовестный, пожалуй несколько чересчур практичный, сын богатых крестьян, он знает цену деньгам и поражает меня своим мирским опытом. В наших кругах ему прочат пост эшенского благочинного. Держится он со мной как-то непонятно - не терпит душевных излияний и умеет отбить к ним всякую охоту громким добродушным смехом, впрочем, в этом смехе куда больше понимания, чем кажется. Господи, как бы мне хотелось быть таким здоровым, мужественным, уравновешенным! Но, полагаю, он относится снисходительно к моей, как он называет, чрезмерной чувствительности, поскольку знает, что я вовсе не чванюсь ею, о нет! Я давно уже знаю разницу между истинной жалостью святых сильной и мягкой - и тем детским страхом, который испытываю сам перед чужими страданиями.

- Не очень-то хорошо вы выглядите, мой милый!

Надо сказать, что я все еще не пришел в себя после сцены, которую мне закатил в ризнице несколько часов назад старик Дюмоншель. Господь ведает, что я охотно давал бы даром, вместе со своим временем и трудами, бумажные ковры, побитые молью драпировки и сальные свечи, за которые сам плачу втридорога поставщику его преосвященства, хотя они истаивают, не успеешь их зажечь, шипя, как жир на сковородке. Но тариф есть тариф: что я могу тут поделать?

- Вы должны были вышвырнуть этого субъекта за дверь, - сказал он мне.

И на мои возражения:

- Вышвырнуть, и точка! Знаю я вашего Дюмоншеля: у старика водятся денежки... Его покойная жена была вдвое богаче, чем он сам, - справедливо поэтому, чтобы он похоронил ее прилично! Все вы, молодые священники...

Он побагровел и глянул на меня сверху вниз.

- Не знаю, что течет в жилах у вас, молодых! В мое время из священника воспитывали деятеля церкви - не хмурьте брови, мне хочется вас отшлепать, да, деятеля церкви, понимайте это, как хотите, главу прихода, хозяина, человека, призванного руководить. И эти люди держали край в своих руках, им достаточно было кивка головы.

Да, знаю, знаю, что вы мне скажете: они хорошо ели, не хуже пили и не брезговали картишками. Не спорю! Когда разумно подходишь к своему делу, оно спорится, и свободного времени остается больше - ничего тут нет плохого. Теперь к нам из семинарии являются простаки, голодранцы. Эти юнцы воображают, что трудятся больше всех, потому только, что у них ничего не выходит. Они хнычут, вместо того чтобы приказывать. Они прочли уйму книг, но до них так и не дошел - не дошел, слышите! - истинный смысл слов о Муже и Жене. Что такое жена, мой мальчик, та истинная супруга, какую только может пожелать себе мужчина, если ему не хватает ума последовать совету апостола Павла? Не отвечайте, все равно ничего, кроме глупостей, от вас не дождешься! Так вот, это - крепкая женщина, которая не боится работы и знает, почем фунт лиха, знает, что до конца жизни ей придется всякий раз начинать все заново. Святой церкви, как она ни старайся, не превратить этот бедный мир в престол праздника тела господня. У меня когда-то, в моем прежнем приходе, была привратницей удивительная женщина, монахиня из Брюгге, обмирщенная в 1908 году, золотое сердце. Всю первую неделю она знай себе скребла да терла, так что храм божий засиял

не хуже монастырской приемной, я его сам не узнавал, право слово! Дело было, надо сказать, в разгар страды, в церкви - ни живой души, от меня проклятая старушенция требовала, чтобы я переобувался - это я-то, который терпеть не может шлепанцы. Она, кажется, даже заплатила за них из своего кармана. Каждое утро она, разумеется, находила новый слой пыли на скамьях, свежую плесень на ковре у хоров и паутину - да, уж в паутине, мой мальчик, недостатка не было, хватило бы, чтобы соткать приданое невесте.

Я думал про себя: "Начищай, начищай, дочь моя, поглядим, что ты запоешь в воскресенье". Настало воскресенье. Воскресенье как воскресенье, не какой-нибудь там престольный праздник, и народу как обычно, ничего особенного. Ну и беда! В общем, далеко за полночь она все еще скребла и наващивала при свечах. А несколько недель спустя, ко дню всех святых, явились к нам с громовой проповедью отцы редемптористы, молодцы что надо. Бедняжка ночи напролет ползала на четвереньках между своим ведром и ветошью - мыть так уж мыть, - так что даже колонны покрылись мхом, а в щелях между плитами стала прорастать трава. Никакими силами нельзя было ее урезонить, святую сестру. Послу-

шать ее, так следовало бы выставить за дверь всю мою паству, чтобы господь бог не замарал ног, представляете? Я ей говорил: "Вы меня разорите на микстурах" - потому что несчастная старуха вдобавок отчаянно кашляла! В конце концов она слегла - приступ суставного ревматизма, сердце не выдержало, и - хоп! - вот моя монашка предстала перед святым Петром, В известном смысле она, конечно, мученица. И ошибка ее не в том, ясное дело, что она боролась с грязью, но в том, что она хотела с нею покончить раз и навсегда, как будто такое возможно. Приход - грязен, ничего не попишешь. Христианский мир - еще грязнее. Вот погодите, настанет Судный день, увидите, сколько нечистот придется вычерпать ангелам из самых святых обителей - лопатами, как из выгребной ямы! Так вот, дитя мое, отсюда явствует, что церковь должна быть хорошей хозяйкой, хорошей и разумной. Моя монашка не была настоящей хозяйкой: настоящая хозяйка знает, что дом - не дарохранительница. Все это поэтические бредни.

Только этого я и ждал. Пока он набивал свою трубку, я попытался, довольно косноязычно, объяснить ему, что пример, выбранный им, не слишком удачен, что эта монахиня, умершая

от трудов праведных, не имеет ничего общего с "простаками", "голодранцами", юнцами, которые "хнычут, вместо того, чтобы приказывать".

- Ошибаешься, - сказал он мне сурово. - Иллюзии те же. Только у этих голодранцев нет упорства моей монашки, вот и вся разница. После первой же попытки, под предлогом, что практика священнослужения превосходит их бедное понимание, они опускают руки. Им подавай варенье! А христианский мир, как и взрослый мужчина, питается не вареньем. Господь бог сказал в Писании, что мы соль земли, мой мальчик, а вовсе не мед. Так вот, наш бедный мир подобен старому Иову на его навозной куче, покрытому ранами и язвами. Соль, когда ею посыпают раздраженную кожу, обжигает. Но и спасает от гниения. У нас одно в голове - попрать Дьявола, да еще снискать любовь - любовь к себе самим, я имею в виду. Настоящего священника никогда не любят, запомни это. И хочешь, я скажу тебе еще одну вещь? Церкви наплевать на то, любят вас или нет, мой милый. Пусть вас уважают, слушаются. Церкви нужен порядок. Добейтесь, чтобы весь день не нарушался порядок. Установите порядок, помня, что назавтра снова возобладает беспорядок, потому что это в порядке вещей - ночь сводит

насмарку все, чего вы добились накануне - ночь принадлежит Дьяволу.

- Не ночью ли, - сказал я (зная, что рассержу его), - отправляют литургию иноки?..

- Да, - ответил он холодно, - они музицируют.

Я сделал оскорбленное лицо.

- Я ничего не имею против ваших созерцателей, каждому свое. Кроме музыки, они занимаются еще цветами.

- Цветами?

- Именно. После того, как мы приберемся, вымоем посуду, почистим картошку, накроем стол скатертью, они ставят в вазу свежие цветы, это нормально. Заметь, только дурак оскорбится моим сравнением, тут ведь есть, разумеется, свой оттенок... Мистическая лилия отнюдь не то же самое, что лилия полевая. Впрочем, если человек предпочтет говяжью вырезку букету подснежников, то потому лишь, что он сам - скот, брюхо. Короче, твои созерцатели созданы, чтобы снабжать нас прекрасными цветами, подлинными цветами. К сожалению, и в монастырях, как и повсюду, бывают случаи саботажа, и нам подсовывают цветы бумажные.

Не показывая вида, он искоса наблюдал за мной, и мне казалось, я ловил мгновениями в глу-

бине его глаз безмерную нежность и - осмелюсь ли сказать? своего рода тревогу, озабоченность. У меня свои испытания, у него - свои. Но мне о своих трудно умолчать. И если я о них не говорю, то не столько, увы, из героизма, сколько из стыдливости, знакомой также, как я слышал, на свой манер, врачам, по роду их деятельности. Он же о своих трудностях никогда не скажет, что бы там ни случилось, прикрываясь этой ворчливой прямотой, в своем роде еще более непроницаемой, чем белые, как свечи, отцы картезианцы, с которыми я сталкивался в коридорах З...

Внезапно он стиснул мою руку в своей, припухшей от диабета, но пожатие ее было твердым, решительным, властным.

- Ты, может, скажешь, что я ничего не смыслю в мистиках. Смотри не окажись в дураках, сказав это! Так вот, мой милый, был в мои времена в семинарии один преподаватель канонического права, который считал себя поэтом. Он, бедняжка, был мастак на поразительные штуки, тут тебе и стопы, как положено, и рифмы, и цезуры, все, что хочешь! Дай ему волю, он уложил бы в стихи даже свое каноническое право. Ему не хватало только одного, назови это как хочешь - вдохновением, гением - ingenium, так, что ли? Я не

гений. Но, предположим, Святой Дух подаст мне в один прекрасный день знак, я без промедления брошу свою метлу и тряпки - не сомневайся! - и вознесусь прогуляться в облацех, чтобы обучиться ангельской музыке, пусть я поначалу и буду подвирать. Но позволь уж мне смеяться в лицо людям, которые запевают хором, прежде чем Господь Бог поднимет дирижерскую палочку!

Он на миг задумался, и его лицо, хотя и обращенное к свету, показалось мне вдруг подернутым тенью. Даже черты его стали жестче, словно он ждал от меня - а может, от себя, от своей совести - возражения, опровержения, сам не знаю чего... Он, впрочем, почти тотчас просветлел.

- Что ты хочешь, мой милый, у меня свои соображения насчет арфы юного Давида. Он был талантливый мальчик, спору нет, но вся эта музыка не уберегла его от греха. Я прекрасно знаю - бедные благонамеренные писатели, которые фабрикуют Жития святых на экспорт, воображают, что вдохновение - верное убежище, что человеку в нем тепло и надежно, как в лоне Авраамовом. Надежно!.. Ну, разумеется, иногда ничего нет легче, как туда вскарабкаться: сам бог тебя возносит. Да только сумей там удержаться, а уж коли не удается, знай, как спуститься. Не секрет,

что святые, истинные святые не раз оказывались в весьма затруднительном положении на обратном пути. И когда их потуги удержать равновесие обнаруживались, молили об одном - чтобы это держали в секрете: "Не говорите никому о том, что видели..." Им было немного стыдно, понимаешь? Стыдно, что они баловни у Отца нашего, что им дано было испить из чаши блаженства прежде всех других! А за что? Да ни за что. Из милости. Такого рода благодатные дары... Первое движение души - от них уклониться. Можно по-разному толковать слова Библии: "Страшно попасть в руки бога живого!" Да что я говорю! В его объятия, ему на грудь, в сердце Иисуса! Ты ведешь свою скромную партию в оркестре - играешь, предположим, на треугольнике или на цимбалах, и вдруг тебе предлагают подняться на сцену, дают тебе Страдивария и говорят: "Пожалуйста, мой милый, я вас слушаю". Бр-р!.. Пойдем, поглядишь на мою молельню, только раньше вытри хорошенько ноги, чтобы не испачкать ковер.

Я не очень-то разбираюсь в мебели, но его спальня показалась мне роскошной: массивная кровать красного дерева, трехстворчатый шкаф, весь резной, кресла, покрытые плюшем, а на камине огромная бронзовая Жанна д'Арк. Но г-н

кюре хотел показать мне не спальню. Он провел меня в другую комнату, почти пустую, в ней были только стол и аналой. На стене висела довольно дурная олеография, вроде тех, что встречаются в больничных палатах, на ней был изображен толстощекий и розовый младенец Иисус между ослом и быком.

- Видишь эту картинку, - сказал он, - ее подарила мне крестная. У меня достаточно средств, чтобы купить себе что-нибудь получше, более художественное, тем не менее я отдаю предпочтение этой. Она уродлива и даже несколько глуповата, это меня успокаивает. Мы ведем свой род из Фландрии, мой милый, из края выпивох и обжор - богатого края... Вы, чернявые мозгляки из-под Булони, даже представить себе не можете в ваших глинобитных лачугах, что такое богатство Фландрии, ее чернозем! Не надо требовать от нас красивых речей, от которых падают в обморок набожные дамы, однако и мы тоже можем выставить немало мистиков, мой мальчик! И мистиков не чахоточных, нет. Мы жизни не боимся: в наших жилах течет добрая грубая кровь, красная и густая, она пульсирует у нашего виска, даже когда мы полны до краев можжевеловой водкой, даже когда не помним себя от гнева - фла-

мандского гнева, который быка может свалить с ног, - добрая кровь, куда добавлен чуток голубой испанской, как раз в меру, чтобы сделать эту смесь огненной. Ну, словом, у тебя свои печали, у меня свои - вполне вероятно, не те же самые. С тобой может случиться, что ты не потянешь упряжку, а я в упряжке взбрыкивал, и не раз, уж поверь. Если бы я тебе рассказал... Но это не сегодня, сейчас ты слишком не в себе, еще упадешь в обморок от слабости. Вернемся к моему младенцу Иисусу. Вообрази, что поперингский кюре, там, у нас, с согласия генерального викария, надумал, умная голова, направить меня в Сен-Сюльпис. Сен-Сюльпис в их представлении был чем-то вроде Сен-Сира или Сомюрского высшего кавалерийского училища - одним словом, военной академией для начинающих церковнослужителей. К тому же у господина моего батюшки (в скобках: я сначала подумал, что он шутит, но похоже, что г-н торсийский кюре никогда иначе и не именует своего отца: может, так было принято прежде?), у господина моего батюшки кое-что водилось в мошне, и он считал долгом угодить епархии. Только вот загвоздка!.. Как увидел я эту старую запаршивевшую казарму, провонявшую жирным бульоном, брр!.. И всех этих парней,

до того отощавших, бедняги, что даже в фас они выглядели как бы в профиль... Короче, мы, вместе с тремя-четырьмя добрыми товарищами, не больше, попортили немало крови преподавателям своими выходками, ничего особенного, так, слегка буянили. Первые в работе и в трапезной, ничего не скажешь, но в остальном... сущие чертенята. Например, как-то вечером, когда все улеглись, взобрались на крышу и ну мяукать... впору весь квартал разбудить. Наш наставник вскочил с кровати и давай креститься, несчастный, решил, что все окрестные коты назначили свиданье в святой обители, что бы поведать тут друг другу всяческие мерзости - шутка дурацкая, не спорю! В конце триместра эти господа отправили меня восвояси с соответствующей характеристикой! Не глуп, хороший мальчик, добрый по природе, и пошло-поехало. Короче, я годен только коров пасти. А я ни о чем другом не мечтал, как быть священником. Быть священником или умереть! Сердце мое так кровоточило, что Господь Бог попустил меня даже испытать соблазн покончить с собой - право слово! Господин мой батюшка был человек справедливый. Он отвез меня на своей одноколке к его преосвященству, вооружившись записочкой от моей

двоюродной бабки, настоятельницы намюрского монастыря Целования Мариина. Монсеньер тоже был человек справедливый. Он тотчас допустил меня к себе в кабинет. Я кинулся ему в ноги, рассказал об искушении, которое испытал, и неделю спустя он отправил меня в свою семинарию, заведение не слишком модное, но солидное. Не в том суть! Я могу сказать, что видел смерть в глаза, и какую смерть! Так что с этого момента я решил принять свои меры предосторожности, не умничать. Не осложнять себе жизнь, не высовываться, как выражаются военные. Мой младенец Иисус слишком мал, чтобы чересчур уж интересоваться музыкой или литературой. И он, пожалуй, даже скривился бы, увидя, что люди, вместо того чтобы задать свежей соломы его быку или вычистить скребницей осла, только закатывают глаза.

Он подтолкнул меня в спину, выставляя из комнаты, и от дружеского шлепка его широких ладоней я едва не упал на колени. Потом мы выпили вместе по стаканчику можжевеловой. Внезапно он поглядел мне прямо в глаза твердо и властно. Это был совершенно другой человек - человек, который никому не обязан отчетом, сюзерен.

- Монахи есть монахи, - сказал он, - я не монах. Я

не монастырский настоятель. У меня своя паства, свое стадо, я не могу плясать перед ковчегом со своим стадом - со своим скотом; на что это будет похоже, скажи, пожалуйста? У меня скотина как скотина, ни слишком хорошая, ни слишком дурная - быки, ослы, молочный и рабочий скот. Есть и козлы. Что прикажешь мне делать с козлами? Их не зарежешь, не продашь. Игумену легче легкого дать распоряжение отцу привратнику. Попадется ненароком козел - игумену ничего не стоит от него избавиться. А я - не могу, мы должны со всем уметь управиться, даже с козлами. Козлы или овцы, это дела не меняет, Господь желает, чтобы мы вернули ему каждое животное в хорошем состоянии. И не забивай себе голову заботой, чтобы от козла не несло козлом, попусту потратишь время, да еще рискуешь впасть в отчаяние. Старые священники принимают меня за оптимиста, этакого неунывайку, молодые, вроде тебя, считают букой, находят, что я слишком суров, крут с прихожанами, командую ими, как солдатами. Те и другие на меня в претензии за то, что я не лелею своего собственного плана реформ, как все прочие, или держу его про себя. "Традиции!" - ворчат старики. "Эволюция!" - поют молодые. А я считаю, что человек всегда остается человеком,

он и сейчас не многим большего стоит, чем в языческие времена. И вообще вопрос не в том, чтобы знать, чего он стоит, а в том, кто им повелевает. Ах, если бы дали волю деятелям церкви! Заметь, я вовсе не пытаюсь подсахарить средневековье: в тринадцатом веке люди отнюдь не отличались святостью, а монахи, если и не были так глупы, как нынешние, пили зато куда больше, спору нет. Но мы закладывали основу империи, мой мальчик, империи, в сравнении с которой империя Цезарей была бы дерьмом, мы строили мир, Римский мир, истинный. Христианское общество - вот каков был бы плод наших совместных усилий. Это вовсе не значит, что все христиане стали бы непорочными. У церкви крепкие нервы, она греха не боится, напротив. Она смотрит ему в лицо спокойно и даже по примеру господа нашего Иисуса Христа берет грех на себя, отвечает за него. Если хороший работник на совесть потрудился шесть дней в неделю, ему можно простить попойку в субботний вечер. Послушай, я дам тебе определение христианского народа через его противоположность. Противоположность христианского народа - это народ безрадостный, одряхлевший. Ты скажешь, что мое определение не слишком укладывается в теологические кано-

ны. Не спорю. Но тут есть над чем призадуматься господам, которые зевают на воскресной обедне. Да и как им не зевать! Разве может церковь за какие-то несчастные полчаса в неделю научить их радости! Даже если они затвердили бы наизусть все постановления Тридентского собора, это вряд ли прибавило бы им веселья!

Почему наше раннее детство представляется нам таким сладостным, таким светозарным? У ребенка ведь есть свои горести, как и у всех прочих, и он, в общем, так беззащитен против боли, болезни! Детство и глубокая старость должны бы были быть самым тяжким испытанием для человека. Но как раз из чувства своей полной беспомощности дитя смиренно извлекает самый принцип радости. Оно полностью полагается на мать, понимаешь? Настоящее, прошлое, будущее, вся жизнь заключены для него в одном взгляде, и этот взгляд улыбка. Так вот, милый мой, если бы нам не мешали делать свое дело, церковь одарила бы людей такого рода высшей беззаботностью. Заметь, что при этом на долю каждого пришлось бы ничуть не меньше неприятностей. Голод, жажда, нужда, ревность, нам никогда недостало бы сил окончательно прищучить Дьявола, куда там! Но человек чувствовал бы себя сыном

божьим, вот в чем чудо! Он жил бы и умирал с этой мыслью в башке - и не с мыслью, которой он просто набрался из книг, нет. Потому что этой мыслью, благодаря нам, было бы проникнуто все - нравы, обычаи, развлечения, праздники, все, вплоть до самых ничтожных надобностей. Это не помешало бы крестьянину возделывать землю, ученому корпеть над своей таблицей логарифмов и даже инженеру конструировать свои игрушки для взрослых. Но мы покончили бы с чувством одиночества, вырвали бы его с корнем из сердца Адама. Язычники со своим хороводом богов были не так уж глупы: им все же удалось дать бедному миру иллюзию примитивной гармонии с незримым. Но сейчас такая штука гроша ломаного не стоила бы. Вне церкви народ всегда будет народом ублюдков, народом подкидышей. Конечно, он может еще рассчитывать, что его признает своим сыном Сатана. Долгонько им придется ждать черного рождества! Сколько бы они ни подставляли к очагу башмаки, Дьяволу уже обрыдло класть туда свои механические игрушки, которые устаревают, не успеют их изобрести, теперь он бросает людям только крохотный пакетик героина, морфия или еще какую-нибудь ничего ему не стоящую дрянь.

Бедные люди! Они опустошили все, вплоть до греха. Не всяк развлекается, кто хочет. Ребенку для забавы достаточно грошовой куклы, тогда как старику сводит рот зевотой перед пятисот-франковой игрушкой. Почему? Потому, что он утратил дух детства. Так вот, Господь Бог возложил на церковь обязанность поддерживать в мире этот дух детства, эту непосредственность, эту свежесть. Язычество не было врагом природы, но только христианство ее возвеличивает, одушевляет, подымает до уровня человека, до уровня его мечты. Хотел бы я, чтобы мне попался в руки какой-нибудь ученый книжный червь, из тех, что обзывают меня обскурантом, я сказал бы ему: "Не моя вина, что на мне похоронные одежды. И в конце концов, носит же папа белое, а кардиналы - красное. Я вправе нарядиться не хуже самой царицы Савской, потому что я несу радость. И я дал бы ее вам, ничего не требуя взамен, только попросите. Церковь владеет радостью - всей той частью радости, которая отведена нашей юдоли скорби. И все, что вы сделали в ущерб церкви, вы сделали в ущерб радости. Разве я мешаю вам высчитывать прецессию равноденствия или разлагать атомы? Научись вы даже создавать жизнь, какой толк, если смысл жизни вами утрачен?

Вам остается только пустить себе пулю в лоб среди всех ваших колб. Да создавайте себе жизнь, сколько хотите! Тот образ смерти, который вы предлагаете, мало-помалу отравляет сознание сирых мира сего, постепенно затемняет, обесцвечивает их последние радости. Как-то вы еще просуществуете, пока ваша промышленность и ваши капиталы позволяют вам превращать мир в ярмарку при помощи машин, которые вертятся с головокружительной скоростью под рев труб и вспышки потешных огней. Но подождите, подождите - наступит первая четверть часа тишины. И тут люди услышат Слово - нет, не то, которое они отвергли, не то, что спокойно возвещало: "Я - Путь, Истина, Жизнь", но Слово из бездны: "Я дверь, замкнутая навек, тупик, ложь и гибель".

Он произнес эти последние слова так мрачно, что я, наверно, побледнел или, точнее, пожелтел, ибо такова, увы, последние несколько месяцев моя манера бледнеть, - потому что он налил мне еще стаканчик можжевеловой, и мы заговорили о другом. Его веселость не показалась мне ни фальшивой, ни даже наигранной, думаю, она ему свойственна по природе, у него веселая душа. Но его взгляду не сразу удалось достичь с ней согласия. Когда я, уходя, склонился перед ним, он

перекрестил мой лоб большим пальцем и сунул мне в карман сто франков:

- Бьюсь об заклад, ты без гроша, первое время всегда приходится туго, вернешь мне деньги, когда сможешь. Ну, проваливай и никогда не рассказывай дуракам о наших разговорах.

"Задать свежую солому быку, вычистить скребницей осла", - мне припомнились эти слова сегодня утром, пока я чистил картошку на суп. Помощник мэра вошел в кухню за моей спиной, я резко поднялся со стула, не успев даже стряхнуть очистки; я чувствовал себя смешным. Он, впрочем, принес добрые вести: муниципалитет дал согласие вырыть мне колодец. Я смогу, таким образом, сберечь двадцать су в неделю, которые плачу мальчику-певчему за то, что он носит воду. Мне хотелось бы поговорить с помощником мэра относительно принадлежащего ему кабаре - он намеревается устраивать танцы по четвергам и воскресеньям, четверговые он именует "семейными балами" и зазывает на них даже девочек с фабрики, а парни развлекаются тем, что их спаивают.

Я не осмелился. Он взял себе манеру смотреть на меня с улыбкой, в общем даже благожелательной и вызывающей меня на разговор, но

такой, словно, что бы я там ни сказал, это не может иметь решительно никакого значения. К тому же подобный разговор приличней будет завести у него дома. Предлог для посещения у меня есть, поскольку его супруга тяжело больна и уже несколько недель не выходит. Она, кажется, неплохая женщина и прежде, как мне говорили, довольно аккуратно посещала службы.

..."Задать свежей соломы быку, вычистить скребницей осла..." Пусть так. Самые простые из моих обязанностей отнюдь не самые легкие, напротив. У скотины потребности малые, неизменно одни и те же, не то что у людей! Я сыт по горло разглагольствованиями о простоте сельских жителей. Я сам крестьянский сын и склонен скорее думать, что они чудовищно сложны. В Бетюне, когда я начинал как викарий, молодые рабочие, бывшие на нашем попечении, едва был сломан первый лед, пустились откровенничать со мной, им ужасно хотелось понять себя, чувствовалось, что их просто переполняет симпатия к себе. Крестьянин любит себя редко, и если он проявляет такое жестокое равнодушие к тем, кто любит его, дело вовсе не в том, что он не верит в это чувство - он, скорее, пренебрегает им. Он, конечно, не слишком старается побороть соб-

ственные недостатки или пороки. Но вместе с тем и не питает никаких иллюзий на этот счет - он сжился с ними, притерпелся к ним, считая заведомо неисправимыми, и на протяжении всей жизни стремится только удержать в узде этих бесполезных и дорогостоящих зверей, тратя по возможности меньше на их прокорм. И поскольку нередко аппетит этих чудовищ, таимых от окружающих в немоте крестьянских жизней, с годами растет все больше, постаревшему человеку становится так трудно вынести себя самого, что ему нестерпимо всякое выражение симпатии со стороны, он подозревает тут своего рода сообщничество с внутренним врагом, мало-помалу пожирающим его силы, труд и достаток. Что сказать этим несчастным? Случается видеть на смертном одре старика-развратника, чья скупость была всего лишь горькой отместкой, добровольным самоистязанием, наказанием, которое человек сам налагал на себя долгие годы с неукоснительной строгостью. И уже на пороге агонии какое-нибудь слово, исторгнутое томительным страхом, вдруг выдает эту неугасимую ненависть к себе, которой, быть может, нет прощенья.

Полагаю, мое решение обойтись без услуг до-

моправительницы, принятое две недели назад, истолковано неправильно. Осложняет дело еще то, что ее мужа, г-на Пегрио, недавно наняли в замок охранять охотничьи угодья. Вчера он даже дал присягу в Сен-Ваасте. А я-то еще счел себя очень ловким, купив у него бочоночек вина! Я напрасно потратил на это двести франков, присланных тетей Филоменой, поскольку г-н Пегрио теперь отказался от обязанностей коммивояжера бордоской фирмы, хотя и передал ей мой заказ. Всю выгоду от этого скромного проявления моей щедрости, наверно, извлечет его преемник. Какая глупость!

Да, какая глупость! Я рассчитывал, что этот дневник поможет мне удержать разбегающиеся мысли в тех редких случаях, когда мне выпадает минута сосредоточиться. Я представлял себе, что он будет своего рода беседой между Господом Богом и мною, продолжением молитвы, неким способом обойти ее трудности, порой все еще кажущиеся мне непреодолимыми, возможно, из-за мучительных колик в животе. Но оказалось, что дневник приоткрыл мне, какое огромное, какое чрезмерное место занимают в моей жалкой жизни тысячи мелких бытовых забот, от которых я, как мне иногда казалось, избавился. Я понимаю,

что Господь не отвергает наших тревог, даже самых ничтожных, что он ничем не брезгует. Но зачем закреплять на бумаге то, о чем мне, напротив, следовало бы постараться тут же забыть? Хуже всего, что, поверяя все это дневнику, я испытываю неизъяснимое, сладостное чувство, и уже одно это должно было бы насторожить меня. Заполняя каракулями при свете лампы эти страницы, которых никто никогда не прочтет, я ощущаю незримое присутствие рядом с собой кого-то, безусловно не Бога, скорее уж некоего друга, созданного по моему собственному образу и подобию, хотя и отличного от меня, иного по своей сути... Вчера вечером я вдруг с необыкновенной остротой ощутил это присутствие и даже поймал себя на том, что склоняю голову к какому-то воображаемому слушателю, охваченный внезапным желанием заплакать, которого тут же устыдился.

Впрочем, лучше уж довести этот опыт до конца - я хочу сказать, продолжать его, по крайней мере, еще несколько недель. Я даже попытаюсь записывать все, что придет в голову, без всякого отбора (мне случается еще иногда колебаться, примеривая тот или иной эпитет, править себя), а потом засуну эти бумажки поглубже в ящик и

перечитаю их некоторое время спустя на свежую голову.

II

Сегодня, после обедни, у меня был долгий разговор с мадемуазель Луизой. До сих пор я редко виделся с ней в церкви по будним дням, поскольку ее положение гувернантки в замке обязывает нас обоих к предельной сдержанности. Г-жа графиня ее очень ценит. М-ль Луиза, кажется, намеревалась принять постриг, уйти в монахини, в орден св. Клары, но посвятила себя заботам о престарелой больной матери, умершей только в прошлом году. Оба мальчика ее обожают. К сожалению, старшая дочь, м-ль Шанталь, не проявляет к ней никакой симпатии и как будто даже находит удовольствие в том, чтобы унижать ее, обращаясь как с прислугой. Это, возможно, всего лишь детские выходки, но они жестоко испытывают терпение м-ль Луизы, которая, как мне известно от г-жи графини, происходит из очень хорошей семьи и получила превосходное воспитание.

Мне дано было понять, что в замке одобряют мое решение обойтись без домоправительницы. Там считают, однако, предпочтительней, чтобы

моим хозяйством все же раз или два в неделю занималась приходящая прислуга, хотя бы из принципа. Конечно, это - вопрос принципа. Дом священника, в котором я живу, весьма комфортабелен; если не считать замка, он самый красивый в округе, - и при этом стану сам стирать белье! Тут могут увидеть вызов.

Вероятно, я также не вправе жить иначе, чем мои собратья, которые ничуть не состоятельней меня, но более умело распоряжаются своими скромными ресурсами. Я искренне убежден, что мне совершенно безразлично, как жить бедно или богато, но пусть бы уж наши верхи решили этот вопрос раз и навсегда. От нас требуют обстановки буржуазного благополучия, которая нам не по карману. Сохранить достоинство можно и в нужде. К чему поддерживать видимость? И к чему делать из нас нищих?

Я утешал себя мыслью, что буду преподавать начала закона божьего, давать частные уроки, готовя детей к первому причастию, в соответствии с пожеланием святого папы Пия X. Еще и сейчас сердце мое разрывается от нежности, едва я заслышу с кладбища жужжание их голосов и постукивание этих маленьких сабо, подбитых

железом, на пороге церкви. Sinite parvulos... [1] Я мечтал, как стану говорить им теми детскими словами, которые так легко приходят мне на язык, обо всем, что вынужден таить в себе, о чем нельзя сказать с кафедры, где мне усиленно рекомендовали быть сдержанным. О! Я не преступил бы границ, разумеется! Но я был так горд в общем, что мне предстоит объяснять не дроби или гражданское право, заниматься не этим ужасным наглядным обучением, которое и в самом деле всего лишь наглядно, не более того. Человеку обучаться у вещей! К тому же я давно избавился от мучительного страха, присущего, думаю, любому молодому священнику, вынужденному оперировать некоторыми словами, некоторыми образами, - страха вызвать смешки. Страха двусмысленности, который пресекает всякий порыв и невольно заставляет держаться в пределах суровых доктринальных поучений, формулируемых на языке, совершенно истертом, но зато проверенном, так что он никого не задевает и обладает хотя бы достоинством, благодаря самой своей неопределенности и скуке, отбивать всякую охоту к ироническим комментариям.

---

[1] Примечания: 1
Пустите детей (лат.)

Слушая нас, слишком часто можно подумать, что мы проповедуем какого-то бога спиритуалистов, верховное существо, не знаю что там еще, во всяком случае, нечто вовсе не похожее на Господа нашего, познанного нами, как нашего чудесного живого друга, который сострадает нашим горестям, сопереживает нашим радостям, разделит нашу агонию и примет нас в свои объятия, на грудь свою.

Я сразу ощутил сопротивление мальчиков и умолк. В конце концов не их вина, если слишком раннее - неизбежное - знакомство с животными дополняется теперь еженедельными киносеансами.

Когда их уста впервые сумели выговорить слово "любовь", оно уже было смешным, грязным словом, за которым они с удовольствием погнались бы, хохоча и забрасывая его камнями, как за жабой. Но девочки оставили мне некоторую надежду, в особенности Серафита Дюмушель. Это лучшая моя ученица на уроках катехизиса, веселая, аккуратненькая, и взгляд у нее хотя и чуть дерзкий, но чистый. У меня мало-помалу сложилась привычка выделять ее среди менее внимательных подружек, я часто ее спрашивал, получалось, что я и говорю как бы для нее. На

прошлой неделе, выдавая в ризнице еженедельную награду за успехи - благочестивую картинку, - я безотчетно положил ей руки на плечи и спросил:

- Тебе, наверно, не терпится принять святое причастие? Кажется, что время тянется слишком долго?

- Нет, - ответила она мне, - почему? Куда мне спешить.

Я опешил, хотя не так уж, впрочем, и возмутился - я ведь знаю, как лукавы дети. Поэтому я спросил:

- Но ты ведь все понимаешь? Ты так хорошо меня слушаешь!

Тут в ее личике проступила какая-то жесткость, и она ответила, пристально глядя на меня:

- Это потому, что у вас очень красивые глаза.

Я, естественно, сделал вид, что не слышал ее слов, мы вышли из ризницы вместе, и остальные девочки, шушукавшиеся между собой, внезапно умолкли, а потом расхохотались. Ясно было, что они сговорились заранее.

После этой истории я пытался вести занятия так же, как и прежде, не поддаваясь затеянной ими игре. Но бедняжка, без сомнения подстрекаемая другими, преследует меня, корча исподтишка

гримасы, кокетничает, строит из себя взрослую женщину и вызывающе задирает юбку, чтобы затянуть потуже шнурок, который служит ей подвязкой. Господи, дети всегда дети, но откуда такая враждебность в этих малютках? Что я им сделал?

Монахи приемлют муки ради душ. А мы приемлем муки от душ. Эта мысль, посетившая меня вчера вечером, всю ночь бодрствовала у моей постели, как ангел.

Сегодня три месяца, как я получил назначение в Амбрикур. Уже три месяца! Усердно молился утром за мой приход, за мой бедный приход - за мой первый и, не исключено, последний приход, ибо я хотел бы здесь и умереть. Мой приход! Слово, которое невозможно произнести без волнения, - что я говорю! - без порыва любви. А между тем пока за ним стоит для меня только нечто смутное. Я знаю, что мой приход действительно существует, что мы связаны навечно, ибо он живая частица нетленной церкви, а не какая-нибудь административная фикция. Но я хотел бы, чтобы Господь отверз мне глаза и уши, дал увидеть лицо моего прихода, услышать его голос. Не слишком ли многого я прошу? Его лицо! Его взгляд! Это, должно быть, мягкий, печальный, терпеливый

взгляд, я представляю себе, что он немного похож на мой собственный, когда я перестаю сопротивляться и отдаюсь течению той великой незримой реки, которая несет нас всех вперемешку, живых и мертвых, в глубины Вечности. И не взгляд ли это всего христианского мира, всех приходов или даже... возможно, всего рода человеческого? Тот, что узрел Господь с высоты креста. Да простится им, ибо не ведают, что творят...

(Мне пришло в голову использовать этот пассаж, несколько его обработав, в воскресной проповеди. "Взгляд прихода" вызвал улыбку, и я на мгновение осекся посреди фразы с ощущением, увы, слишком отчетливым, что разыгрываю комедию. Бог ведает, однако, что я был совершенно искренен! Но в образах, чересчур тронувших наше сердце, всегда есть нечто нечистое. Убежден, что торсийский протоиерей осудил бы меня. Выходя после обедни, г-н граф сказал мне своим странным голосом, чуть в нос: "Вас посетило вдохновенье!" Я готов был сквозь землю провалиться.)

Мадемуазель Луиза передала мне приглашение отобедать в замке в следующий вторник. Хотя меня несколько стесняло присутствие м-ль Шанталь, я тем не менее собирался ответить отказом,

но м-ль Луиза незаметно сделала мне знак, чтобы я принял приглашение.

Во вторник ко мне опять придет прислуга. Г-жа графиня столь добра, что платит ей за один рабочий день в неделю. Мне было до такой степени стыдно за свое белье, что я побежал с утра в Сен-Вааст и купил три сорочки, кальсоны, носовые платки, короче, мне едва хватило ста франков г-на торсийского кюре, чтобы покрыть этот крупный расход. Кроме того, мне придется кормить ее обедом, а женщина, которая работает, нуждается в приличной пище. К счастью, тут пригодится мое бордо. Вчера я разлил его в бутылки. Оно показалось мне несколько мутным, но тем не менее ароматным.

Дни проходят, проходят... До чего же они пусты! С повседневными обязанностями я еще как-то справляюсь, но выполнение той скромной программы, которую наметил для себя, всякий раз откладываю на завтра. Отсутствие навыка очевидно. А сколько времени отнимает у меня хождение! Одна из деревень, приписанных к приходу, в трех километрах от церкви, другая - в пяти. От велосипеда толку мало, так как, если я подымаюсь на нем в гору, особенно натощак, у меня начинаются чудовищные боли в желудке. Мой

приход, такой крохотный на карте!.. Но ведь если взять какой-нибудь школьный класс, где всего двадцать или тридцать учеников примерно одного возраста и одного социального положения, послушных одной дисциплине и обучающихся одним и тем же предметам, то и там учитель начинает разбираться в своих воспитанниках только во второй четверти... Мне чудится, что моя жизнь, что все мои силы уйдут в песок.

Мадемуазель Луиза приходит теперь ежедневно к святой обедне. Но она появляется и исчезает так быстро, что я иногда даже не успеваю заметить ее присутствия. Не будь ее, церковь оставалась бы пуста.

Вчера встретил Серафиту в сопровождении г-на Дюмушеля. Лицо этой девочки меняется день ото дня: прежде оно было таким подвижным, переменчивым, теперь я нахожу в нем что-то очерствевшее, не по возрасту жесткое. Пока я разговаривал с нею, она глядела на меня с таким стесняюще пристальным вниманием, что я не мог не покраснеть. Быть может, мне следовало бы предупредить ее родителей. Но о чем?

На листке, оставленном, без сомнения, умышленно в одном из катехизисов и найденном мною сегодня утром, чья-то неумелая рука нарисовала

женскую фигурку и надписала: "Зазноба г-на кюре". Поскольку книги я раздаю без всякого порядка, как попало, автора этой шутки искать бесполезно.

Напрасно я твержу себе, что без такого рода неприятностей не обходятся даже самые лучшие учебные заведения, это успокаивает меня лишь отчасти. Учитель всегда может довериться начальству, выждать. Тогда как здесь...

"Приять муки от душ", - всю ночь я твердил про себя эту утешительную фразу. Но ангел не вернулся.

Вчера пришла г-жа Пегрио. Она так явно выражала недовольство платой, положенной г-жой графиней, что я счел должным прибавить пять франков из собственного кармана. Вино я, очевидно, разлил в бутылки преждевременно и без необходимых предосторожностей, так что оно испорчено. Я нашел в кухне бутылку почти непочатой.

Конечно, характер у этой женщины тяжелый и манеры неприятные. Но нужно быть справедливым: даю я неуклюже, с какой-то нелепой принужденностью, которая вводит в заблуждение. Я почти никогда не ощущаю поэтому, что сделал человеку приятное, может, как раз из-за

того, что мне этого очень хочется. Людям кажется - я дал скрепя сердце.

Во вторник мы собрались у эбютернского кюре на ежемесячную лекцию. Тема, рассмотренная г-ном аббатом Тома, лиценциатом исторических наук: "Реформа, ее истоки, ее причины". Поистине, состояние церкви в XVI веке заставляет содрогнуться. Пока лектор излагал свой предмет, поневоле несколько однообразный, я наблюдал за лицами слушателей и не находил в них ничего, кроме вежливого любопытства, в точности как если бы мы собрались на чтение каких-нибудь глав из истории фараонов. Это внешнее безразличие некогда выводило меня из себя. Теперь я вижу в нем свидетельство великой веры, возможно, также - великой безотчетной гордости. Ни одному из этих людей не пришло бы на ум, что церковь в опасности, какие бы к тому ни были основания. Моя собственная убежденность, разумеется, ничуть не меньше, но, возможно, она другого рода. Их спокойная уверенность приводит меня в ужас.

(Я сожалею, что написал слово "гордость", однако не могу отказаться от него, не находя другого, более точного, чтобы передать это чувство, такое человеческое, такое конкретное. В конце концов

церковь не некий идеал, который предстоит воплотить, она существует, и они внутри нее.)

После лекции я позволил себе робко намекнуть на программу, намеченную мною для себя. О половине пунктов я еще умолчал. Им нетрудно было мне доказать, что ее выполнение, даже частичное, потребовало бы сорока восьми часов в сутки и такого личного влияния, которого у меня нет, да, возможно, никогда и не будет. К счастью, общее внимание отвлек от меня лэнбрский кюре, он, будучи крупным специалистом в этой области, великолепно осветил проблему деревенских касс взаимопомощи и сельскохозяйственных кооперативов.

Возвращение домой было довольно унылым, моросило. Как ни мало я выпил, от вина у меня ужасно разболелся живот. Нет сомнения, с осени я сильно исхудал и выгляжу, должно быть, все хуже и хуже, с некоторых пор меня уже и не спрашивают о моем здоровье. Неужели у меня не хватит сил! Как я ни стараюсь, мне трудно поверить, что Господь возьмет у меня все - до конца, воспользуется мною, как всеми остальными. С каждым днем меня все больше поражает собственное неведение самых элементарных деталей практической жизни, которые, кажется,

известны каждому без всякого обучения, как бы интуитивно Конечно, я не глупее других, и когда придерживаюсь общепринятых формул, запоминающихся без труда, может создаться впечатление, что я все понимаю. Но эти слова, имеющие для всех точный смысл, мне, напротив, кажутся почти неотличимыми друг от друга до такой степени, что я, случается, употребляю их невпопад, как плохой игрок, который ходит не с той карты. Во время дискуссии о деревенских кассах взаимопомощи у меня было ощущение, что я ребенок, по недоразумению присутствующий при беседе взрослых.

Вполне вероятно, что мои собратья разбирались во всем этом ничуть не лучше меня, несмотря на брошюры, которыми нас засыпают. Но меня поразило, как быстро они все это схватывают. По преимуществу они бедны и мужественно мирятся со своим положением. Тем не менее все, касающееся денег, оказывает на них какое-то магическое воздействие. Их лица тотчас приобретают серьезность, самоуверенность, перед которой я теряюсь, умолкаю, начинаю испытывать что-то похожее на почтение.

Боюсь, я никогда не стану практичным, жизненный опыт тут не поможет. На взгляд поверх-

ностного наблюдателя я ничем не отличаюсь от своих собратьев, я такой же крестьянин, как все они. Но я потомок людей крайне бедных издольщиков, поденщиков, батрачек, - у нас нет чувства собственности, мы его явно растеряли на протяжении столетий. В этом мой отец походил на деда, а тот на своего отца, умершего от голода в чудовищную зиму 1854 года. Монетка в двадцать су жгла им карман, и они спешили найти приятеля, чтобы тут же ее пропить. Мои однокашники по семинарской школе не обманывались на этот счет: мама могла надеть свою лучшую юбку, свой самый красивый чепец, она все равно сохраняла тот приниженный, уклончивый вид, ту жалкую улыбку неимущих, по которым чужие дети сразу все понимают. И если бы мне недоставало только чувства собственности! Боюсь, что повелевать я умею не больше, чем обладать. А это куда серьезнее.

с Ну и пусть! Случается, что посредственные, мало одаренные ученики выбиваются в первые ряды. Они там никогда не блистают, ясное дело. Я не собираюсь себя переделать, я просто подавлю в себе отвращение. Если я должен посвятить себя прежде всего душам, я не могу не разобраться в тех заботах, в сущности вполне законных, кото-

рые занимают такое большое место в жизни моих прихожан. Читает же у нас учитель - хотя он и парижанин - лекции о севообороте и удобрениях. Я немедленно впрягусь во все эти дела.

Необходимо также, чтобы мне удалось создать спортивное общество, по примеру большинства моих собратьев. Молодые прихожане интересуются футболом, боксом и велосипедными гонками. Неужели я откажу им в удовольствии поспорить обо всем этом на том основании, что развлечения такого рода - тоже вполне, конечно, законные! - не по вкусу мне самому? Состояние здоровья не позволило мне выполнить свой воинский долг, и было бы смешно, если бы я попытался принять участие в их играх. Но я могу держаться в курсе происходящего, читать хотя бы спортивную страничку "Эко де Пари", газеты, которую мне довольно регулярно ссужает г-н граф.

Вчера вечером, написав эти строки, я преклонил колени подле кровати и помолился Господу Богу, чтобы он благословил решение, только что принятое мною. И внезапно мною овладело ощущение, что все мечты, упования, честолюбивые замыслы моей юности рухнули; дрожа от озноба, я лег в постель, но уснул только на заре.

Мадемуазель Луиза просидела сегодня утром

всю святую обедню, закрыв лицо руками. Читая последнее Евангелие, я хорошо видел, что она плакала. Тяжко быть одному, еще тягостней делить свое одиночество с равнодушными и неблагодарными.

С тех пор как мне взбрела в голову несчастная мысль рекомендовать управляющему г-на графа моего старого товарища по церковной школе, который представляет в наших краях крупную фирму химических удобрений, учитель перестал со мной здороваться. Он, кажется, сам представляет другую фирму, бетюнскую.

В следующую субботу мне предстоит отужинать в замке. Поскольку главная, если не единственная, цель этого дневника приучить себя к полной откровенности с самим собой, я должен признаться, что ничуть не раздосадован, скорее даже польщен... И я этого не стыжусь. Хозяева замка пользовались, как говорится, неважной репутацией у нас в семинарии, и молодой священник, безусловно, должен держаться независимо по отношению к людям светским. Но и в этом вопросе, как и во множестве других, я потомок бедняков, никогда не знавших ни зависти, ни озлобления крестьянина-собственника, который до седьмого пота бьется с неплодородной почвой, а рядом с

ним какой-нибудь бездельник получает с той же самой земли ренту, не пошевелив пальцем. Мы - мой род - так давно уже не имели никакого дела с сеньорами! Нами на протяжении веков помыкал как раз этот крестьянин-собственник, а нет на свете хозяина жестче, хозяина, на которого было бы так трудно угодить.

Получил письмо от аббата Дюпрети, весьма странное. Аббат Дюпрети был моим одноклассником в духовном училище, потом учился еще где-то и, по последним слухам, получил назначение младшим священником в небольшой приход амьенской епархии - тамошний кюре, будучи больным, добился, чтобы ему дали кого-то в помощь. Я сохранил о Луи Дюпрети очень живое, почти нежное воспоминание. Нам тогда ставили в пример его набожность, хотя я лично находил, что он слишком уж нервен, чересчур чувствителен. В третьем классе наши места в часовне были рядом. Мне нередко доводилось слышать, как он всхлипывает, закрыв лицо очень бледными руками, неизменно перепачканными в чернилах.

Письмо отправлено из Лилля (где, как мне помнится, у одного из его дядей, отставного сельского полицейского, действительно была бакалейная лавочка). Меня удивляет, что в письме нет и

намека на его службу, с которой он, возможно, вынужден был расстаться - по состоянию здоровья, должно быть; поговаривали, что ему грозит туберкулез. Отец и мать его умерли от этой болезни.

С тех пор как у меня нет домоправительницы, почтальон взял привычку подсовывать письма под дверь. Я нашел запечатанный конверт случайно, перед тем как лечь в постель. Это для меня минута очень неприятная, и я всегда ее оттягиваю, насколько возможно. Боль в животе, как правило, вполне терпима, но ужасно надоедлива, неотступна. Мало-помалу сосредотачиваешься на ней, мысли вязнут, собираешь все свое мужество, чтобы не встать. Я редко поддаюсь, впрочем, этому искушению, так как в доме холодно.

Я распечатал конверт, в предчувствии какой-то дурной новости, даже хуже - сцепления дурных новостей. Склонность, конечно, досадная, что поделаешь. Тон письма мне не нравится. Я нахожу в нем какую-то деланную веселость, почти непристойную, если предположить, что мой бедный друг, очевидно, не может, во всяком случае в данный момент, выполнять свои обязанности. "Ты один способен меня понять", - говорит он. Почему? Мне вспоминается, что будучи куда

более блестящим учеником, чем я, он мною даже несколько пренебрегал. Я, естественно, от этого любил его еще сильней.

Поскольку он просит, чтобы я срочно приехал повидаться с ним, скоро все разъяснится.

Я очень озабочен предстоящим визитом в замок. От первого разговора зависит, возможно, успех больших планов, которыми я так дорожу и которые могли бы быть осуществлены с помощью денег и влияния г-на графа. Как водится, моя неопытность, глупость и дурацкое невезенье усложняют, точно назло, самые простые вещи. Так, например, моя красивая теплая сутана, которую я берег для торжественных случаев, стала мне теперь широка. К тому же г-жа Пегрио, по моей, впрочем, собственной просьбе, вывела на ней пятна, но так неумело, что от бензина остались отвратительные следы. Точно радужные круги, расплывшиеся на слишком жирном бульоне. Идти в замок в своей будничной сутане, много раз чиненной, в особенности на локтях, мне как-то неприятно. Еще подумают, будто я выставляю напоказ свою бедность. Всякое ведь может в голову прийти.

Мне хотелось бы также, чтобы я был в состоянии есть - хотя бы настолько, чтобы не привлекать к

себе внимания. Но тут ничего нельзя предвидеть заранее, мой желудок так капризен! Едва что-нибудь не так, справа появляется знакомая боль, ощущение какой-то рези, колики. Пересыхает во рту - я не в силах проглотить ни куска.

Все это досадные пустяки, не более. Я переношу их довольно стойко, я не неженка, тут я в мать. "Твоя мать была кремень", - любит повторять мой дядя Эрнест. Бедняки понимают под этим, как мне кажется, неутомимую хозяйку, которая никогда не болеет и умирает сразу, так что не заставляет за собой ходить.

Господин граф похож скорее на крестьянина, вроде меня самого, чем на одного из тех богатых промышленников, с которыми мне доводилось встречаться прежде, в бытность мою викарием. Он в два счета преодолел мое смущение. Какой властью обладают эти люди высшего света, казалось бы ничем почти не отличающиеся от других, но делающие все на свой особый лад! Обычно мне становится не по себе от малейших проявлений предупредительности, здесь же со мной обращались даже почтительно, давая, однако, понять, что этим уважением я обязан только своему сану. Г-жа графиня безупречна. Она была в домашнем платье, очень простом, на седеющих

волосах что-то вроде мантильи, напомнившей мне ту, которую накидывала по воскресеньям моя бедная мама. Я не мог устоять и сказал ей об этом, но выразился так неловко, что сомневаюсь, поняла ли она меня.

Мы посмеялись вместе над моей сутаной. Во всяком другом месте, думаю, сделали бы вид, будто ничего не замечают, и это было бы для меня пыткой. С какой свободой эти дворяне говорят о деньгах и обо всем, что с ними связано, какая сдержанность, какое изящество! Кажется даже, что откровенная, неприкрытая бедность внушает им полное к тебе доверие, создает между ними и тобой своего рода сообщническую близость. Я особенно это почувствовал, когда к кофе пожаловали с визитом г-н и г-жа Верженн (в прошлом очень богатые мукомолы, купившие год назад замок Рувруа). В ироническом взгляде г-на графа после их ухода недвусмысленно читалось: "Скатертью дорога, наконец-то мы опять в своем кругу!" А между тем усиленно поговаривают о свадьбе (мадемуазель Шанталь и Верженна-сына... Не в том суть! Я полагаю, что впечатление, которое я сейчас так неумело анализирую, не объясняется одной только учтивостью, пусть даже искренней. Одним хорошим воспитанием здесь всего не

объяснишь.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы г-н граф отнесся с большим энтузиазмом к моим планам занять молодежь, создать спортивное общество. Пусть он даже не хочет сам приложить к этому усилий, но почему отказать мне в предоставлении небольшого участка в Латрилер и старой риги, которая сейчас пустует и в которой легко было бы устроить зал для игры, лекций, кинозал, наконец? Я хорошо знаю, что просить умею не лучше, чем давать, людям нужно время на раздумье, а я вечно надеюсь на какой-то немедленный душевный отклик, ответный порыв.

Я покинул замок очень поздно, слишком поздно. Я и прощаться не умею, только бросаю косые взгляды на циферблат и при каждом обороте стрелки выражаю поползновение откланяться, хозяева из вежливости протестуют, а я не смею этим пренебречь. Так может продолжаться часами! Наконец, я ушел, сам уже не помня, что наговорил, но настроенный доверчиво, радостно, с ощущением, что произошло что-то хорошее, замечательное, чем мне хотелось бы тут же поделиться с другом. Еще немного, и я припустил бы бегом по дороге к дому.

Я люблю возвращаться домой по Жеврской

дороге и почти ежедневно, даже когда дождливо и ветрено, присаживаюсь у вершины откоса на ствол тополя, неведомо почему забытый здесь много зим тому назад и уже слегка подгнивший. Он покрыт, словно кожухом, паразитической растительностью, которая кажется мне то отталкивающей, то прелестной, в зависимости от настроя моих мыслей или погоды. Именно здесь я надумал завести этот дневник, и, полагаю, подобная идея даже не пришла бы мне на ум ни в каком ином месте. В этом краю лесов и лугов, перерезанных живыми изгородями, яблоневыми посадками, я не нашел бы другого наблюдательного пункта, откуда деревня предстала бы мне вся целиком, словно собранная в горсти. Я смотрю на нее и никогда не встречаю ответного взгляда. Не думаю, впрочем, чтобы она вовсе не знала обо мне. Но она словно повернулась ко мне спиной и наблюдает за мною искоса, прижмурив веки, как кошка.

Чего она от меня хочет? Да и хочет ли чего? Кто-нибудь другой, например, какой-либо богач, мог бы оценить отсюда все эти глинобитные дома, высчитать, какова площадь полей и пастбищ, помечтать, что вот он выложил необходимую сумму и теперь владеет деревней. Я не могу.

Как бы я ни старался, отдай я ей даже всю свою кровь до последней капли (мне и вправду иногда грезится, что она распяла меня на кресте, здесь на вершине, и теперь хотя бы смотрит, как я умираю), моей она не станет никогда. Я гляжу на нее сейчас, такую светлую, свежую (по случаю дня всех святых стены домов только что выбелены известкой, подцвеченной бельевой синькой), и все равно не могу забыть, что она стоит здесь уже века, и ее древность пугает меня. Задолго до того как была выстроена в XV веке церквушка, где я всего лишь прохожий, деревня уже терпеливо сносила жару и холод, дождь, ветер, солнце, то преуспевала, то впадала в нищету, вцепившись в этот клочок земли, из которого пила соки и которому возвращала своих мертвецов. До чего же сокровенен, до чего глубок ее опыт! Она поглотит и меня, как поглотила других, наверняка скорее, чем других.

Иногда мне приходят в голову мысли, которыми я не смею ни с кем делиться, хотя они не кажутся мне безумными, отнюдь нет. К примеру, кем стал бы, во что превратился бы я, смирись я с ролью, предначертанной для меня желанием многих католиков, пекущихся в первую очередь об охране общественных устоев, то есть в

конечном итоге об охране своего собственного положения. Нет, я не обвиняю этих господ в лицемерии, они вполне искренни. Разве мало людей, объявляющих себя сторонниками порядка, защищают всего лишь укоренившиеся привычки, подчас просто даже лексикон, понятия которого так отполированы, обточены долгим употреблением, что все оправдывают, ничего не ставя под сомнение? В этом-то и заключается одна из самых непостижимых напастей, выпавших на долю человека, - он вынужден доверять самое драгоценное свое достояние чему-то до такой степени непостоянному, до такой степени, увы, податливому, как слово. Нужно немалое мужество, чтобы всякий раз выверять инструмент, подгоняя к его собственному замку. Как правило, предпочитают схватить что попало, нажать чуть посильнее и, если язычок замка дрогнул, на этом успокаиваются. Я восхищаюсь революционерами, они идут на все, чтобы взорвать динамитом крепостные стены, а ведь, будь они людьми благонамеренными, у них в руках была бы связка ключей, которая позволила бы им спокойно войти через ворота, никого даже не разбудив.

Получил сегодня новое письмо от своего старого друга, еще более чудное, чем первое. Кончается

оно следующими словами:

"Со здоровьем у меня неважно, только это меня действительно и тревожит, было бы досадно умереть в момент, когда после стольких бурь я наконец достиг гавани. Inveni Portum [2]. Тем не менее я не в обиде на болезнь, она даровала мне досуг, в котором я так нуждался и которого у меня без нее никогда бы не было. Я только что провел полтора года в санатории. Это дало мне возможность серьезно углубиться в загадку бытия. Если ты поразмыслишь, то придешь, я полагаю, к тем же выводам, что и я. Aurea Mediocritas [3]. В этих словах доказательство, что мои притязания скромны, я не бунтовщик. Напротив, я храню превосходные воспоминания о наших учителях. Зло не в доктринах, но в том воспитании, которое наши наставники получили сами и передали нам, не умея думать и чувствовать по-иному. Это воспитание сделало из нас индивидуалистов, одиночек. В сущности, мы так и не вышли из состояния детства, мы только и делали, что выдумывали - выдумывали свои горести, свои радости, выдумывали Жизнь, вместо того чтобы жить.

---

[2] Примечания: 2
Прибыл в гавань (лат.).

[3] Примечания: 3
Золотая середина (лат.).

Так что теперь, прежде чем осмелиться сделать шаг за пределы нашего мирка, мы вынуждены начинать все сначала. Это трудная работа, и ее не сделаешь, не поступившись самолюбием, но одиночество еще труднее, тебе предстоит это понять.

Не следует рассказывать обо мне в твоем кругу. В трудовой, здоровой, короче, нормальной (слово "нормальной" трижды подчеркнуто) жизни не должно было бы быть ничего тайного. Увы, наше общество устроено так, что счастье в нем всегда выглядит подозрительно. Полагаю, что христианское учение определенного толка, весьма далекое от духа Евангелий, сыграло известную роль в выработке предрассудков, общих для верующих и неверующих. Уважая свободу других, я до сих пор предпочитал хранить молчание. Я много думал, прежде чем решился нарушить его сегодня в интересах лица, заслуживающего всяческого уважения. Хотя мое здоровье за последние месяцы значительно улучшилось, у меня есть серьезные тревоги, которыми я с тобой поделюсь. Приезжай побыстрее".

Inveni Portum... Почтальон вручил мне письмо, когда я вышел утром, направляясь на урок закона божьего. Я прочел его на кладбище, в нескольких

шагах от Арсена, начинавшего рыть могилу для г-жи Пиноше, которую хоронят завтра. Он тоже углублялся в загадку бытия.

От этого "приезжай побыстрее" у меня сжалось сердце. После его жалкой тирады, продуманной так тщательно (я точно вижу его перед собой почесывающим висок кончиком ручки, как в былые времена), эти детские слова, которых он не может удержать, которые сорвались... На минуту я попытался убедить себя, что все придумал, что за ним попросту ухаживает кто-то из родных. К сожалению, насколько я знаю, у него нет никого, кроме сестры, служанки кафе в Монтре. Вряд ли "лицо, заслуживающее всяческого уважения", это она.

Ну и пусть, все равно поеду.

Меня навестил г-н граф. Он был очень любезен, как всегда, одновременно почтителен и фамильярен. Попросил у меня позволения закурить свою трубку и оставил мне двух кроликов, подстреленных им в Совелинском лесу.

- Госпожа Пегрио приготовит вам их завтра утром. Она предупреждена.

Я не осмелился сказать ему, что мой желудок принимает сейчас только черствый хлеб. Это рагу обойдется мне в половину рабочего дня г-жи

Пегрио, которая даже не полакомится приготовленным блюдом, поскольку вся семья полевого сторожа кроликами сыта по горло. Я, правда, могу отправить остатки с мальчиком-певчим моей старой звонарше, но только когда стемнеет, чтобы не привлекать ничьего внимания. И без того уже слишком много разговоров о моем дурном здоровье.

Многие из моих проектов не по вкусу г-ну графу. Он предостерегает меня, подчеркивая в особенности дурные умонастроения местных жителей, которые, как он говорит, обожрались после войны и нуждаются теперь в том, чтобы немного повариться в собственном соку.

- Не старайтесь слишком быстро их завоевать, не открывайтесь им сразу. Пусть сами сделают первый шаг.

Граф - племянник маркиза де ла Рош-Масе, чье поместье находится всего в двух лье от моей родной деревни. Он проводил там некогда каникулы и хорошо помнит мою бедную маму, которая была тогда ключницей в замке и подкармливала его огромными ломтями хлеба с маслом, втайне от покойного маркиза, очень скупого. Я, впрочем, сам, не подумавши, спросил его об этом, но он тотчас ответил, очень мило, без тени стеснения.

Дорогая мама! Такая еще молодая в ту пору и такая бедная, она умела внушить уважение к себе, симпатию. Г-н граф не говорит: "Госпожа ваша матушка", что, как мне кажется, в его устах выглядело бы несколько нарочитым, но слова "ваша матушка" он произносит, делая ударение на "ваша", с такой серьезностью, с таким почтением, что у меня навертываются слезы на глаза.

Если бы эти строки попались когда-нибудь на глаза человеку стороннему, он наверняка счел бы меня весьма наивным. И я, без сомнения, действительно таков, ибо, уж конечно, нет ничего низкого в своего рода восхищении, которое внушает мне этот человек, внешне такой простецкий, подчас даже легкомысленный, с виду - вечный школьник, резвящийся на вечных каникулах. Я не считаю его умней других, и, говорят, он довольно прижимист со своими арендаторами. Нельзя сказать также, что это образцовый прихожанин, ранней воскресной обедни он не пропускает никогда, но у святого причастия я его еще не видел ни разу. Не знаю даже, говеет ли он на пасху. Как же получилось, что он сразу занял подле меня место - увы, слишком часто пустующее - друга, союзника, сотоварища? Возможно, причина в том, что я ощутил в нем естественность, кото-

рую напрасно ищу в других. Ни сознание своего превосходства, ни наследственная склонность повелевать, ни даже возраст ничто не заставляет его уныло важничать, настороженно пыжиться, как это делает самый мелкий буржуа, кичащийся своим единственным преимуществом деньгами. Мне кажется, буржуа вечно озабочены тем, чтобы сохранить дистанцию (если говорить на присущем им языке), тогда как он сохраняет свой ранг совершенно непринужденно. О, я отлично понимаю, сколько кокетства - я хотел бы думать, бессознательного - в его отрывистом, почти грубом, лишенном какой бы то ни было снисходительности тоне, который тем не менее никого не унижает и вызывает у последнего бедняка не столько мысль о его подчиненности, сколько идею свободно принимаемой военной дисциплины. Кокетства, боюсь, немало. Немало также и гордыни. Но, слушая его, я приободряюсь. И когда я говорю с ним об интересах прихода, о душах, о церкви, а он отвечает "мы", точно мы оба, он и я, можем служить лишь единому делу, я нахожу это естественным и не смею его поправить.

Господин торсийский кюре его недолюбливает и именует не иначе как "графчик", "ваш графчик". Это меня раздражает.

- Почему "графчик"? - спросил я.

- Да потому, что он - безделушка, только милая безделушка, хотя и подлинная. На крестьянском буфете она производит впечатление. Но в лавке антиквара или на аукционе, в день большой распродажи, вы ее даже не заметили бы.

Когда же я признался, что все еще не потерял надежды заинтересовать г-на графа своими планами попечительства, он пожал плечами:

- Хорошенькая копилка из саксонского фарфора ваш графчик, да только вам ее не расколоть!

Я и в самом деле не думаю, чтобы он был слишком щедр. Если он и не производит, как многие другие, впечатления человека, которого держат деньги, то сам он за них, спору нет, держится.

Я хотел также побеседовать с ним о м-ль Шанталь, понурый вид которой меня тревожит. Однако натолкнулся на явное нежелание говорить об этом, потом он вдруг очень развеселился, но его веселость показалась мне деланной. Имя м-ль Луизы его, кажется, крайне обозлило. Он покраснел, лицо его стало деревянным. Я умолк.

"Вы склонны к дружбе, - заметил мне как-то мой старый наставник, каноник Дюрье. - Берегитесь, как бы эта склонность не обернулась страстью. Из всех страстей это единственная, от которой

невозможно оправиться никогда".

Мы охраняем, пусть так. Но мы охраняем, чтобы спасти, вот чего не хочет понять мир, ибо он стремится к одному - продлить себя. А ныне довольствоваться этим уже нельзя.

Древний мир, возможно, и мог себя продлить. Продлить себя надолго. Он был для этого создан. В нем была чудовищная тяжесть, гигантское бремя прижимало его к земле: он примирился с несправедливостью. Вместо того чтобы с ней лукавить, он ее принял всю целиком, полностью, он положил ее в основу закона. Обратил в закон в ряду других законов, он учредил рабство. И нет сомненья, что, какой бы высокой степени совершенства ни достиг древний мир, он не мог сбросить гнет проклятья, поразившего Адама. Дьявол хорошо это знал, лучше, чем кто бы то ни было. Но до чего же жестоко это было - почти полностью переложить груз проклятья на плечи человеческой скотины, избавившись тем самым от тяжкого бремени. Всю огромную совокупность невежества, бунта, отчаяния нес на себе своего рода народ-жертва, народ, не имеющий ни имени, ни истории, ни достояния, ни союзников - во всяком случае, таких, о которых можно сказать вслух, - ни семьи - во всяком случае, законной,

- народ без имени и без богов. Какое упрощенное решение социальных проблем, методов правления!

Но этот институт, казавшийся неколебимым, на самом деле был куда как хрупок. Чтобы покончить с ним навсегда, хватило одного столетья. Хватило бы, возможно, и одного дня. После того как народ-искупитель рассеялся, какая сила могла бы заставить его вновь встать под ярмо?

Институт рабства умер, и вместе с ним рухнул Древний мир. Люди верили, делали вид, что верят в необходимость рабства, принимали его как нечто непреложное. Но оно никогда не будет восстановлено. Человечество не посмеет испробовать вновь эту чудовищную возможность, риск слишком велик. Закон может терпеть несправедливость, исподволь ей потворствовать, но своей санкции он уже не даст ей никогда. У несправедливости больше никогда не будет легального статуса, с этим покончено. Что не мешает ей, однако, распространяться по свету. Общество, уже не смеющее открыто использовать ее ради блага узкого круга, вынуждено неустанно преследовать зло, которое заключено в нем самом и, будучи изгнанным из законов, почти тотчас пробилось в нравах, начав, как бы в обратном направлении,

свой неустанный бег по адскому кругу. Хочет оно того или не хочет, общество отныне разделяет удел человеческий, ему предстоят те же неподвластные разуму перипетии. Некогда оно было безразлично к добру и злу, не ведало иных законов, кроме охраны своего собственного могущества, христианство наделило общество душой, и эту душу оно либо погубит, либо спасет.

Я показал эти строки г-ну торсийскому кюре, однако не посмел сказать, что они принадлежат мне. Но он так проницателен - а я так не умею лгать, что не знаю даже, может, он и догадался. Вернув мне листок, со смешком, который я уже знаю и который не сулит ничего хорошего, он сказал:

- Твой друг неплохо пишет, все это даже слишком лихо закручено. Вообще-то говоря, если всегда полезно мыслить здраво, то дальше лучше бы не заглядывать. Видишь вещь, как она есть, без всякой музыки, и не рискуешь убаюкать себя песенкой, которую сам себе поешь. Если ты заметил истину походя, вглядись хорошенько, так, чтобы потом узнать ее, но не жди, пока она состроит тебе глазки. Евангельские истины глазок не строят. Что до остальных, то никогда толком не знаешь, где они таскались, прежде

чем дошли до тебя, частные беседы опасны. Мне не хотелось ставить в пример такого мужлана, как я сам. Но все же: когда мне приходит на ум какая-нибудь мысль душеспасительная, разумеется, потому что на все другие... - я прежде всего пытаюсь повергнуть ее к стопам Господа Бога в своей молитве. Удивительно, до чего она сразу меняет облик. Бывает, прямо не узнать...

Ну да ладно. Твой друг прав. Современное общество может сколько угодно отвергать Вседержителя, искупительная жертва была принесена и за него, ему уже нельзя просто управлять общим наследием, этого мало, оно, как и все мы, хочешь не хочешь, вступило на путь поисков царства божия. А это царство не от мира сего. Так что остановки на этом пути нет, невозможно прекратить поиски. "Спасись или погибни!" Тут нечего возразить.

То, что твой друг говорит о рабстве, тоже верно. Ветхий завет терпел рабство, да и апостолы тоже проявляли к нему терпимость. Они не повелели рабу: "Отринь своего хозяина", в то время как блудодею, например, они говорили: "Не медли, отринь свою плоть!" Здесь есть тонкое различие. А почему? Потому что они хотели, предполагаю я, дать миру передышку, прежде чем подвергнуть

его сверхчеловеческому испытанию. И я уверен, что такой удалец, как апостол Павел, тоже не строил себе на этот счет иллюзий. Отмена рабства не устранила бы эксплуатации человека. Если приглядеться хорошенько, раб стоил дорого, и уж хотя бы поэтому хозяин вынужден был относиться к нему с известной бережностью. А я вот знавал в молодости одного прохвоста, стекольного мастера, который брал в стеклодувы пятнадцатилетних мальчишек, а когда их бедные легкие не выдерживали, нанимал других, охотников у этого скота было хоть отбавляй. В сто раз лучше быть рабом одного из добрых римских граждан, которые, отдадим им должное, не вели себя, вероятно, как собаки на сене. Нет, апостол Павел не строил себе иллюзий! Он полагал просто, что христианство принесло миру истину, и она непреоборима, потому что вошла в сознанье и человек тотчас узнал в ней себя: Иисус спас каждого из нас и каждый из нас стоит крови Христовой. Можешь перевести это как угодно, даже на язык рационалистов - самый дурацкий из всех,- но это заставляет тебя сблизить слова, которые взрываются при малейшем соприкосновении. Пусть только общество будущего попытается рассесться на них! Они подпалят ему задницу, вот и все. И

тем не менее бедный мир по-прежнему лелеет, в большей или меньшей степени, мечту о древнем договоре, который был заключен некогда с демонами и обеспечивал ему покой. Пожалуй, низведение четверти или, возможно, даже трети рода человеческого до положения скотины, но скотины высшего порядка, было не слишком дорогой ценой за пришествие сверхчеловеков, чистопородной элиты, истинного царства земного... Так думают, но вслух сказать не смеют. Господь наш, обручившись с бедностью, до такой степени возвысил достоинство бедняка, что теперь его уже не свести с этого пьедестала. Он дал бедняку предка - и какого предка! Дал ему имя - и какое имя! Бунт бедняка приглядней, чем смирение, ведь бедняк словно вошел уже в царство божие, словно вернулся с того света - вернулся с брачной трапезы в своей белой одежде... Чего же ты хочешь, Государство вынуждено делать хорошую мину при плохой игре. Оно подтирает детишек, перевязывает увечных, стирает рубахи, варит суп для бездомных бродяг, надраивает плевательницы выжившим из ума, но глаз не сводит со стрелки часов, соображая, дадут ли ему наконец время, чтобы заняться своими собственными делами. Оно еще рассчитывает - отчасти,

конечно, - что ему удастся возложить роль, которую некогда выполняли рабы, на машины. Чушь! Чем больше крутятся машины, тем больше становится безработных, так что, выходит, эти машины вырабатывают только безработных, понимаешь? У бедняков жизнь не сладкая. Ну, там, в России, они еще пытаются... Заметь, я не считаю русских хуже других, все они - нынешние - безумцы, одержимые! - но у этих чертей русских крепкое нутро. Эти ребята - северные фламандцы. Они все переварят, пройдет век, два, они переварят и политехнику, их и на это хватит.

В целом их идея не так уж глупа. Естественно, речь, как всегда, идет о том, чтобы покончить с бедняком: ведь бедняк - свидетель Иисуса Христа, наследник иудеев! Но вместо того чтобы превратить его в рабочий скот или истребить, можно сделать из него человека обеспеченного или даже - если предположить, что дела пойдут все лучше и лучше, - государственного служащего. А у служащего всегда есть твердые устои.

Мне в моем захолустье тоже случается думать о русских. Мои товарищи по семинарии часто говорили о них, полагаю, толком ничего не зная. Главным образом, чтобы подразнить преподавателей. Священники-демократы - люди милые,

полные рвения, но я нахожу их - как бы это получше сказать? - немного буржуазными. Впрочем, народ их недолюбливает, это факт. Не потому ли, что не понимает? Короче, повторяю, мне случается думать о русских с каким-то любопытством, с нежностью. Когда человек изведал нищету, ее сокровенные, ее непередаваемые радости, русские писатели, например, заставляют его плакать. В год папиной смерти маме пришлось перенести операцию, ей вырезали опухоль, и она пять или шесть месяцев пролежала в бергетской больнице. Меня взяла к себе тетка. У нее была крохотная распивочная в окрестностях Ланса, мерзкий дощатый барак, где шахтеры, слишком бедные, чтобы пойти куда-нибудь в другое место, в настоящее кафе, могли выпить можжевеловой. Школа была в двух километрах, уроки я учил, сидя на полу, за стойкой, - иными словами, на совершенно прогнившем деревянном помосте. Сквозь щели проникал запах земли, запах непросыхающей сырости, грязи. В вечера после получки наши клиенты даже не брали на себя труд выйти наружу по естественным надобностям: они мочились прямо на пол, и мне за стойкой делалось так страшно, что в конце концов я засыпал. Но не в этом дело. Учитель меня любил, он давал мне

книги. Именно там я прочел воспоминания о детстве г-на Максима Горького.

Во Франции, конечно, тоже есть очаги бедности. Островки бедности. Но они никогда не бывают достаточно велики, чтобы бедные оказались по-настоящему в своей среде, могли жить подлинной жизнью бедноты. Само богатство у нас слишком приглушено, слишком очеловечено, - не знаю, как выразиться поточней? - чтобы где-нибудь разгорелась в полную силу, распустилась пышным цветом чудовищная мощь денег, их слепая мощь, их жестокость. Мне думается, что русский народ, напротив, был бедным народом, народом бедняков, что он изведал хмель бедности, ее власть. Если бы церковь могла причислить к лику святых целый народ и избрала бы этот, она канонизировала бы его как покровителя бедности, особого заступника бедноты. Г-н Горький, кажется, заработал кучу денег, вел роскошную жизнь где-то на Средиземном море, во всяком случае я читал что-то такое в газете. Даже если это правда, - в особенности если это правда! - я рад, что ежедневно молился за него на протяжении многих лет. Когда мне было двенадцать, я не то чтобы вовсе еще не знал Господа Бога, ибо среди множества голосов, наполнявших мою

бедную голову громовыми раскатами, грохотом штормовых волн, я уже узнавал его голос. Но все равно, первый опыт отчаяния нестерпимо жесток! Да будет благословен всякий, кто оберег от отчаяния детское сердце! Миряне недостаточно понимают это или забывают, потому что иначе им было бы слишком страшно. Среди нуждающихся, как и среди богачей, маленький бедняк одинок, так же одинок, как королевский сын. По крайней мере у нас, в нашей стране, бедностью не делятся, каждый бедняк одинок в своей бедности, эта бедность принадлежит только ему, она его часть - как лицо, руки или ноги. Вряд ли я ясно осознавал свое одиночество, возможно, я и вовсе не сознавал его. Я просто безотчетно подчинялся этому закону своей жизни. В конце концов, я бы, наверно, полюбил одиночество. Нет ничего тверже гордости бедняков. Но вот вдруг эта книга, явившаяся издалека, из сказочных краев, дала мне в товарищи целый народ.

Я дал почитать эту книгу приятелю, который, естественно, не вернул мне ее. Да я и не слишком-то охотно стал бы ее перечитывать, зачем? Достаточно раз услышать - или поверить, что слышишь, - эту жалобу, не похожую на жалобу ни одного другого народа, нет, ни одного, даже еврей-

ского, набальзамированного своей гордыней, как труп благовониями. Да и не жалоба это, скорее песнь, гимн. Нет, я знаю, это не церковный гимн, молитвой его не назовешь. Здесь, как говорится, всего намешано. Стоны мужика под розгами, вопли избиваемой женщины, отрыжка пьяницы и раскаты дикого веселья, этот нутряной рев - ибо бедность и похоть, увы! ищут друг друга, взывают друг к другу во тьме, как два изголодавшихся чудовища. Да, все это должно было ужаснуть меня, не спорю. Однако мне кажется, что такая бедность, бедность, которая позабыла все, вплоть до собственного имени, которая уже не ищет, уже не рассуждает и преклоняет где придется свою заблудшую голову, в один прекрасный день пробудится на груди господа нашего Иисуса Христа.

Вот я и воспользовался случаем.

- Ну а если бы они все же добились успеха? - спросил я у г-на торсийского кюре.

Он на мгновенье задумался.

- Сам понимаешь, я не полезу к беднякам с советом поскорей заявить налоговому инспектору, что они потеряли свое право на пенсию! Пусть тянут, сколько протянут... Но чего ты в конце концов хочешь? Мы здесь, чтобы учить истине, и нам не след ее стыдиться.

Его руки, лежавшие на столе, слегка дрожали, чуть заметно, но все же я понял, что мой вопрос разбудил в нем воспоминания о днях мучительной борьбы, когда едва не пошли ко дну и его мужество, и разум, возможно, и вера... Перед тем как мне ответить, он широко развел плечи, точно человек, который, встретив преграду на своем пути, готовится ее отбросить. О, я не был слишком уж тяжел, нет!

- Учить, мой милый, не так-то весело! Я говорю не о тех, что выходят из положения при помощи всяких благоглупостей: ты еще на них насмотришься за свою жизнь, научишься различать с первого взгляда. "Утешительные истины", как они выражаются. Истина сначала освобождает, утешает она потом Впрочем, мы не вправе называть это утешением. Может, еще соболезнованием? Слово божье - каленое железо! Так неужто ты - ты, который ему учит, - станешь брать его щипчиками, чтобы не обжечься? Не схватишься за него обеими руками? Смех, да и только. Священник, который сходит с кафедры Истины, сложив губы в куриную гузку, несколько разгоряченный, но довольный, - не проповедовал, а самое большее мурлыкал. Заметь, с каждым может случиться, всех нас клонит в сон, и подчас

чертовски трудно не дремать, уснули же в Гефсиманском саду апостолы, даже они! Короче, нужно об этом помнить. Ты и сам понимаешь, что когда тот или другой вовсю размахивает руками и пот с него катит градом, как с грузчика, это еще вовсе не значит, что он в самом деле не спит, далеко не так. Я просто хочу сказать, что когда Господь ненароком исторгает из меня душеспасительное слово, я чувствую это по боли, которую оно мне причиняет.

Он рассмеялся, но каким-то незнакомым мне смехом. в нем было, конечно, мужество, но и надлом. Я не позволю себе судить человека, стоящего, что бы там ни было, много выше меня, но мне хочется сейчас отметить одну его черту, мне самому совершенно чуждую. Впрочем, ни мое воспитание, ни мое происхождение и не могли развить ее во мне. Нет спору также, что некоторые считают г-на торсийского кюре человеком толстокожим, едва ли не вульгарным или - как, например г-жа графиня - недалеким. Ну, словом, я вправе писать здесь все, что хочу, не рискуя никому навредить. Так вот, мне представляется - в плане человеческом, по крайней мере, - что доминирующая черта этой величественной фигуры - гордость. Если уж г-н торсийский кюре не

горд, то это слово вовсе лишено смысла или, во всяком случае, теряет смысл для меня. Сейчас, не сомневаюсь, он был уязвлен в своей гордости, в своей гордости гордого человека. И я был тоже уязвлен, я страдал за него, мне ужасно хотелось сделать что-то нужное, полезное, сам не знаю что. Не подумав, я брякнул:

- Тогда, значит, и я нередко мурлычу, потому что...

- Замолчи, - ответил он, и меня поразила внезапная мягкость его голоса, - не думаешь ли ты, что какой-нибудь несчастный голодранец вроде тебя способен сделать нечто большее, чем просто повторить свой урок? Но Господь Бог тем не менее его благословляет, твой урок, потому что ты не похож на процветающего лектора для поздней обедни... Видишь ли, - продолжал он, - каждого дурака, короче, любого, кого ни возьми, тронет мягкое, ласковое слово, такое, какое несут нам святые Евангелия. Так пожелал Господь. Это само собой. И только люди слабые или суемудрые считают необходимым закатывать глаза и сверкать белками, прежде чем откроют рот. Да ведь и природа тоже встречает человека лаской, разве для младенца, покоящегося в колыбели и вбирающего мир своим открытым взглядом

предпробуждения, вся жизнь не мягкое, нежное участие? А жизнь-то ведь сурова! Заметь, впрочем, что, если подойти к этому правильно, прием, который она оказывает человеку, не так уж обманчив, как кажется, ибо смерть только и стремится, что выполнить обещание, данное жизнью на заре дней, улыбка смерти, хоть она и серьезней, ничуть не менее сладка и мягка, чем та, первая. Короче, в устах младенцев слово также делается младенческим. Но когда взрослые - Гордецы - полагают хитроумным нашептывать себе слово божье, точно это сказочка Матушки Гусыни, удерживая из него лишь трогательные, поэтические детали, - мне страшно - страшно за них, разумеется. Послушать только лицемера, развратника, скупца, богача неправедного, как они воркуют, распустя губы и блестя глазами, Sinite parvulos, точно позабыли слова, идущие следом, - одни из самых устрашающих среди всех, которые дано было услышать уху человеческому: "И если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное..."

Он повторил этот стих, словно для себя самого, и продолжал еще некоторое время говорить, не отнимая рук от лица:

- Было бы, знаешь ли, идеально проповедовать

Евангелие одним детям. Мы слишком расчетливы, вот в чем зло. Поэтому-то нам только и остается, что учить духу бедности, а это, мой милый, поверь, не легкое дело! Ну и пытаешься на все лады, плохо ли, хорошо, приспособиться. И прежде всего начинаешь обращаться к одним богатым. Проклятые богачи! Это, как назло, люди очень сильные, очень умные, дипломаты - первый сорт. Когда какой-нибудь дипломат вынужден подписать договор, который ему не по вкусу, он спорит по каждому пункту. Тут изменит слово, там переставит запятую, в конце концов все подгонит, тютелька в тютельку. Ну а на этот раз, черт возьми, овчинка стоила выделки: речь-то ведь шла о проклятии, сам понимаешь! Но оказывается, есть проклятие - и проклятие. В данном случае его обходят. "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божье..." Заметь, я первый нахожу этот текст чересчур суровым и вовсе не отказываюсь делать различия, а то слишком уж это ударило бы по клиентуре отцов иезуитов. Итак, сойдемся на том, что Господь имел в виду богачей, настоящих богачей, богачей, проникнутых духом богатства. Ладно! Но когда дипломаты принимаются намекать, что игольное ушко - одно

из врат Иерусалимских, только чуть-чуть поуже, и богач, проходя сквозь него в царство небесное, рискует разве что слегка оцарапать икры или порвать на плечах свою красивую тунику, это меня, как ни говори, злит! Господь наш собственной рукой начертал на этих денежных мешках: "Смертельно опасно", как делает дорожное управление на мачтах высокого напряжения, а еще хотят, чтобы...

Он поднялся и стал ходить по комнате, от стены к стене, засунув руки в карманы своей теплой сутаны. Я хотел тоже встать, но он усадил меня кивком головы. Я чувствовал, что он еще колеблется, как бы вынося обо мне последнее суждение, взвешивая, можно ли мне сказать то, чего он, возможно, не говорил никому - во всяком случае, в подобных выражениях. Он явно во мне сомневался, однако в его сомнениях не было ничего для меня унизительного, могу поклясться. Он, впрочем, и не способен никого унизить. В эту минуту его взгляд был таким добрым, мягким - хотя это кажется нелепым, когда речь идет о солидном, полном, почти вульгарном на вид мужчине, о человеке с таким огромным практическим опытом, знанием жизни, - в нем была удивительная, непередаваемая чистота.

- Нужно многое взвесить, прежде чем говорить богатым о бедности. Иначе мы оказались бы недостойны проповедовать ее беднякам, а как тогда осмелиться предстать перед судом Спасителя нашего Иисуса Христа?

- Проповедовать бедность беднякам? - спросил я.

- Да, беднякам. Ибо к ним посылает нас Господь в первую очередь, а для чего? Что должны мы возвестить им? Бедность. Они-то ждут совсем другого! Они ждут, что их нищете будет положен конец, а вместо этого Бог берет за руку бедность и говорит им: "Вот ваша Владычица, поклянитесь ей в верности и благоговении", какой удар! Запомни, что к этому, в сущности, сводится вся история еврейского народа с его царством земным. Народ бедняков подобен еврейскому народу, страннику среди других племен, алчущему исполнения своих плотских упований, это - народ разочарованный, разочарованный до мозга костей.

- И, однако...

- Да, и, однако, таков порядок, изменить его не в наших силах... Не спорю, человеку малодушному, может, и удастся обойти трудность стороной. Народ бедняков - легкая аудитория, благодарная аудитория, если знаешь, как к ней подойти.

Пойди к больному раком, скажи, что он скоро выздоровеет, он только и мечтает тебе поверить. Нет ничего легче, в общем, чем дать им понять, что бедность - нечто вроде стыдной болезни, недостойной цивилизованной нации, и что мы их избавим от этой дряни во мгновение ока. Но кто из нас осмелится говорить так о бедности Иисуса Христа?

Он смотрел на меня в упор, но я так и не знаю, не сливался ли я для него с предметами домашней обстановки, привычными безмолвными поверенными его признаний. Нет! Он меня не видел! Одним только желанием убедить меня невозможно было бы объяснить его душераздирающий взгляд. Это против самого себя, против чего-то в самом себе, сотни раз подавленного, сотни раз побежденного, но все еще неусмиренного, восставал он во весь свой рост у меня на глазах, на это обрушивал всю свою силу, подобно человеку, борющемуся за жизнь. Как же глубока была эта душевная рана! Он словно раздирал себя собственными руками.

- Мне, ты ведь меня знаешь, - сказал он, - очень хотелось бы проповедовать бедным бунт. Или, точнее, вовсе ничего не проповедовать. Охотнее всего я взял бы одного из этих так называемых

"борцов", торговцев фразой, игроков в революцию, и показал бы ему, что такое настоящий фламандец. У нас, фламандцев, мятеж в крови. Вспомни нашу историю! Благородные и богатые нас никогда не страшили. Слава богу, теперь я уже могу в этом признаться, - как я ни силен, какой я ни крепкий мужчина, Господь уберег меня от чересчур нестерпимых искушений плоти. Но несправедливость и людские невзгоды - вот что распаляет мою кровь. Сейчас все это в прошлом, но ты не можешь себе представить... Вот возьми, например, знаменитую энциклику Льва Тринадцатого "Rerum Novarum", вы теперь читаете ее спокойно, как ни в чем не бывало, проглядываете, словно рядовое великопостное послание. А у нас в свое время, мой милый, земля содрогнулась под ногами. Какой энтузиазм! Я был тогда приходским священником в Норанфонте, в самом сердце шахтерского края. Такая простая вещь, как идея, что труд не товар, покорный закону спроса и предложения, что нельзя спекулировать на заработной плате, на жизни людей, как на пшенице, сахаре или кофе, потрясала сознание, поверишь ли? Из-за того, что я объяснял это с кафедры моим прихожанам, я прослыл социалистом, и благонамеренные крестьяне добились

моего перевода, как опального, в Монтре. На опалу мне было плевать, пойми. Но в ту минуту...

Он умолк, весь дрожа. Он не отрывал от меня взгляда, и я устыдился ничтожности своих трудностей, мне хотелось целовать ему руки. Когда я осмелился поднять глаза, он стоял спиной ко мне и смотрел в окно. После долгого молчания он продолжал все тем же изменившимся, хотя и более глухим, голосом.

- Жалость, знаешь ли, это животное. Животное, от которого можно требовать многого, но не всего. Самый верный пес может взбеситься. Жалость сильна и прожорлива. Не знаю, почему ее обычно считают какой-то нюней, растетехой. Одна из самых мощных страстей человека - вот что такое жалость. В ту пору моей жизни я - человек, которого ты сейчас слышишь, - боялся, что она сожрет меня. Гордыня, зависть, гнев, даже похоть, - все семь смертных грехов хором вопили от боли. Словно волчья стая, которую облили керосином и подожгли.

Я вдруг почувствовал на своих плечах тяжесть его рук.

- Короче, и у меня тоже были свои неприятности. Трудней всего, что никто тебя не понимает, чувствуешь себя смешным. Все видят в тебе

только заурядного священника-демократа, тщеславного и актерствующего. Возможно, что священники-демократы, как правило, и не слишком темпераментны, но мне-то темперамента скорее, полагаю, хватало с лихвой. Знаешь, я тогда понял Лютера. Ему тоже темперамента хватало. Нисколько не сомневаюсь, он в своей эрфуртской монастырской дыре с ума сходил, снедаемый жаждой справедливости. Но Господь Бог не любит, когда затрагивают его справедливость, и гнев божий крепковат для нас, бедняг. Мы от него хмелеем, делаемся хуже скотов. Вот и старик Лютер, сначала заставил трепетать кардиналов, а потом в конце концов стал лить воду на мельницу немецких князей, этой гнусной банды... Взгляни только на портрет, который был сделан с него на смертном одре... Никто не узнает прежнего монаха в этом пузатом человечке с надутым ртом. Хоть гнев его и был в принципе справедлив, но мало-помалу он отравил Лютера: обратился в нездоровый жир, вот и все.

- Вы молитесь за Лютера? - спросил я.

- Ежедневно, - ответил он. - Меня, впрочем, тоже зовут Мартин, как и его.

Тут произошло нечто поразительное. Он придвинул стул впритык к моему, сел, взял мои руки

в свои и, неотрывно глядя мне в глаза своими прекрасными глазами, хотя и полными слез, но более, чем когда-либо, властными, глазами, которые могли бы сделать смерть совсем легкой, совсем простой, сказал:

- Я называю тебя голодранцем, но я тебя уважаю. Прими это слово, как оно того заслуживает, - это великое слово. На мой взгляд, ты призван Господом, тут нет сомнений. Физически ты смахиваешь скорее на монашью породу, но суть не в этом! Плечами ты похвастать не можешь, но сердцем крепок, ты достоин служить в пехоте. Запомни только то, что я тебе скажу: не дай себя эвакуировать - если ты попадешь хоть раз в лазарет, тебе оттуда не выбраться. Ты не создан для войны на истощение. Шагай вперед и постарайся окончить свои дни в братской могиле, не отстегнув ранца.

Я хорошо знаю, что не достоин такого доверия, но раз уж оно мне даровано, думаю, не обману его. В этом вся сила слабых, малых, моя сила.

- Одни постигают жизнь быстрее, другие медленнее, но в конце концов все ее постигают, в меру своих возможностей. Мера у каждого своя, разумеется. Четвертушка не может вместить столько, сколько литровая бутыль. Но есть еще

опыт несправедливости.

Я почувствовал, как лицо мое, помимо воли, твердеет, ибо это слово причиняет мне боль, и уже открыл рот, чтобы ответить.

- Молчи! Ты еще не знаешь, что такое несправедливость, ты это узнаешь. Ты принадлежишь к породе людей, которую несправедливость чует издалека и терпеливо подстерегает до дня, когда... Не позволяй ей тебя сожрать. Главное, не воображай, что сможешь заставить ее отступить перед тобой, глядя ей в глаза, как укротитель! Тебе не совладать с ее колдовскими чарами, она тебя заворожит. Не смотри на нее дольше, чем того требует необходимость, и никогда не смотри на нее без молитвы.

В его голосе послышалась легкая дрожь. Какие образы, какие картины проходили в это время перед его глазами? Бог весть.

- Эх, ты еще не раз позавидуешь монашке, которая спозаранку с веселым сердцем отправляется к своим вшивым ребятишкам, своим нищим, пьяницам и трудится до вечера засучив рукава. Ей, знаешь ли, не до несправедливости! У нее свое стадо увечных, она его моет, подтирает, перевязывает и в конце концов хоронит. Господь не ей вручил свое Слово. Слово божье! Верни мне

мое Слово, - потребует Судия в Судный день. Как подумаешь, что тут придется извлечь некоторым из своего жалкого багажа, становится, право, не до смеха!

Он снова поднялся и встал ко мне лицом. Я тоже поднялся.

- Сберегли ли мы его, это Слово? И если сберегли в неприкосновенности, не утаили ли от других? Дали ли мы его бедным так же, как богатым? Разумеется, Господь Бог говорит со своими бедными ласково, но, как я уже сказал тебе, он возвещает им только бедность, от этого никуда не уйдешь. Спору нет, церкви доверено охранять бедняка. Это легче всего. И каждый, кто способен на сочувствие, разделяет с нею эту опеку. Но одна лишь церковь, слышишь? - одна, только она одна обязана охранять достоинство бедности. О! Нашим врагам легко. "Нищих всегда имеете с собой", - это ведь не демагогом сказано! Это - Слово, и оно вручено нам. И пусть себе богачи прикидываются, будто верят, что в нем оправдание их эгоизма. Но нам-то каково - мы ведь таким образом оказываемся заложниками сильных мира сего всякий раз, когда армия неимущих подступает к стенам Града! Нет в Евангелии слова печальнее этого, оно исходит печалью. И обра-

щено оно прежде всего к Иуде. Иуда! В Евангелии от Луки рассказано, что Иуда вел счет расходам и что его бухгалтерия была не слишком точной, пусть так! В общем, он был банкиром двенадцати, а где это видано, чтобы банковские книги были в ажуре? Возможно, он перебирал лишку за комиссию, как и все прочие. Судя по последней его операции, блестящий финансист из него бы не получился, из этого Иуды! Но Господь Бог приемлет наше общество таким, как оно есть, в противоположность шутникам, которые создают свое на бумаге и давай его реформировать - все так же на бумаге, разумеется! Короче, Господь Бог отлично понимал власть денег, он отвел подле себя местечко капитализму, дал ему возможность развернуться и даже сделал свой первый вклад в основной капитал; по-моему, это чудесно, как хочешь! Это прекрасно! Бог ничего не презирает. В конце концов, пойди дело на лад, вовсе не исключено, что Иуда давал бы деньги на санатории, больницы, библиотеки или лаборатории. Заметь, что проблема пауперизма его уже интересовала, как каждого миллионера. "Нищих всегда имеете с собой,отвечает ему Господь наш, - а меня - не всегда". Что означает: "Смотри не пропусти час милосердия. И верни-ка мне лучше, не откла-

дывая, деньги, украденные у меня, вместо того чтобы морочить голову моим апостолам своими воображаемыми спекуляциями на доходах от парфюмерии и прожектами благотворительных учреждений. Ты вдобавок убежден, что льстишь моей всем известной слабости к нищим, но ты ошибаешься от начала до конца. Я своих бедняков люблю не так, как старухи англичанки любят бездомных кошек или быков на корриде. Это все барские замашки. Я люблю бедность глубокой, вдумчивой, трезвой любовью - как равный равного, как любят супругу с плодоносящим лоном и верным сердцем. Я увенчал ее собственными руками. Не всякому дано почитать ее, служить ей - тому только, кто прежде облекся в белую льняную тунику. Не всякому дано преломить с нею горький хлеб. Я пожелал, чтобы она была смиренной и гордой, но не раболепной. Да и не отвергнет стакан воды, буде его предложат ей во имя мое, и да приемлет его во имя мое. Если бы права бедняка зиждились на одной необходимости, вы, с вашим эгоизмом, ничтоже сумняшеся, обрекли бы его только на строго необходимое, да еще заставили бы расплачиваться за это вечной благодарностью и вечным рабством. Вот ты сейчас негодуешь на эту женщину, которая ума-

стила мне ноги драгоценным миром, как будто мои бедняки не вправе тоже воспользоваться благами парфюмерной промышленности. Воистину, ты из тех, кто, дав медный грош бродяге, возмущаются, что он не бросается тут же, у них на глазах, к булочнику, чтобы набить брюхо черствым хлебом, который лавочник, впрочем, провал бы ему по цене свежего. Да будь они сами на его месте, они тоже отправились бы к виноторговцу, ибо нутро обездоленного алчет иллюзии больше, чем хлеба. Несчастные! Разве золото, с которым вы так носитесь, не иллюзия, не сновиденье, а подчас даже всего лишь обещание сновиденья? Бедность немало тянет на весах Отца моего небесного, и все ваши сокровища - дым, им не уравновесить чаши. Среди вас всегда будут бедные, потому что всегда будут богатые, то есть жадные и жестокие, стремящиеся не столько даже к обладанию, сколько к власти. Такие есть как среди неимущих, так и среди богачей, и бедняк, который уснул с перепою в канаве, видит, возможно, те же сны, что и Цезарь, под своим пурпурным балдахином. Богаты вы или бедны, взгляните-ка лучше на себя в бедность, как в зеркало, ибо она образ вашего первородного разочарования, здесь, в земной юдоли, она подобна

утраченному Раю, она - опустошенность вашего сердца, ваших рук. Я возвел ее так высоко, взял ее в жены, увенчал потому лишь, что мне ведомо ваше лукавство. Допусти я, чтобы вы видели в ней врага или хотя бы чужестранку, оставь я вам надежду, что вы можете когда-нибудь изгнать ее из вашего мира, я вынес бы тем самым приговор слабым. Ибо слабые во веки веков пребудут для вас невыносимым бременем, мертвым грузом, который ваши цивилизации, преисполненные гордыни, станут перебрасывать одна другой с гневом и отвращением. Я запечатлел на челе бедняка свой знак, и вы уже не смеете к нему приблизиться, разве что ползком, вы пожираете заблудшую овцу, но посягнуть на само стадо уже не решаетесь. Отыми я на мгновение свою руку, и ненавистное мне рабство тотчас возродится, под тем или иным именем, ибо ваш закон содержит свои счетные книги в ажуре, а слабому нечем расплатиться, кроме собственной шкуры".

Его широкая ладонь дрожала на моей руке, и слезы, которые я, казалось, видел в его глазах, как бы постепенно впитывались этим взглядом, по-прежнему не отпускавшим мой. Я не мог плакать. Незаметно для меня стемнело, и я уже едва различал его окаменевшее лицо, столь же

благородное, столь же чистое, столь же мирное, как лицо усопшего. И тут как раз послышался первый удар колокола, призывавший к вечерне, он прозвучал с какой-то головокружительной небесной высоты, точно с вершины ночи.

Вчера был в Бланжермоне у г-на благочинного, который - весьма по-отечески, но нескончаемо долго - беседовал со мной о том, что молодому священнику следует относиться внимательно к своим счетам.

- Главное - никаких долгов, этого я не допущу! - заключил он.

Я был, признаться, несколько удивлен и глупейшим образом уже встал, чтобы откланяться. Он, однако, просил меня сесть (счел, по-видимому, что я рассердился); в конце концов я понял, что г-жа Памир пожаловалась на задержку платы по своему счету (за хинную водку). Вдобавок я якобы задолжал пятьдесят три франка мяснику Жофрену и сто восемнадцать торговцу углем Делакуру. Г-н Делакур - генеральный советник. Последние двое, впрочем, ни на что не жаловались, и г-н благочинный вынужден был признаться, что и эти сведения исходят от г-жи Памир. Она не может мне простить, что я беру бакалейные товары у Камю, человека нездешнего, чья дочь, по

слухам, недавно развелась с мужем. Мой патрон сам первый смеется над подобными сплетнями, считая их нелепыми, но когда я сказал, что ноги моей больше не будет у г-на Памира, несколько рассердился. Он напомнил мне о моих высказываниях на одной из наших ежеквартальных конференций у вершокского кюре, где сам он не присутствовал. Я якобы позволил себе выражения, на его взгляд слишком резкие, говоря о торговле и торговцах.

- Запомните хорошенько, дитя мое, слова молодого священника, такого неопытного, как вы, никогда не будут пропущены мимо ушей старшими, ведь их долг - составить ясное представление о новом собрате. В ваши годы следует быть сдержаннее на язык. В таком узком, замкнутом кругу, как наш, нет ничего законней взаимного контроля, и было бы дурно, если бы вы затаили на это обиду в сердце. Порядочность в торговле, конечно, теперь уж не та, что прежде, наши лучшие семьи проявляют по этой части небрежение, достойное всяческого порицания. Но у грозного Кризиса, следует признать, есть свои суровые законы. Я еще знавал времена, когда эта трудолюбивая, бережливая буржуазия, которая и по сю пору является залогом богатства и величия

нашей дорогой отчизны, почти поголовно подпала под влияние злокозненной прессы. Сейчас, почувствовав угрозу плодам своих трудов со стороны всяких смутьянов, она осознала, что эпоха многообещающих иллюзий миновала, что у общества нет опоры более крепкой, чем церковь. Разве право собственности не записано в Евангелии? О, разумеется, это дело тонкое, и вы, как духовный наставник, должны обращать их внимание на обязанности, соответствующие этому праву, но тем не менее... Из-за своих физических недомоганий я стал ужасно нервным. Мне не удалось сдержать слова, которые сами рвались с уст, хуже того, я произнес их дрожащим голосом, тоном, изумившим меня самого:

- Не так-то часто слышишь на исповеди покаяние в незаконных доходах!

Господин благочинный посмотрел мне в глаза, я твердо выдержал этот взгляд. Я думал о торсийском кюре. Но, как бы там ни было, возмущение, даже законное, слишком уж сомнительное движение души, чтобы священник имел право ему поддаться. Да я и сам чувствую что-то не то в своем гневе, когда мне приходится говорить о богаче - о настоящем богаче, богаче по духу, единственном подлинном богаче, пусть у него в кармане и

не больше одного денье, - о денежном человеке, как они выражаются... Денежный человек!

- Ваше замечание удивляет меня, - сказал г-н благочинный сухо. - Мне кажется, я слышу в нем какую-то злопамятность, ожесточение... Дитя мое, продолжал он несколько мягче, - боюсь, как бы былые школьные успехи не сообщили вашему уму ложного направления. Мир не семинария. Жизнь в семинарии - это не жизнь. Немного было бы нужно, без сомнения, чтобы сделать из вас интеллигента, то есть бунтаря, человека, систематически оспаривающего социальную иерархию, которая зиждется вовсе не на уме. Избави нас боже от реформаторов!

- Господин благочинный, многие из святых тем не менее ими были.

- Избави нас боже также от святых! Не спорьте, это, впрочем, всего лишь шутка, но сначала выслушайте меня. Вам отлично известно, что церковь канонизирует только очень немногих, из ряда вон выходящих праведников, чьи уроки и героический пример, пропущенные сквозь сито тщательной проверки, составляют общую сокровищницу верующих, хотя при этом, заметьте, последним отнюдь не дозволяется бесконтрольно черпать из этой сокровищницы. Отсюда выте-

кает, что, как бы глубоко мы ни почитали этих выдающихся людей, они подобны драгоценным винам, которые требуют долгой выдержки и стоят неимоверных трудов и забот виноградарю, меж тем как усладить ими свое нёбо смогут лишь его правнуки... Я шучу, разумеется. Вы могли заметить, однако, что бог как бы опасается умножить среди нас, мирян его регулярного воинства, если будет мне позволено так выразиться, число святых, с их чудесами и подвигами, сверхъестественных искателей приключений, наводящих подчас дрожь на регулярные кадры церковной иерархии. Разве арский кюре не исключение? Разве не ничтожна пропорция причисленных к лику святых среди почтенного множества безупречных, ревностных священнослужителей, вкладывающих все силы в отправление своих изнурительных обязанностей? Но кто осмелится при этом утверждать, что жизнь, исполненная героических добродетелей, - привилегия монахов, если даже не простых мирян?

Понимаете ли вы теперь, что в известном смысле и со всеми оговорками относительно несколько неуважительного, парадоксального характера такого рода шутки я имел право сказать: избави нас боже от святых? Слишком часто

они были испытанием для церкви, прежде чем стать ее славой. Я уж не говорю о святых неудавшихся, несовершенных, которых хоть пруд пруди вокруг истинных святых, как медной мелочи в кармане, - от них, как от больших грошовых монет, куда больше тяжести, чем проку! Какой пастырь, какой епископ пожелал бы командовать подобным воинством? Пусть они даже преисполнены духа покорности! Какой толк? Что бы они ни делали, их высказывания, их поведение, само их молчание всегда рискует оказаться соблазном для людей посредственных, слабых, теплых. О, я знаю, вы ответите мне, что Господь извергнул из уст своих тех, кто тепл. А кто, собственно, тепл? Этого мы не знаем. Можем ли мы быть уверены, что определяем этот тип людей так же, как Он? Отнюдь нет. С другой стороны, у церкви есть свои нужды, скажем прямо она нуждается в деньгах. Эта потребность существует, вы не можете со мной не согласиться, и нечего тут краснеть. Церковь обладает телом и душой: она должна обеспечивать нужды тела. Здравомыслящий человек не стесняется того, что он должен есть. Будем же смотреть на вещи трезво. Мы сейчас говорили о торговцах. От кого государство получает львиную долю своих доходов? Не от этой

ли как раз мелкой буржуазии, алчной до денег, неумолимой по отношению к бедняку, как и по отношению к себе самой, бережливой до одури? Современное общество - ее создание.

Разумеется, никто не требует, чтобы вы поступались принципами, ни в одной епархии, насколько мне известно, уча закону божьему, не вносят никаких изменений в четвертую заповедь. Но разве можем мы совать нос в счетные книги? Более или менее послушные нашим урокам, когда дело идет, к примеру, о заблуждениях плоти, в которых их мирская мудрость видит беспорядок, пустое расточительство, - хотя, впрочем, она не подымается многим выше страха перед риском или расходом, - эти труженики рассматривают то, что они именуют своими делами, как частное владение, где все освящено их трудом, ибо они исповедуют религию труда. Каждый за себя - вот их правило. И тут мы не властны, понадобится немало времени, века, быть может, чтобы разрушить предрассудок, видящий в коммерции своего рода войну и требующий для нее тех же привилегий, той же терпимости. Солдат на поле брани не считает себя убийцей. Точно так же и негоциант, извлекающий из своего труда ростовщическую прибыль, отнюдь не видит в

себе вора, ибо знает, что не способен вытащить десять су из чужого кармана. Ничего не поделаешь, дорогое мое дитя, люди остаются людьми! Если бы какой-нибудь из этих торговцев решил следовать буквально евангельским предписаниям относительно законного дохода, банкротство было бы ему обеспечено.

Можем ли мы стремиться к тому, чтобы отбросить в Ряды низшего класса этих трудолюбивых граждан, которым стоило таких усилий выбиться в люди и которые являются нашей лучшей опорой в материалистическом обществе? Ведь именно они берут на себя часть расходов церкви и поставляют нам кадры духовенства, в то время как источник рекрутирования священнослужителей в наших деревнях почти иссяк. От крупной индустрии уже осталось одно только название - ее поглотили банки, аристократия вымирает, пролетариат ускользает от нас, так неужели вы предложите средним классам немедленно, с маху разрешить проблему совести, требующую долгого труда, меры, такта. И разве рабство не больше оскорбляло Закон Господа нашего? Тем не менее апостолы... В вашем возрасте человек склонен к безапелляционным приговорам. Опасайтесь этой наклонности. Не предавайтесь абстрактному

умствованию, не теряйте из виду конкретных людей. Вот, кстати, возьмите для примера хотя бы ту же семью Памир, она отлично иллюстрирует только что изложенную мною концепцию. Дед был простым рабочим, каменщиком, известным антиклерикалом, даже социалистом. Наш достопочтенный собрат, безанкурский кюре, еще помнит, как этот Памир спустил штаны на пороге своего дома, когда мимо шел крестный ход. Вскоре он купил небольшую торговлю винами и ликерами, заведение довольно сомнительное. Два года спустя его сын, окончивший муниципальный коллеж, породнился с хорошей семьей, с Делакруа, племянник которых был приходским священником где-то неподалеку от Брожлон. Дочь, женщина весьма расторопная, открыла бакалейную лавку. Старик, естественно, стал ею заниматься, круглый год он колесил по дорогам в своей двуколке. И именно на его средства внуки обучались в пансионе епархиального коллежа в Монтре. Ему льстило, что они там дружат с детьми дворян, он давно уже забыл, впрочем, о социализме, служащие боялись его как огня. В двадцать два года Луи Памир женился на дочери нотариуса Деливоля, доверенного его преосвященства; Арсен занимается магазином, Шарль

обучается в Лилле на медицинском факультете, а самый младший, Адольф, в аррaской семинарии. Всем известно,что эти люди сами не боятся работы, однако иметь с ними дело не легко, они выжали весь кантон. Ну и что! Они нас обворовывают, но зато и уважают. Это создает между ними и нами своего рода социальную солидарность, о которой можно сожалеть или не сожалеть, но которая существует, а все, что существует, должно быть использовано во благо.

Он умолк, немного раскрасневшись. Мне всегда трудно следить за такого рода речами, мое внимание быстро утомляется, если тайная симпатия не позволяет мне страстно опережать мысль собеседника, и я, как выражались прежние преподаватели, начинаю "плестись в хвосте"... Как справедливо народное выражение "слова, которые камнем ложатся на сердце"! То, что я выслушал, окаменело в моей груди, и я чувствовал, что одна только молитва еще может растопить эту ледяную глыбу.

- Я, наверно, говорил с вами слишком резко, - продолжал г-н бланжермонский благочинный, - но для вашего же блага. Когда вы поживете подольше, вы это поймете. Но нужно жить.

- Нужно жить, это ужасно! - ответил я, не поду-

мав. - Вы не согласны?

Я ждал взрыва, потому что сказал это голосом, которым говорю в дурные часы. Я сам хорошо знаю этот голос - "голос твоего отца", как выражалась мама... На днях я слышал, как бродяга отвечал деревенскому полицейскому, требовавшему у него бумаги: "Бумаги? Откуда я их возьму? Я сын неизвестного солдата!" У него был голос вроде этого.

Господин благочинный только окинул меня долгим пристальным взглядом.

- Вы, похоже, поэт (он произносит "поат"). К счастью, с двумя деревнями, приписанными к вашему приходу, работы у вас будет выше головы. Работа все наладит.

Вчера вечером мне недостало мужества. Мне хотелось подвести итог этой беседе. Зачем? Я, ясное дело, не могу не принимать во внимание характер г-на благочинного, очевидное удовольствие, которое он получает, противореча мне, меня унижая. Он в прошлом показал себя ревностным гонителем молодых священников-демократов и, нет сомнения, причисляет меня к ним. Ошибка вполне извинительная, в общем. Крайне скромное происхождение, нищее, обездоленное детство, все более и более ощущаемая мною са-

мим диспропорция между весьма небрежным, с большими пробелами, образование ем, которое я получил, и некой чувствительностью ума, позволяющей о многом догадываться, сделали из меня человека по натуре не слишком дисциплинированного, а вышестоящие имеют все основания опасаться этой разновидности. Кем стал бы я, если бы... Чувства, испытываемые мною по отношению к тому, что именуется обществом, довольно, впрочем, смутны до сих пор... Несмотря на то что я сын людей бедных, - а может, именно поэтому, как знать? - я понимаю по-настоящему только превосходство породы, крови. Признайся я в этом, меня бы высмеяли. Мне кажется, например, что я с радостью служил бы истинному господину государю, королю. Можно соединить ладони и вложить свои руки в руки другого человека, поклявшись ему в вассальной верности, но никому не взбредет на ум совершить этот обряд у ног какого-нибудь миллионера, потому что с миллионером это выглядело бы по-идиотски. Понятия богатства и могущества до сих пор не могут для меня слиться, первое все еще остается отвлеченным. Я понимаю, легче легкого сказать в ответ на мои рассуждения, что среди сеньоров прошлого многие были обязаны своим феодом денежному

мешку ростовщика-отца, но, в конце концов, был ли феод завоеван мечом или нет, охранять его приходилось мечом, как собственную жизнь, ибо человек и феод сливались воедино, даже имя носили одно... И разве не по этому таинственному знаку узнавали друг друга цари? А царь в нашем Священном писании ничем не отличается от пророка. Конечно, миллионер располагает в недрах своих сейфов большим числом жизней человеческих, чем любой монарх, но его могущество подобно идолам - оно слепо и глухо. Оно способно убивать, вот и все, даже не ведая, что убивает. Не такова ли привилегия бесов?

(Мне иногда кажется, что Сатана, когда он пытается овладеть мыслью Бога, не просто ненавидит ее, не понимая, но понимает навыворот. Он невольно устремляется против течения жизни, вместо того чтобы отдаться ему, и истощает свои силы в бесплодных, ужасающих потугах вывернуть наизнанку каждое из дел Творения.)

Гувернантка зашла сегодня утром ко мне в ризницу. Мы долго беседовали о м-ль Шанталь. Молодая девушка якобы все больше и больше ожесточается, ее пребывание в замке стало невыносимым, и следовало бы отдать ее в пансион. Но г-жа графиня, очевидно, еще не решается на

подобную меру. Я понял, что от меня ждут, чтобы я склонил ее к этому, и мне предстоит отужинать в замке на будущей неделе.

Мадемуазель явно чего-то недоговаривает. Несколько раз она смотрела мне в глаза с неприятной настойчивостью, губы у нее дрожали. Я проводил ее до дверцы, выходящей на кладбище. Уже на пороге прерывающимся голосом, торопливо, точно стараясь поскорей отделаться от унизительного признания так говорят в исповедальне, - она стала извиняться, что прибегает ко мне в таких опасных, таких деликатных обстоятельствах.

- Шанталь натура пылкая, странная. Не думаю, чтобы она была порочной. У молодых особ ее возраста безудержное воображение. Я, впрочем, долго колебалась, прежде чем предостеречь вас против девочки, которую люблю и жалею, но она способна на весьма необдуманные поступки. Случись такое, вы человек в приходе новый, вам ни к чему, даже рискованно, поддавшись вашему великодушию, вашему милосердию, как бы вызвать ее тем самым на признанья... Господин граф этого не потерпел бы, - добавила она тоном, который мне не понравился.

Разумеется, у меня нет никаких оснований по-

дозревать ее в предвзятости, несправедливости, и когда я попрощался с нею нарочито холодно, не протянув даже руки, у нее в глазах стояли слезы, настоящие слезы. Впрочем, манеры м-ль Шанталь мне отнюдь не по вкусу, в ее лице есть та черствость, та жестокость, с которой я нередко, увы, сталкиваюсь и у многих молодых крестьянок и в секрет которой до сих пор не проник, вероятно, никогда не проникну, ибо даже на смертном одре они позволяют догадаться лишь о немногом. Мальчики совсем иные! Я не склонен думать, что они кощунствуют, исповедуясь в такой момент, нет, умирающие, о которых я говорю, вполне искренне раскаивались в своих грехах. Но лишь по ту сторону мрачного перехода на их бедных дорогих лицах вновь проступало выражение безмятежного детства (такого, однако, недавнего!), какая-то доверчивость, восторженность, чистая улыбка... Демон похоти - немой демон.

Не в том суть. Я ничего не могу с собой поделать - хлопоты мадемуазель мне чем-то подозрительны. Я недостаточно опытен, авторитетен, чтобы вмешиваться в семейные дела такого деликатного свойства, и было бы куда разумнее держать меня от них в стороне. А если уж сочли нужным мое вмешательство, что значит этот запрет, это

нежелание, чтобы я вынес обо всем свое собственное суждение? "Господин граф этого не потерпел бы..." Вот уж чего не следовало говорить.

Вчера получил опять письмо от своего друга, короткую записку. Он просит, чтобы я соблаговолил отложить на несколько дней поездку в Лилль, поскольку ему самому необходимо съездить по делам в Париж. В конце он пишет: "Ты, очевидно, давно уже понял, что я, как говорится, расстался с сутаной. Сердце мое, однако, не изменилось. Оно лишь открылось для более человеческого и, следовательно, более великодушного восприятия жизни. Я зарабатываю на жизнь - это великое слово, великое дело. Зарабатывать на жизнь! Привыкнув с семинарских лет получать от вышестоящих, подобно подаянию, хлеб насущный или миску гороха, мы остаемся до самой смерти школьниками, детьми. Я пребывал, как, вероятно, пребываешь и по сей день ты, в полном неведении собственной социальной ценности. Я едва осмелился бы предложить свои услуги для выполнения самых скромных обязанностей. А между тем, хотя дурное здоровье и не позволяет мне предпринять всех необходимых шагов, я получил немало очень лестных предложений, так что, когда придет время, я должен буду выби-

рать между полудюжиной мест, весьма высоко оплачиваемых. Возможно даже, что в твой ближайший визит я буду иметь удовольствие и честь принять тебя в приличной обстановке, хотя пока наше жилище из самых скромных..."

Я хорошо понимаю, что все это - ребячество, и мне следовало бы просто пожать плечами. Но я не могу. Есть некая разновидность глупости, некий оттенок глупости, в котором я с первого взгляда узнаю, испытывая чувство глубочайшего унижения, священническую гордыню, вовсе не связанную с таинствами, - гордыню вздорную, заплесневелую. До чего же мы беспомощны перед жизнью, перед людьми! Какая все это нелепая детская чепуха!

А между тем мой бывший товарищ считался одним из лучших учеников в семинарии, из самых одаренных. Он не лишен был даже какого-то раннего, несколько ироничного, знания людей и довольно здраво судил о некоторых из наших преподавателей. Почему же он теперь пытается выставить себя передо мной, прибегая к такому жалкому бахвальству, цену которому, как я думаю, и сам отлично понимает? Подобно многим другим, он кончит какой-нибудь конторой, где его дурной характер и болезненная обидчивость

насторожат сослуживцев и где у него, как бы тщательно он ни скрывал свое прошлое, вряд ли появится много друзей.

Мы дорого, очень дорого платим за ниспосланное свыше достоинство своего призвания. От высокого до смешного всегда один шаг! И мир, обычно столь снисходительный к смешному в людях, в нас смешное ненавидит инстинктивно. Уже женская глупость достаточно раздражает, но глупость в священнике злит еще больше, чем женская, впрочем, подчас она кажется каким-то таинственным отростком этой последней. Неприязнь множества бедных людей к духовенству, их глубокая антипатия, возможно, объясняется не одним только, более или менее сознательным бунтом желаний против Закона и тех, кто его олицетворяет, как стараются нам внушить... К чему это отрицать? Чтобы испытывать отвращение к уродству, вовсе не обязательно иметь ясное представление о Прекрасном. Посредственный священник - уродлив.

Я говорю не о дурном священнике. Вернее, дурен именно посредственный священник. Иной же просто чудовище. Чудовищность не поддается общим меркам. Кто может знать, каковы намерения Бога в отношении чудовища? Зачем оно

создано? Каково сверхъестественное значение подобной немилости? Я, например, как ни стараюсь, не могу поверить, что Иуда принадлежит миру - тому миру, которому Иисус таинственно отказал в своей молитве... Нет, Иуда не от мира сего...

Я убежден, что мой бедный друг не заслуживает названия дурного священника. Я даже предполагаю, что он искренне привязан к своей подруге, я ведь знал его когда-то как человека чувствительного. Посредственный священник - увы! - почти всегда таков. Быть может, даже порок нам менее опасен, чем своего рода слюнявость. Бывает размягчение мозга. Размягчение сердца страшнее.

Возвращаясь сегодня поутру полями из деревни, приписанной к моему приходу, я заметил г-на графа, который пускал по следу своих собак у опушки Линьерского леса. Он издали приветствовал меня, но, казалось, был не слишком расположен вступать со мной в беседу. Думаю, что он так или иначе узнал о хлопотах мадемуазель. Мне следует вести себя крайне сдержанно, осмотрительно.

Вчера - исповеди. От трех до пяти - дети. Я начал, естественно, с мальчиков.

Как Господь наш любит их, этих малюток! Вся-

кий другой, не священник, задремал бы на моем месте под их монотонное жужжание, слишком часто похожее на повторение фраз из Наставления к исповеди, затверженных наизусть... А вздумай он разобраться, задай тот или иной вопрос, просто полюбопытствуй, полагаю, ему было бы не избежать чувства отвращения. Кажется, что скотское в них так и прет наружу! И тем не менее!

Что знаем мы о грехе? Геологи говорят нам, что земля, на вид такая твердая, такая прочная, в самом деле всего лишь тонкая пленка на океане жидкого огня и непрерывно содрогается, подобно пеночке, которая образуется на молоке, когда оно закипает... Какую толщину имеет грех? На какую глубину нужно рыть, чтобы дойти до лазурной бездны?..

Я серьезно болен. Вчера я внезапно это понял, меня словно озарило. Время, когда я еще не знал этой неотвязной боли, которая иногда как будто слабеет, но никогда не разжимает окончательно своих тисков, мне вдруг показалось ужасно далеким, отступившим в почти головокружительное прошлое, отступившим едва ли не в самое детство... Вот уже полгода, как я почувствовал первые приступы моего недуга, и мне с

трудом припоминаются дни, когда я ел и пил как все люди. Плохой признак.

Однако острые приступы прекратились. Острых приступов больше нет. Я сознательно исключил из своего рациона мясо, овощи, питаюсь только хлебом, смоченным в вине, очень понемногу, всякий раз, как почувствую, что мне нехорошо. Впрочем, пост мне на пользу. Голова ясная, и сил больше, чем три недели назад, гораздо больше.

Никого уже не волнуют теперь мои приступы дурноты. По правде говоря, я начинаю и сам привыкать к своей печальной физиономии, которой уж некуда дальше худеть, но которая тем не менее - необъяснимо - сохраняет молодой не смею сказать, здоровый - вид. В моем возрасте лицо не разрушается, кожа, натянутая на кости, остается эластичной. Спасибо и на этом!

Перечитываю эти строки, написанные вчера: я провел хорошую ночь, она меня освежила, я полон бодрости, надежды. Это ответ Провидения на мои иеремиады, мягкий упрек. Я часто замечал - или думал, что улавливаю, - эту затаенную иронию (не нахожу, к сожалению, более точного слова). Можно сказать, пожатие плеч матери, следящей за неумелыми шагами своего малого дитяти. Ах, если бы мы умели молиться!

Госпожа графиня стала отвечать на мой поклон кивком головы, очень холодно, отчужденно.

Сегодня был у доктора Дельбанда, старого врача, который прослыл мужланом и растерял клиентуру из-за нескончаемых насмешек коллег над его плисовыми штанами и смазными сапогами, воняющими салом. Торсийский кюре предупредил его о моем визите. Доктор уложил меня на диван и долго ощупывал мой живот своими длинными руками, и в самом деле далеко не чистыми (он только вернулся с охоты). Пока он осматривал меня, большой пес, лежавший у порога, следил за каждым его движением с поразительным, обожающим вниманием.

- Никуда вы не годитесь, - сказал он мне. - Достаточно на вас взглянуть (он, казалось, брал в свидетели своего пса), чтобы понять, что вы далеко не всегда ели досыта, а?..

- Раньше, возможно, - ответил я. - Но сейчас...

- Сейчас слишком поздно! Ну, а алкоголь, что прикажете делать с алкоголем? Да нет, не с тем, что вы сами выпили, конечно, с тем, что выпили до вас, задолго до того, как вы появились на свет. Зайдите ко мне недели через две, я дам вам записку к профессору Лавиню, в Лилль.

Господи, я отлично знаю, что наследственность

лежит тяжким бременем на таких плечах, как мои, и тем не менее слово "алкоголизм" режет ухо. Одеваясь, я взглянул на себя в зеркало, и моя печальная физиономия, с каждым днем все более желтая, с ее длинным носом, глубокими складками, опускающимися к углам губ с выбритой, но такой жесткой щетиной, что с ней не управляется плохая бритва, показалась мне вдруг мерзкой.

Вероятно, доктор поймал мой взгляд, так как он рассмеялся. Пес в ответ принялся лаять, потом весело запрыгал. "Лежать, Фокс! Лежать, грязная скотина!" В конце концов мы пошли на кухню. Весь этот кавардак вернул мне мужество, не знаю уж почему. В высоком очаге пылали, как стог сена, вязанки хвороста.

- Когда вам будет невмоготу, заглядывайте ко мне. Такое я, поверьте, говорю далеко не каждому. Но торсийский кюре рассказывал мне о вас, и ваши глаза мне нравятся. Верные глаза, собачьи. У меня тоже собачьи глаза. Это редкость. Торси, вы и я - мы одной породы, чудной породы.

Идея, что я принадлежу к той же породе, что эти солидные мужчины, никогда, конечно, не пришла бы мне в голову. Однако я понял, что он не шутит.

- К какой такой породе? - спросил я.

- Той, что крепко на ногах стоит. А почему она стоит? Вот этого-то как раз никто и не знает. Вы мне скажете: божья благодать? Но только я, друг мой, в Бога не верую. Подождите! Не спешите отбарабанить мне ваш урок, я его сам наизусть знаю: "Дух дышит, где хочет, я принадлежу душе церкви". Чушь. Ну почему нужно стоять, а не сидеть или лежать? Заметьте, что физиологические объяснения тоже никуда не годятся. Невозможно подтвердить фактами гипотезу физического к этому предрасположения. Атлеты, как правило, мирные граждане, конформисты дальше некуда и признают только те усилия, которые оплачиваются, - отнюдь не наши. Ясное дело, рай вы придумали. Но я как раз на днях сказал Торси: "Признай, что ты все равно выстоял бы - есть там рай или нет". Впрочем, между нами, в ваш рай ведь попадут все, а? Рабочие, которые вкалывают сверхурочно, разве нет? Или я, который перерабатывал лишку - я говорю, перерабатывал лишку, как говорят хватил лишку, - вот я и спрашиваю себя: может, мы просто гордецы?

Он хохотал, но слышать его смех было тягостно, и, казалось, пес почувствовал это, как и я: он вдруг перестал скакать по кухне и смиренно улегся на пол, подняв на хозяина спокойный, внима-

тельный взгляд, взгляд как бы отрешившийся от всего, даже от смутной надежды понять эту боль, хотя она и отдавалась в самой глубине его нутра, в каждой жилке его бедного собачьего тела. Он уткнулся носом в скрещенные лапы, подрагивая ресницами, по его длинному хребту пробегала странная дрожь, он тихонько рычал, словно чуя приближение врага.

- Я хотел бы прежде понять, что вы имеете в виду под стоянием?

- Это долгий разговор. Ну, скажем, чтобы быть покороче, что вертикальная позиция положена только сильным мира сего. Прежде чем встать в эту позицию, человек рассудительный ждет, пока он обретет силу, силу или ее знак - власть, деньги. А я не ждал. Когда я был в третьем классе, ректор коллежа в Монтре как-то в пост, предлагая нам духовные упражнения, потребовал, чтобы каждый из нас выбрал свой девиз. Знаете, какой взял я? "Устоять". Устоять перед чем - спрашиваю я вас, и это - тринадцатилетний мальчишка!..

- Может, несправедливость.

- Несправедливость? Да и нет. Я не из тех, кто только и талдычит о справедливости: прежде всего, я, честное слово, не требую ее для себя. От кого, черт побери, могу я ее требовать, если я

не верую в Бога? Страдать от несправедливости - удел смертного. Да вот, возьмите, с тех пор как мои коллеги распустили слух, что я не имею никакого представления об антисептике, все мои клиенты дали деру, я лечу теперь только банду пентюхов, которые расплачиваются со мной корзиной картошки или какой-нибудь птицей и вдобавок еще считают меня идиотом. В известном смысле эти хамы - жертвы богачей. Но знаете, аббат, по-моему, они того же поля ягоды, что и их угнетатели, они не большего стоят. В ожидании, пока они сами смогут угнетать, они обдирают меня. Все же,..

Он почесал голову, незаметно бросил на меня косой взгляд. Я хорошо видел, что он покраснел. Это смущение сделало его старое лицо прекрасным.

- Все же одно дело страдать от несправедливости, другое - терпеть ее. Они ее терпят. Она их унижает. Мне это невыносимо. Тут ничего нельзя поделать, ты себе не хозяин, правда? Когда я сижу у постели какого-нибудь бедняги, который не хочет спокойно умереть - такое редко бывает, но случается время от времени, - моя проклятая натура берет верх, мне хочется сказать ему: "Да оторвись ты от всего этого, олух! Я покажу тебе,

как это сделать чисто". Гордыня, да, вечная гордыня! В известном смысле, мой милый, я вовсе не друг бедных, роль ньюфаундленда мне отнюдь не по вкусу. Я предпочел бы, чтобы они выпутывались без меня, чтобы они выпутывались с помощью сильных мира сего. Но где там! Они мне все портят, из-за них я стыжусь своего ремесла. Заметьте, чувствовать себя солидарным с кучей дурней, которые, говоря языком медицины, отбросы человеческие, - невелика радость. Может, тут все дело в крови? Я кельт, кельт с головы до ног, а кельты раса жертвенная. У нас в крови страсть к делам обреченным! Я, впрочем, считаю, что человечество делится на две разновидности, в зависимости от своего представления о справедливости. Для одних она равновесие, компромисс. Для других...

- Для других, - прервал его я, - справедливость - торжество любви к ближнему, ее триумфальное пришествие.

Доктор устремил на меня долгий взгляд, в котором было удивленье, сомненье, мне стало очень не по себе от этого взгляда. Думаю, ему не понравились мои слова. И в самом деле, это были только слова.

- Триумфальное! Триумфальное! Хорош три-

умф, мой мальчик. Вы ответите мне, что царство божие не от мира сего? Согласен. А если все-таки слегка подтолкнуть стрелку часов? Я ведь упрекаю вас, церковнослужителей, не в том, что еще есть бедные, отнюдь нет. Я даже уступаю вам лучшую часть и готов согласиться, что забота о их пропитании, одежде, лечении, подтирке лежит на старой рабочей скотине, вроде меня. Чего я вам не прощаю, коль скоро вам поручено опекать их, так это того, что вы отдаете их в наши руки такими грязными. Понимаете? После двадцати столетий христианства, разрази меня бог, люди не должны были бы стыдиться бедности. Или вы его предали, вашего Христа! Вот чего я не могу понять. К чертям собачьим! Вы располагаете всем необходимым, чтобы унизить богатого, поставить его на место. Богатый жаждет знаков благоговения, чем он богаче, тем сильнее эта жажда. Если бы вам хоть достало мужества отправить богачей в последний ряд, поближе к кропильнице или даже на паперть, - почему бы нет? - это заставило бы их призадуматься. Они бы все, как один, косились в сторону скамьи для бедных, я их знаю. Повсюду - первые, а здесь, у Господа нашего, - последние, представляете? Нет, я отлично знаю, что это не легко. Если правда,

что бедный - образ и подобие Иисуса Христа, - сам Иисус, - обидно возвести его на почетное место, лицом ко всем, - лицо-то осмеянное, и вам за две тысячи лет не удалось стереть с него плевки. Ибо социальный вопрос - это в первую очередь вопрос чести. И отверженных порождает именно несправедливое унижение бедняка. Никто не требует от вас, чтобы вы откармливали людей, которые, впрочем, утратили на протяжении многих поколений способность жиреть и скорее всего так и остались бы тощими, как кукушки. И пусть даже, на худой конец, приличия ради, были бы отвергнуты паяцы, лодыри, пьяницы - короче, элементы явно компрометирующие. Но ведь бедняк, настоящий бедняк, честный бедняк, сам тащится на последнюю скамью в доме божьем - в своем доме, и никогда еще не было видано, чтобы привратник, разукрашенный, как катафалк, пришел бы за ним в задние ряды, чтобы сопроводить его на хоры, оказывая ему знаки почтения, как Князю - Князю христианской крови. Самая мысль о чем-либо подобном вызывает обычно смех у ваших собратьев, - пустяки, суета. Но какого же черта они тогда расточают почести сильным мира сего, которые ими упиваются? И если церковь считает все это смешным, почему заставляет так дорого за

это платить? "Нас подымут на смех, - говорит она, - какой-нибудь хам в отрепьях, восседающий на хорах, да это покажется всем нелепым фарсом". Ладно! Но как вы с ним поступаете, с этим хамом, когда он сменит свое тряпье на сосновый ящик, когда вы уже можете быть спокойны, совершенно спокойны, что он больше не сморкнется в пальцы, не харкнет на ваш ковер? Не отвечайте! Мне плевать, что я прослыву дураком, правда на моей стороне, сам папа не заставит меня отступиться. И то, о чем я говорил сейчас, мой мальчик, ваши святые делали, значит, не так уж это глупо. На коленях перед нищим, убогим, прокаженным вот как изображают ваших святых. Чудная, право, армия - капралы считают достаточным походя похлопать по плечу в знак снисходительного благорасположения гостя королевской крови, у ног которого простираются маршалы!

Он умолк, несколько смущенный моим молчанием. Опыт у меня, конечно, не велик, но, полагаю, я сразу улавливаю некую интонацию - ту, что выдает глубокую душевную рану. Возможно, другие сумели бы в такой момент найти нужное слово, утишающее боль. Я таких слов не знаю. На мой взгляд, истинная боль, рвущаяся из человека, прежде всего - достояние бога. Я пыта-

юсь смиренно принять ее в свое сердце, такой, как она есть, стараюсь взять ее на себя, полюбить, как свою. И я понимаю весь сокровенный смысл опошленного выражения "разделить с...", ибо поистине я разделяю эту боль.

Пес подошел и положил голову ему на колени.

(Вот уже два дня я упрекаю себя в том, что не ответил на эту обвинительную речь, и, однако, в глубине души не могу поставить себе этого в вину. Впрочем, что мог я бы сказать? Я не посол бога философов, я служитель Иисуса Христа, и слова, которые могли бы прийти мне на уста, боюсь, были бы доводами, пусть и сильными, но все же настолько слабыми, что, давно меня убедив, они так и не смягчили мою собственную боль.)

И несть мира, как в Иисусе Христе.

Первая часть моей программы начинает осуществляться. Я решил посещать раз в квартал, не реже, каждую семью. В епархии относятся к этому плану как к вздорной затее, мне и правда трудно будет справиться со всем, взятым на себя, поскольку я прежде всего должен неукоснительно выполнять свои обязанности. Люди, считающие себя вправе судить нас издалека, из своих комфортабельных кабинетов, где они ежедневно делают одно и то же, даже вообразить себе

не могут, насколько беспорядочна, "разбросанна" наша повседневная жизнь. Нас едва хватает на то, чтобы управиться с обычными делами - теми, доскональное отправление которых позволяет вышестоящим сказать: вот приход, содержимый должным образом. Остается еще непредусмотренное. И непредусмотренное тоже не терпит небрежения! Там ли я, где пожелал Господь? Вот вопрос, который я задаю себе двадцать раз на день. Ибо Господин, которому мы служим, не только судит нашу жизнь, но и разделяет ее, претерпевает. Куда легче было бы угодить Богу-геометру и моралисту.

Я объявил сегодня утром после воскресной обедни, что молодые спортсмены прихода, желающие создать команду, могут собраться в доме священника после вечерни. Это решение я принял не вдруг, все было обдумано, я тщательно отметил в своих списках имена возможных членов - человек пятнадцать, по меньшей мере - десять.

Господин этишанский кюре походатайствовал перед г-ном графом (он в замке свой человек). Г-н граф в участке не отказал, но он желает сдать его в аренду на пять лет с оплатой погодно (300 франков). По истечении срока арендного договора,

если не будет нового соглашения, вышеупомянутый участок возвращается к нему, причем все, что будет там выстроено и оборудовано, переходит в его собственность. В сущности, он не верит в успех моего начинания, и весь этот недостойный торг, вовсе не соответствующий ни его положению, ни его характеру, затеян, как мне кажется, чтобы отбить у меня охоту заниматься этим делом. Г-н граф сказал этишанскому кюре довольно жестко, что "некоторые чересчур пылкие добрые намерения опасны для всех, что не по нему брать на себя обязательства в отношении воздушных замков, что мне прежде следовало бы доказать свою способность двигаться, делая какие-то шаги, и что он хотел бы возможно скорее увидеть воочию моих, как он выразился, пентюхов в свитерах...".

Записавшихся всего четверо - не густо! Я не знал, что существует Спортивное общество в Эклене, щедро поддерживаемое владельцем обувной фабрики г-ном Вернем, который дает работу населению семи общин. Правда, до Эклена двенадцать километров. Но парни из нашей деревни легко преодолевают это расстояние на своих велосипедах.

В конечном итоге мы все-таки обменялись

несколькими интересными мыслями. Мне кажется, парни погрубее, любители потанцевать и поволочиться за девушками, не принимают в свою компанию этих бедных молодых людей. Как хорошо сказал Сюльпис Митонне, сын моего бывшего звонаря, "от кафе только вред здоровью и расход карману". В ожидании лучших времен мы, поскольку нас пока слишком мало, ограничились решением создать скромный кружок самообразования и оборудовать комнату для игр и чтения, выписав несколько журналов.

Я никогда не обращал особого внимания на Сюльписа Митонне. Здоровье у него хрупкое, он только что отбыл воинскую повинность (после двух отсрочек). Теперь он кое-как малярит и слывет лентяем.

Я думаю, он больше всего страдает от грубости той среды, в которой вынужден жить. Как и многие, он мечтает получить место в городе, возлагая надежду на свой красивый почерк. Увы! Грубость больших городов хоть и другого рода, но, как мне кажется, ничуть не менее опасна. Она, пожалуй, еще более коварна, еще более заразительна. Человеку слабохарактерному против нее не устоять.

После ухода остальных мы еще долго с ним разговаривали. В его взгляде, каком-то неопре-

деленном, даже уклончивом, есть то волнующее меня выражение, которое присуще людям, обреченным на непонимание, на одиночество. Он напоминает взгляд гувернантки.

Госпожа Пегрио предупредила меня вчера, что больше ко мне ходить не будет. Ей было бы стыдно, сказала она, получать плату за такую ничтожную работу. (И правда, мой режим, скорее воздержанный, и состояние моего белья оставляли ей много свободного времени.) С другой стороны, добавила она, "не в ее правилах тратить свое время попусту".

Я попытался обратить все в шутку, но мне не удалось выжать из нее улыбку. Ее маленькие глазки щурились от злости. Я против воли испытываю почти неодолимое отвращение к этому рыхлому, круглому лицу, к этому низкому лбу, кожу которого оттягивает кверху жидкий пучок на макушке, и в особенности к ее жирной шее, исполосованной поперечными складками и всегда блестящей от пота. Человек не властен над такого рода ощущениями, и я так боюсь выдать себя, что она, наверное, видит меня насквозь.

Под конец она невнятно намекнула на "некоторых особ, которых не жаждет здесь встретить". Что имеет она в виду?

Сегодня пришла на исповедь гувернантка. Мне известно, что ее духовник эшенский священник, но я не мог не выслушать ее. Как наивны люди, полагающие, что святое таинство позволяет нам полностью проникнуть в тайну души! Жаль, что не в нашей власти предоставить им возможность проделать этот опыт! Привыкнув к отроческим покаяниям моих семинаристов, я до сих пор не могу понять, в результате каких ужасных превращений внутренняя жизнь христианина сводится в его собственной передаче к такой не поддающейся расшифровке схеме... Вряд ли среди людей взрослых многие повинны в том, что кощунствуют на исповеди. Ведь ничего нет легче, как просто не исповедоваться! Нет, тут дело хуже! Происходит медленная кристаллизация ничтожных обманов, уловок, недоговоренностей. Этот панцирь облекает совесть, сохраняя до известной степени ее форму, только и всего. Возникает привычка, и со временем люди наименее тонкие вырабатывают в конце концов свой особый язык, до невероятия отвлеченный. Ничего особенного они не утаивают, но их лукавая искренность похожа на матовое стекло - оно пропускает свет настолько рассеянный, что глаз ничего толком не различает.

К чему же сводится тогда покаяние? Оно еле затрагивает поверхность совести. Не смею сказать, что внутри она разлагается, скорее - каменеет.

Кошмарная ночь. Едва я закрывал глаза, к сердцу подступала тоска. Я не нахожу, к сожалению, другого слова, чтобы обозначить эту слабость, которой нет имени, подлинное кровотечение души. Я внезапно пробуждался с воплем в ушах - и опять-таки, то ли это слово? Нет, конечно.

Как только я преодолевал сонную одурь, как только мысль моя прояснялась, сразу возвращалось спокойствие. Умение держать себя в руках, которое я выработал, чтобы не распускать свои нервы, оказывается, гораздо сильнее, чем я предполагал. После смертельной ночной муки я черпаю утешение в этой мысли, ибо одному Богу ведома вся мера моих усилий, почти безотчетных, следовательно, не дающих никакого удовлетворения самолюбию.

Как плохо мы разбираемся в подлинной сути человеческой жизни! Нашей собственно. Судить о нас по тому, что мы именуем своими поступками, быть может, столь же тщетно, как судить о нас по нашим снам. Спаситель наш в его неизреченной справедливости избирает что-то в этой темной куче, и то, что он возносит как реликвию

пред очи Отца небесного, вдруг расцветает, озаряется ярче солнца.

Что с того. Сегодня утром я был так измучен, что, кажется, отдал бы все на свете за человеческое слово сочувствия, ласки. Я подумал, не сбегать ли в Торси. Но в одиннадцать должны были прийти дети на урок закона божьего. Даже на велосипеде я не успел бы вернуться вовремя.

Мой лучший ученик - Сильвестер Галюше, мальчик не слишком опрятный (его мама умерла, и он воспитывается у старухи бабушки, которая попивает), но такой поразительной красоты, что при взгляде на него невольно возникает почти душераздирающее ощущение невинности - невинности до грехопадения, невинной чистоты чистого животного. Когда я раздавал награды за успехи, он зашел в ризницу за своей картинкой, и мне почудилась в спокойных внимательных глазах этого мальчика та жалость, которой я так нестерпимо жаждал. Я обнял его и разрыдался, опустив голову ему на плечо, самым глупым образом.

Первое официальное заседание нашего "Кружка самообразования". Я думал поручить председательство Сюльпису Митонне, но товарищи как будто несколько чуждаются его. Я, естественно,

не счел нужным настаивать.

Мы, впрочем, только уточнили некоторые пункты нашей программы, поневоле весьма скромной, как позволяют наши ресурсы. Бедным ребятам явно не хватает воображения, увлеченности. Англебер Денизан признался, что они боятся, их "подымут на смех". У меня впечатление, что они и пришли-то ко мне только от нечего делать, от скуки, - поглядеть...

Встретил на Деврской дороге г-на торсийского кюре. Он подвез меня до дому на своей машине и даже любезно согласился отведать моего пресловутого бордо.

- Оно вам нравится? - спросил он меня.

Я ответил, что сам довольствуюсь дешевым вином, которое покупаю в бакалейной лавке "Четырех лип". Это его, кажется, успокоило.

У меня было четкое ощущение, что у него на уме есть какая-то мысль, но он уже принял решение ее не высказывать. Он слушал меня с рассеянным видом, меж тем как в его взгляде читался невольный вопрос, на который я не мог ответить, поскольку он отказывался его сформулировать. Как обычно, в тех случаях, когда я робею, я нес что-то невпопад. Бывает молчание, которое тебя притягивает, завораживает, так что хочется

бросить в него что-нибудь первое попавшееся, любые слова...

- Странный ты тип, - сказал он мне наконец. - Второго такого простака нет во всей епархии, уж точно! И при этом ты вкалываешь как вол, не жалеешь сил. Должно быть, у монсеньера и правда туго со священниками, если он отдал приход в такие руки! К счастью, приход не так-то легко пошатнуть! Не то бы ты наколол тут дров.

Я чувствовал, что из жалости ко мне он обратил в шутку суждение, глубоко продуманное, прочувствованное. Он прочел эту мысль в моих глазах.

- Я мог бы засыпать тебя советами, но стоит ли? Когда я преподавал математику в Сент-Омерском коллеже, среди моих учеников были поразительные ребята - самые сложные задачи им удавалось решать наперекор общепринятым правилам, так, благодаря собственной смекалке. И к тому же, мой милый, ты ведь не в моем подчинении, делай, как знаешь, покажи, на что способен. Я не вправе вводить в заблуждение твое начальство. Свою систему я объясню тебе когда-нибудь позднее.

- Какую систему?

Он уклонился от прямого ответа.

- Видишь ли, церковное начальство право,

рекомендуя нам соблюдать осторожность. Я и сам осторожен, за неимением лучшего. Я таков по природе. Нет ничего глупее взбалмошного священника, который пускается на безрассудные затеи, просто так, потому что в голову взбрело. Но все же пути наши - не пути мирские! Истину нельзя предлагать людям, как страховой полис или слабительное. Жизнь есть Жизнь. Истина господня это - Жизнь. Мы вроде бы несем ее людям, но на самом деле это она несет нас, мой мальчик.

- В чем моя ошибка? - сказал я. (Голос мой пресекался, мне пришлось дважды повторить свой вопрос.)

- Ты слишком суетишься - как шмель в бутылке. Но ты, мне кажется, владеешь даром молитвы.

Я испугался, что он сейчас посоветует мне отправиться в Солем, постричься в монахи. И он опять догадался, о чем я подумал (это, впрочем, вероятно, не слишком трудно).

- Монахи похитрей нас, а у тебя практического ума ни на грош, все твои пресловутые прожекты ничего не стоят. Что касается знания людей, то не стоит и говорить. Ничтожного графчика ты принимаешь за сеньора, мальчишек, которых учишь закону божьему, за поэтов, вроде тебя самого,

а своего благочинного за социалиста. Короче, в глазах этого совершенно нового прихода ты выглядишь более чем нелепо. Ты уж меня извини, но ты напоминаешь мне тех лопоухих молодых мужей, которые тешат себя мыслью, что "изучают свою жену", тогда как она с первого взгляда уже знает своего супруга вдоль и поперек.

- Значит?.. (Я до того смешался, что едва мог говорить.)

- Значит?.. Значит, гни свою линию, что я могу тебе еще сказать! Самолюбия ты лишен начисто, а судить о твоих начинаниях заранее трудно, потому что ты в них вкладываешь всего себя, отдаешься до конца. Нет спору, люди правы, когда действуют осмотрительно. Вспомни слова Рюисброка Восхитительного, фламандца, как и я: "Даже если ты вознесся мыслями к богу, но как раз в этот момент больной попросил чашку бульона, спустись с седьмого неба и подай ему необходимое". Наставление доброе, что и говорить, но не следует злоупотреблять им, оправдывая свою лень. Ибо с возрастом, опытом, разочарованиями приходит нечеловеческая лень. Ах! Старые священники твердокаменны! Нет ничего неосторожней осторожности, если она исподволь готовит нас к тому, чтобы обойтись без Бога. Ино-

гда старые священники поистине ужасны.

Я передаю его слова, как могу, скорее не слишком точно. Я едва слышал их. Но о стольком догадывался! У меня нет веры в себя, но моя добрая воля так велика! И мне всегда поэтому кажется, что она бросается в глаза, что меня будут судить по намерениям. Какое безумие! Я считал, что еще только стою на пороге этого мирка, а на самом деле уже углубился в него совсем один, - и выход захлопнулся за моей спиной, никакого отступления. Я не знал своего прихода, а он притворялся, что незнаком со мной. Но представление, которое он обо мне составил, было уже слишком прочным, слишком отчетливым. Отныне только ценой гигантских усилий я смогу что-либо изменить.

Господин торсийский кюре прочел на моем дурацком лице ужас и, конечно, понял, что напрасно даже пытаться успокоить меня сейчас. Он умолк. Я заставил себя улыбнуться. Да, думаю, я улыбнулся. Это было трудно.

Плохая ночь. В три часа утра я взял свой фонарь и пошел в церковь. Ключ от боковой дверцы я найти не смог, пришлось открыть большие врата. Скрежет замка отдался под сводами чудовищно громко.

Я уснул на своей скамье, зажав голову руками, да так крепко, что разбудил меня только дождь на заре. Вода проникла внутрь через разбитый витраж. Выходя с кладбища, я столкнулся с Арсеном Мироном, лицо его я различал неясно, но в тоне, которым он со мной поздоровался, звучала насмешка. Должно быть, я с моими припухшими от сна глазами и вымокшей сутаной выглядел достаточно нелепо.

Все время борюсь с искушением сбегать в Торси. Дурацкая потребность игрока, который отлично знает, что проиграл, но стремится еще и еще раз об этом услышать. К тому же я в том нервном состоянии, когда только и способен, что запутаться в напрасных извинениях. Зачем говорить о прошлом? Для меня важно лишь будущее, а сейчас я еще не чувствую себя в силах посмотреть ему в лицо.

Господин торсийский кюре, возможно, думает так же, как я. Даже наверняка. Сегодня утром, когда я развешивал драпировки для отпевания Мари Пердро, мне показалось, что я узнаю его твердый, тяжеловатый шаг по плитам. Но это был всего лишь могильщик, который пришел сказать, что закончил работу.

От разочарования я чуть не свалился с лестни-

цы... О нет, я не готов...

Мне следовало сказать доктору Дельбанду, что церковь - это вовсе не то, что он думает, не некое суверенное государство со своими законами, чиновниками, армиями, не какой-то момент, пусть даже и славный, в истории человечества. Церковь пролагает свой путь во времени, как воинское соединение через неведомые страны, где невозможно какое бы то ни было нормальное снабжение. Она живет за счет государств и обществ, сменяющих друг друга, как солдаты живут за счет населения, изо дня в день.

Как может она отдать Бедняку, законному наследнику Спасителя, царство, что не от мира сего? Она ищет бедняка, она взывает к нему на всех земных путях. А Бедняк извечно остается все там же - на самой вершине головокружительного пика, и лицо его обращено к Князю Бездны, который неутомимо твердит ему на протяжении двадцати веков своим ангельским голосом, своим пленительным, чарующим голосом: "Все это дам тебе, если падши поклонишься мне..."

В этом, быть может, кроется потустороннее объяснение невероятной покорности масс. Могущество досягаемо, Бедняку стоит только руку протянуть. Но он о том не ведает или делает вид,

что не ведает. Он уставился в землю, а искуситель ждет, что с секунды на секунду будет наконец произнесено слово, которое предаст ему род человеческий, но это слово никогда не слетит с высоких уст, скрепленных печатью самого бога.

Неразрешимая проблема: как восстановить Бедняка в его правах, не сделав сильным мира сего. И случись даже невозможное, удайся даже беспощадной диктатуре с ее армией чиновников, экспертов, статистиков, опирающейся, в свою очередь, на миллионы шпиков и жандармов, приструнить одновременно повсюду на земном шаре хищников, свирепых и хитроумных зверей, созданных для наживы, эту человеческую породу, живущую человеком (ибо ее неутолимая алчность к деньгам всего лишь лицемерная, хотя возможно и бессознательная форма омерзительного, постыдного голода, который ее пожирает) - все равно людьми неотвратимо и очень скоро овладеет отвращение к aurea mediocritas, возведенному таким образом в универсальное правило, и повсюду, подобно цветам по весне, пробьется тяга к бедности.

Не существует общества, которое одержало бы верх над Бедняком. Одни живут за счет глупости ближнего, другие за счет его тщеславия, его по-

роков. А Бедняк живет за счет милосердия. Какое великое слово.

Не понимаю, что произошло сегодня ночью, должно быть, мне это пригрезилось. Часа в три утра (я как раз подогрел себе немного вина и крошил в него, по своей привычке, хлеб) стала хлопать садовая калитка, да так сильно, что мне пришлось выйти. Я нашел ее закрытой, что, собственно, и не удивило меня, поскольку я твердо помнил, что накануне сам ее запер, как делаю это, впрочем, каждый вечер. Примерно двадцать минут спустя она опять принялась хлопать, еще яростней, чем в первый раз (ветер был очень сильный, настоящий ураган). Нелепая история...

Я возобновил обход прихожан - благодарение Богу! Замечания г-на торсийского кюре сделали меня осмотрительным: я стараюсь задавать не слишком много вопросов, соблюдая осторожность и касаясь - во всяком случае, на первый взгляд - только вещей самых повседневных. В зависимости от ответа я пробую перевести разговор на предметы более высокие, но не слишком, и мы совместно извлекаем из беседы какую-нибудь наискромнейшую истину. Но истина не может быть умеренной! Какие бы меры предосторожности я ни принимал, пусть уста мои даже и не

произносят его вслух, имя Божье внезапно озаряет своим сиянием эту давящую, удушливую атмосферу, и лица, уже приоткрывшиеся, вновь замыкаются. Точнее было бы сказать, что они темнеют, мрачнеют.

Быть может, бунт, который исчерпывает себя в ругани, в богохульстве, не так уж страшен?.. Ненависть к Богу всегда наводит меня на мысль об одержимости. "И вошел в него Сатана (Иуда)". Да, об одержимости, о безумье. Тогда как затаенный страх перед божественным, эта своего рода попытка объехать жизнь по кривой, словно прячась в узкую тень стены, от заливающего все света... Так спешат забиться поглубже несчастные животные, истерзанные жестокими детскими играми. Свирепое любопытство бесов, их чудовищное сочувствие человеку настолько загадочнее... Ах! Если бы нам было дано увидеть эти увечные существа глазами ангелов!

Мне гораздо лучше, приступы реже, иногда мне даже кажется, что я ощущаю некое подобие аппетита. Во всяком случае, я теперь готовлю себе еду без отвращенья; меню мое неизменно - хлеб и вино. Только в вино я кладу много сахара, а хлебу даю зачерстветь, он лежит у меня несколько дней, пока не станет совсем твердым,

настолько твердым, что, случается, я его не режу, а раскалываю - это очень удобно делать сечкой. Такой хлеб куда лучше переваривается.

Благодаря этому режиму я справляюсь со всей работой, не переутомляясь, и ко мне понемногу возвращается чувство уверенности... Не пойти ли мне в пятницу к г-ну торсийскому кюре? Сюльпис Митонне посещает меня ежедневно. Умен он, конечно, не слишком, но зато сколько в нем чуткости, внимания. Я дал ему ключ от пекарни, и теперь он приходит сюда в мое отсутствие, что-то мастерит, чинит. Мой бедный дом просто преобразился благодаря ему. Он говорит, что его желудок не переносит вина, но сахаром он прямо объедается.

Он пожаловался со слезами на глазах, что из-за частых посещений церковного дома терпит насмешки и издевки. Дело в том, полагаю, что нашим крестьянам, которые трудятся с утра до вечера, непонятен его образ жизни. Я сделал ему суровый выговор за лень. Он обещал, что поищет работу.

Ко мне в ризницу заявилась г-жа Дюмушель. Она возмущена, что я не допустил ее дочь к экзамену за четверть.

Я стараюсь по возможности не касаться в этом

дневнике некоторых жизненных испытаний, о которых хотел бы поскорее забыть, ибо они не из тех, увы, что приемлешь с радостью - а чего стоит смирение, лишенное радости? Нет, я отнюдь не преувеличиваю их значения! Они вполне заурядны, я знаю. И стыд, который меня из-за них мучит, душевная смута, над которой я не властен, не делают мне чести, но я не в силах преодолеть физическую брезгливость, своего рода омерзение, вызываемое ими. К чему отрицать? Порок слишком рано предстал передо мной в своем истинном виде, и, хотя я действительно испытываю глубокое сострадание к этим бедным душам, образ, в котором мне, помимо моей воли, видится их несчастье, почти невыносим. Короче, похоть меня страшит.

В особенности нечистые помыслы в детях... Они мне знакомы. Нет, я и этого не принимаю трагически! Напротив, я думаю, наш долг относиться к ним очень терпеливо, ибо малейшая неосторожность может привести тут к ужасающим последствиям. Так трудно отличить глубокие раны от поверхностных и, даже разобравшись, так опасно их зондировать! Иногда лучше дать им зарубцеваться самим, зарождающийся нарыв не следует трогать. Но все это не мешает мне

ненавидеть всеобщий заговор, предумышленную слепоту, нежелание видеть вещи очевидные и эту дурацкую, себе на уме, улыбку взрослых перед лицом особого рода томления, которое считается пустяшным потому только, что оно не умеет выразить себя на нашем языке - языке людей уже сформировавшихся. Слишком рано я сам изведал тоску, чтобы не возмущаться всеобщей глупостью и несправедливостью по отношению к детской тоске, исполненной тайны. Опыт, увы! показывает, что и дети способны на отчаяние. И демон тоскливого страха, как мне кажется, по самой сути своей - грязный демон.

Я не часто упоминал здесь поэтому о Серафите Дюмушель, хотя в последние недели она доставляла мне немало огорчений. Случается, я задумываюсь - уж не ненавидит ли она меня? Так, не по возрасту умело, она меня изводит. Нелепые шалости, прежде носившие характер наивных дурачеств, беззаботных проказ, теперь обнаруживают преднамеренное упрямство, которое трудно объяснить одним только болезненным любопытством, свойственным многим ее сверстницам. Прежде всего она вытворяет свои штучки не иначе как в присутствии подружек, делая при этом вид, что между нею и мною существует

некое сообщничество, взаимопонимание, - долгое время я относился к ее шалостям с улыбкой, всю опасность которой стал понимать лишь недавно. Если я случайно сталкиваюсь с ней на дороге - а встречаю я ее чуть чаще, чем следовало бы, - она здоровается со мной спокойно, серьезно, без всяких ужимок. Как-то раз я на это попался. Она ждала меня, не шевелясь, опустив глаза, я приближался к ней с какими-то ласковыми словами, точно приманивал пташку. Пока я не подошел совсем близко, Серафита стояла недвижно, уставясь в землю, так что я видел только упрямый, низко опущенный затылок, но тут вдруг резко отскочила, увернувшись от меня, и швырнула в канаву свой ранец. Мне пришлось потом отослать этот ранец с мальчиком-певчим, которого приняли весьма нелюбезно.

Госпожа Дюмушель была со мной учтива. Разумеется, невежество ее дочери вполне оправдывает принятое мною решение, хотя, в сущности, это не больше чем предлог. Устрой я ей еще одно испытание, Серафита чересчур умна, чтобы с ним не справиться, так что мне не следует подвергать себя риску оказаться в унизительном положении. Я постарался поэтому дать понять г-же Дюмушель, что ее дочь кажется мне не по

возрасту развитой, преждевременно созревшей, за ней необходимо понаблюдать еще несколько недель. Она быстро нагонит других, а отсрочка послужит ей уроком и в любом случае принесет свои плоды.

Бедная женщина слушала меня вся красная от злости. Я видел, как злость приливает к ее щекам, к ее глазам. Мочки ее ушей стали пунцовыми.

- Девочка ничуть не хуже других, - наконец сказала она. - Ей хочется одного - чтобы ей дали возможность воспользоваться своим правом, большего она не просит.

Я ответил, что Серафита и правда прекрасно училась, но ее поведение, особенно ее манеры меня не устраивают.

- Какие еще манеры?

- Чересчур кокетливые, - ответил я.

Эти слова вывели ее из себя.

- Кокетливые! А вам-то что за дело! Кокетство не ваша забота. Кокетство! Надо же! Не хватало только, чтобы еще и священники совали свой нос куда ни попади. Вы уж не взыщите, господин кюре, но я считаю, слишком вы молоды рассуждать об этом, и вдобавок с девчонкой.

На этом мы и расстались. Дочка смирно ждала ее, сидя в пустой церкви. Через приоткрытую

дверь мне были видны лица остальных девочек, я слышал их приглушенные смешки, - они наверняка отталкивали одна другую, чтобы увидеть, что делается в церкви. Серафита, рыдая, бросилась в объятия матери. Боюсь, она ломала комедию.

Что делать? Дети мигом подмечают смешное и отлично умеют, воспользовавшись создавшимся положением, извлечь из него все возможное, действуя с поразительной последовательностью. Девочки явно в восторге от воображаемой дуэли между одной из них и священником. Если понадобится, они готовы приложить руку, чтобы вся эта история выглядела еще скандальней и тянулась подольше.

Я спрашиваю себя, достаточно ли тщательно продуманы мои уроки катехизиса. Сегодня вечером мне пришло в голову, что я связывал слишком большие, неумеренно большие надежды с тем, что, в сущности, является лишь одной из заурядных обязанностей моего служения, одной из самых неблагодарных, самых тяжких обязанностей. Кто я такой, чтобы требовать утешения от этих детей? Я мечтал беседовать с ними откровенно, мечтал разделить с ними свои горести, свои радости, - нет, не рискуя их ранить, разуме-

ется! - мечтал вложить всю душу в эти уроки, как вкладываю ее в молитву... Все это - эгоизм.

Отныне положу себе за правило гораздо меньше полагаться на вдохновение. К сожалению, мне не хватает времени, придется оторвать еще немного от часов отдыха. Сегодня ночью это мне удалось, благодаря тому что я лишний раз поел, не испытывая при этом никаких неприятностей с пищеварением. А я еще сожалел раньше о покупке этого благотворного бордо!

Вчера - визит в замок, завершившийся катастрофой. Решенье пойти туда я принял скоропалительно, сразу после обеда, довольно, впрочем, позднего, так как я провел много времени в Бергезе, у г-жи Пижон, которая все еще больна. Было около четырех часов, я чувствовал себя, как говорится, "в форме", был полон сил. К моему великому удивленью - поскольку по четвергам г-н граф обычно проводит послеобеденное время дома, - я застал г-жу графиню в одиночестве. Как объяснить, почему я, явившись в замок таким бодрым, не смог не только поддержать разговор, но даже связно ответить на заданные мне вопросы? Правда, я шел чересчур быстро. Г-жа графиня, с ее безукоризненной воспитанностью, сначала сделала вид, что ничего не замечает, но

в конце концов была вынуждена спросить, как я себя чувствую. В последние недели я стараюсь уклониться от такого рода вопросов и даже счел себя вправе лгать. Это, впрочем, совсем нетрудно - я заметил, что люди только того и ждут, стоит мне ответить, что все хорошо, они охотно верят. Нет спору, тощ я невероятно (мальчишки прозвали меня "Скорблый", что на местном говоре означает: "Скорбный"), но достаточно сказать, что худоба у нас "в роду", лица тотчас проясняются. Я отнюдь об этом не сожалею. Признайся я в своих недугах, меня тотчас "спровадили бы в тыл", как выражается г-н торсийский кюре. Мне только и остается, как я считаю, - ведь на молитву у меня времени в обрез - что подольше скрывать ничтожное недомогание от всех, кроме Господа нашего Иисуса Христа.

Поэтому я ответил г-же графине, что, наверно, слишком поздно пообедал и у меня побаливает живот. Хуже всего, что мне пришлось поспешно откланяться, и спустился по лестнице я точно лунатик. Хозяйка замка проводила меня вниз, но я не мог даже ее поблагодарить, так как прижимал платок ко рту. Она глядела на меня странным, невыразимым взглядом, в нем были и симпатия, и удивленье, и жалость, но также, думается, и

некоторое отвращенье. Мужчина, которому дурно, всегда так смешон! Наконец, когда я протянул ей руку, она взяла ее, прошептав, точно про себя, поскольку я мог догадаться о значении ее слов только по движению губ: "Бедный мальчик", или, может: "Мой бедный мальчик!"

Меня это так поразило, так потрясло, что я пошел к аллее прямо через лужайку - по красивому английскому газону, которым так дорожит г-н граф и на котором теперь, должно быть, остались следы моих грубых башмаков.

Да, я корю себя за то, что молюсь мало и плохо. Почти ежедневно мне приходится прерывать послеобеденную благодарственную молитву, чтобы принять кого-либо из прихожан, по большей части больных. Мой однокашник по духовному училищу Фабрегарг, который стал аптекарем и обосновался в окрестностях Монтре, присылает образчики лекарств в качестве рекламы. Учитель, кажется, не слишком доволен этой конкуренцией, поскольку прежде мелкие услуги такого рода оказывал только он один.

Как трудно никого не задеть! Что бы ты ни делал, люди склонны не столько воспользоваться твоими услугами, сколько бессознательно столкнуть добрые намерения одних с добрыми

намерениями других. Откуда эта непонятная душевная черствость?

Поистине, человек враг самому себе, тайный и лукавый враг. Зло, где его ни посей, всходит почти наверняка. Но чтобы дало росток зерно добра, чтобы его не заглушили сорняки, нужна особая удача, счастливое чудо.

Сегодня обнаружил в своей почте письмо со штампом Булони, на плохой бумаге в клеточку, такая обычно бывает в кафе. Оно без подписи.

"Лицо, к вам расположенное, настоятельно вам советует просить о переводе. И чем скорее, тем лучше. Когда вы заметите то, что бросается в глаза всем, вы заплачете кровавыми слезами. Нам жаль вас, но повторяем: "Убирайтесь вон!"

Это еще что такое? Мне кажется, я узнал почерк г-жи Пегрио, - она оставила здесь записную книжку, в которую заносила расходы на мыло, стиральные порошки и жавель. Эта женщина меня, конечно, недолюбливает. Но почему она так страстно желает, чтобы я уехал?

Послал короткую извинительную записку г-же графине. Сюльпис Митонне любезно согласился отнести ее в замок. Он не счел это унизительным для своего самолюбия.

Опять ужасная ночь, сон, прерываемый кошма-

рами. Из-за проливного дождя я не решился дойти до церкви. Никогда еще я не прилагал таких усилий, чтобы молиться, - поначалу спокойно, сосредоточенно, потом с каким-то яростным, ожесточенным упорством, и, наконец, хладнокровно, с трудом смирив себя, вкладывая в молитву всю свою волю отчаяния (это слово внушает мне ужас), все напряжение воли, от которого сердце билось в тоске. Все тщетно.

Я знаю, конечно, что самая жажда молитвы - уже молитва, и Бог большего не требует. Но для меня дело было не в исполнении обязанности. Мне в этот момент молитва нужна была, как воздух легким, как кислород крови. Позади меня стояла уже не жизнь с ее буднями, бытом, от которой отталкиваешься в самозабвенном порыве, не теряя в то же время внутреннего знания, что в должный час вернешься к повседневности. Позади меня не было ничего. А впереди была стена, черная стена.

У нас в ходу самое нелепое представление о молитве! И как только у тех, кто молитвы не знает - не знает вовсе или знает недостаточно, - язык поворачивается болтать о ней? Какой-нибудь монах, траппист или картезианец, трудится годами ради постижения молитвы, а первый попавший-

ся вертопрах ничтоже сумняшеся берется судить о деле всей жизни! Будь молитва действительно, как они утверждают, лишь суесловием, своего рода диалогом маньяка с собственной тенью или, того хуже - безрезультатной суеверной мольбой о ниспослании благ земных, - как объяснить, что миллионы людей черпают в ней до своей последней минуты, не скажу даже - усладу, потому что эти люди опасаются сентиментальных утешений, но суровую, всесильную, непреоборимую радость! Да, знаю, ученые говорят о самовнушении. Но им просто никогда не доводилось видеть старых монахов, которые, при всей своей рассудительности, умудренности, при всей неколебимости своих суждений, излучают понимание и сострадание, нежную человечность. Каким же чудом эти полусумасшедшие, эти пленники грезы, эти сновидцы наяву с каждым днем проникаются все глубже бедами других людей? Странное греженье, чудной опиум! Ведь он не только не замыкает личность на себе самой, изолируя ее от окружающих, но, напротив, наделяет чувством общечеловеческой солидарности, духом всеохватывающего милосердия!

Я понимаю всю рискованность такого сравнения и прошу мне его простить, но, быть может,

оно что-то объяснит людям, от которых не приходится ждать самостоятельных суждений, если их не подтолкнет к этому какой-нибудь неожиданный, не укладывающийся в привычные представления образ, - а таких людей немало; какой здравомыслящий человек, дотронувшись случайно несколько раз кончиками пальцев до клавиш рояля, сочтет себя вправе свысока судить о музыке? И если его не трогает симфония Бетховена или фуга Баха, если он вынужден довольствоваться тем, что ловит на лицах других отсвет высокого наслаждения, лично ему недоступного, разве не поставит он это в вину только себе самому?

Увы! Люди верят на слово психиатрам, пренебрегая единодушным свидетельством святых, напрасно они заверяют, что молитвенное самоуглубление не сравнимо ни с чем и что в то время, как всякая другая попытка самопознания лишь приоткрывает нам постепенно нашу собственную сложность, молитва ведет к внезапному и всеобъемлющему озарению, когда перед внутренним взором разверзается лазурь. В ответ люди, как правило, только пожимают плечами. Но признавался ли хоть один человек, владеющий этим даром, что молитва его разочаровала?

Сегодня утром у меня буквально подкашивались ноги. Страшные часы, показавшиеся мне нескончаемыми, не оставили о себе отчетливого воспоминанья - только ощущение удара, нанесенного в самое сердце неведомо откуда. Во мне все точно одеревенело, и это пока еще спасает меня от ясного понимания всей глубины случившегося.

Человек никогда не молится в одиночестве. Или печаль моя была слишком непомерна? Я просил Бога за себя одного. Он не снизошел.

Перечитываю эти строки, написанные сегодня утром, после пробуждения. С тех пор...

Неужели это была только иллюзия?.. Или, возможно... Минуты слабости бывали и у святых... Но только не этот глухой бунт, я уверен, не это угрюмое, почти злобное безмолвие души...

Час ночи: в деревне погасла последняя лампа. Ветер и дождь.

То же одиночество, то же безмолвие. На этот раз никакой надежды преодолеть препятствие или обойти его. Ничего. Господи! Я дышу тьмой, я ее вдыхаю, тьма наполняет меня, проникая через какую-то неведомую, невообразимую брешь души. Я сам - тьма.

Заставляю себя думать о людях, которые терза-

ются такой же тоской, как я. Никакого сочувствия этим незнакомцам. Мое одиночество абсолютно, я его ненавижу. Никакой жалости к себе.

Неужели я навсегда лишился дара любви!

Я распростерся ниц подле своей кровати. Нет, конечно, я не так наивен, чтобы верить в действенность этого жеста. Но мне хотелось принять позу совершенной покорности, безграничного смирения. Я лежал у края бездны, небытия, как нищий, как пьяница, как труп - и ждал, чтобы меня подобрали.

В первую же секунду, еще до того как губы мои коснулись пола, я устыдился этой лжи. Ибо я не ждал ничего.

Чего бы я ни отдал за то, чтобы страдать! Но и боль меня отвергла. Самая привычная, самая обыденная - боль в животе. Я чувствую себя чудовищно хорошо.

Я не боюсь смерти, я к ней так же безразличен, как к жизни, это трудно объяснить.

Мне кажется, я прошел в обратном направлении весь тот путь, который проделал с тех пор, как Бог исторг меня из небытия. Я был вначале всего лишь искрой, алеющей пылинкой божественного милосердия. И теперь опять я только эта пылинка в неисповедимом мраке. Но она уже

почти не алеет, скоро окончательно угаснет.

Проснулся очень поздно. Сон овладел мною, очевидно, внезапно, там, где я рухнул. Пора служить обедню. Мне хочется все же записать перед уходом следующее: "Что бы ни произошло, я об этом никогда и никому не скажу, в особенности г-ну торсийскому кюре".

Утро такое светлое, теплое. Полное какой-то чудесной легкости... Когда я был совсем маленьким, мне случалось забиться на заре в живую изгородь, с которой стекали струйки воды, и я возвращался домой весь вымокший, дрожащий, счастливый, чтобы получить шлепок от бедной мамы и большую кружку кипящего молока.

Весь день у меня не выходили из головы картины моего детства. Думаю о себе, как об умершем.

(NB - В тетради вырван десяток страниц. Несколько слов, оставшихся на полях у корешка, тщательно зачеркнуты.)

Доктора Дельбанда нашли сегодня поутру на опушке Базанкурского леса с пробитой головой, уже окоченевшего. Он упал на тропинку, в лощине, меж густых зарослей орешника. Предполагают, что он потянул к себе ружье, запутавшееся в ветвях, и оно выстрелило.

Я решил было уничтожить этот дневник. Но,

подумавши, порвал только часть, которую счел излишней, впрочем, я столько раз повторял все это мысленно, что знаю наизусть. Это точно голос, говорящий со мной безумолчно, день и ночь. Надеюсь, он угаснет вместе со мной? Или же...

Последние дни я много думал о грехе. Определять его как отступление от божественного завета значит, по-моему, подходить слишком упрощенно. Люди наговорили о грехе уйму глупостей! И, как водится, не дают себе труда подумать. Вот уже века и века врачи не могут прийти к согласию и дать точное определение болезни. Удовольствуйся они определением, что болезнь отступление от нормы доброго здоровья, им бы уже давным-давно не о чем было спорить. Но они всякий раз изучают болезнь на больном, чтобы его вылечить. То же самое пытаемся сделать и мы. Так что все эти шуточки, иронические улыбочки, смешки по поводу греха не слишком нас трогают.

Естественно, никто не хочет смотреть дальше проступка. Но ведь проступок - это в конце концов только симптом. А симптомы, бросающиеся в глаза профану, отнюдь не всегда самые тревожные, самые важные.

Я думаю, убежден, что немало есть людей, кото-

рые ничему не отдаются всем своим существом и не до конца искренни с собой. Они живут на поверхности самих себя, однако человеческая почва так плодоносна, что даже и этого тонкого внешнего слоя хватает для тощей жатвы, создающей иллюзию подлинной судьбы. Говорят, во время последней войны мелкие служащие, робкие в обычной жизни, постепенно раскрывались как командиры: они даже не подозревали в себе этой страсти повелевать. Нет, разумеется, здесь нет ничего похожего на то, что мы называем прекрасным словом "обращение" convertere, - но в конце концов достаточно и того, что эти бедняги изведали героизм в его простейшей форме, героизм без непорочности. А скольким людям так и не дано получить ни малейшего представления о героизме преестественном, даруемом только верой, без которого нет внутренней жизни! Но судить-то их будут как раз по ней! Стоит об этом чуть призадуматься, это - очевидно, неопровержимо. Значит?.. Значит, когда смерть отнимет у них все те искусственные придатки, которыми наделило людей этой породы общество, они предстанут в своем подлинном виде - такими, какими были неведомо для себя: мерзкими, недоразвитыми чудовищами, человеческими обрубками.

Но если они так созданы, что могут они сказать о грехе? Что знают о нем? Рак, который их гложет, подобен многим опухолям - он не причиняет боли. Большинство, в лучшем случае, ощутило укол в какой-то момент, но боль тут же ушла, и они позабыли о ней думать. Редко найдется ребенок, у которого внутренняя жизнь, в христианском понимании этого слова, не намечалась, хотя бы в самой зачаточной форме. Был день, когда юная жизнь забилась сильнее, дух героизма зашевелился в глубине невинного сердца. Не так уж и властно, быть может, а все же достаточно, чтобы крохотное существо смутно что-то ощутило, а иногда, пусть и неосознанно, прияло великий риск спасения, заключающий в себе божественное начало человеческого бытия. Ребенок узнал нечто о добре и зле, получил представление о добре и зле в чистом виде, вне всякой связи с социальными условностями и нравами. Но он, естественно, реагировал на случившееся с ним по-детски, так что взрослым не сохранит об этой решающей, высокой минуте ничего, кроме воспоминанья о ребяческой драме, а может, даже и шалости. Так что ее подлинный смысл от него ускользнет, и до конца жизни он будет говорить о ней с размягченной улыбкой, со старческим

умилением, чуть ли не со сладострастием.

Трудно даже себе представить, сколько детского в людях, которые слывут серьезными, сколько поистине необъяснимого, невероятного ребячества. Мне, хоть я и не так давно священствую, нередко доводилось, случается и теперь, внутренне улыбаться этому. А каким снисходительным, каким сочувственным тоном разговаривают с нами! Один арраский нотариус, которого я напутствовал перед кончиной - лицо значительное, бывший сенатор, один из самых крупных землевладельцев департамента, - сказал мне однажды, по-видимому желая извиниться за то, что выслушивает мои увещевания с некоторым скептицизмом, вполне, впрочем, благожелательным: "Я хорошо вас понимаю, господин аббат, мне знакомы ваши чувства, я и сам был очень набожен. Лет в одиннадцать я ни за что бы не уснул, не прочтя трижды "Ave Maria" [4], да еще я положил себе читать эти молитвы единым духом, без роздыха. Иначе, считал я, это принесет мне несчастье..."

Он полагал, что я на этом и остановился, что мы, бедные священники, на этом и останавливаемся.

---

[4] Примечания: 4
Богородице дево, радуйся (лат.).

В конечном итоге я выслушал его предсмертную исповедь. Что сказать? Оказывается, жизнь нотариуса - дело невеликое, вся она подчас укладывается в несколько слов.

Нет греха тягче, чем утрата надежды, и, пожалуй, нет греха, до такой степени обласканного, взлелеянного. Человек распознает его не сразу, а в печали, возвещающей отчаяние, которая ему предшествует, есть что-то упоительное! Это самый ароматный эликсир Сатаны, его амброзия. Ибо тоска...

(Страница оборвана.)

Сегодня сделал очень странное открытие. М-ль Луиза обычно оставляет молитвенник на своей скамье, в специальном ящичке. Сегодня я нашел толстую книгу на каменных плитах, и поскольку благочестивые картинки, которые были в нее вложены, рассыпались, мне невольно пришлось ее перелистать. Мне попалось на глаза несколько строк, написанных от руки на оборотной стороне переплета. Это - имя и адрес мадемуазель - вероятно, ее прежний адрес - в Шарлевиле (Арденны). Почерк тот же, что в анонимном письме. Во всяком случае, так мне показалось.

Но что мне теперь до этого?

Великие мира сего умеют без слов дать вам

понять, что пора откланяться, им достаточно кивка, взгляда, даже и этого не нужно. Но Бог...

Я не утратил ни Веры, ни Надежды, ни Любви. Но что смертному до вечных благ в этом бренном мире. Важна лишь жажда вечных благ. Мне кажется, я их больше не жажду.

Встретил г-на торсийского кюре на отпевании его старого друга. Могу сказать, что меня не покидает мысль о докторе Дельбанде. Но мысль, даже надрывающая душу, это не молитва, она не может быть молитвой.

Бог меня видит и судит.

Я решил продолжать этот дневник, потому что откровенное, скрупулезно точное изложение всего, что со мной происходит сейчас, в дни этого испытания, может - как знать? - оказаться когда-нибудь полезным для меня, для меня или для кого-нибудь другого. Несмотря на то, что сердце мое ожесточилось (мне кажется, я не испытываю ни малейшей жалости ни к кому, жалость мне так же недоступна, как молитва, я понял это сегодня ночью, над гробом Аделины Супо, хотя и постарался добросовестно ее напутствовать), будущий, скорее всего - воображаемый, читатель моего дневника вызывает у меня дружеское участие... Нежность предосудительная, ведь на самом деле

это нежность к себе самому. Я сделался писателем или, как выражается бланжермонский благочинный, "поэтом"... И тем не менее...

Я хочу поэтому чистосердечно отметить здесь, что вовсе не пренебрегаю своими обязанностями, напротив. Улучшение, почти невероятное, моего здоровья очень благоприятствует работе. Было бы не вполне справедливо сказать, что я не молюсь за доктора Дельбанда. Я отправляю и эту обязанность, как всякую другую. Я даже воздерживаюсь от вина в последние дни, что угрожающе подтачивает мои силы.

Короткий разговор с г-ном торсийским кюре. Этот замечательный священник поистине удивительно владеет собой. Его самообладание очевидно, хотя внешне никак и не проявляется, - ни единым жестом, ни единым словом он не выказывает, каких усилий, какого напряжения воли стоит ему держать себя в руках. По его лицу видно, что он страдает, он не пытается даже скрыть этого, с поистине монаршим прямодушием и простотой. В подобных обстоятельствах даже самых лучших людей, как правило, ловишь на двусмысленном взгляде - из тех, что более или менее открыто намекают: "Видите, я держусь, не надо меня хвалить, это в моем характере, бла-

годарю..." Взгляд г-на кюре бесхитростно ищет сочувствия, участия, но с каким благородством! Так мог бы протянуть руку за подаянием король. Он провел две ночи над усопшим, и его сутана, обычно такая чистая, наглаженная,- вся в пятнах, в глубоких складках, расходящихся веером. Он забыл, может быть впервые в жизни, побриться.

Его самообладание обнаруживает себя в одном: от него исходит, ничуть не меньше, чем обычно, та сила, которая даруется только верой. Несмотря на то что его явно снедает тоска (доктор Дельбанд, по слухам, покончил с собой), он остается человеком, излучающим на окружающих покой, мир, стойкость. Я служил сегодня обедню вместе с ним, как иподьякон. Мне доводилось раньше замечать, как при освящении слегка дрожат его прекрасные руки, простертые над чашей. Сегодня они не дрожали. В них была даже властность, величие... Невозможно описать, до какой степени это контрастировало с его лицом, осунувшимся от бессонницы, усталости и, главное, мучительных мыслей, о которых я догадываюсь.

Он ушел, не пожелав остаться на поминки, устроенные племянницей доктора - очень похожей на г-жу Пегрио, только еще более грузной. Я проводил его до вокзала, и, поскольку до поезда

оставалось еще полчаса, мы присели с ним на скамью. Он очень устал, и при ярком дневном свете лицо его показалось мне еще более измученным. Я никогда не замечал прежде морщин в углах его рта, несказанно печальных, горьких. Думаю, это и заставило меня решиться. Я вдруг сказал ему:

- Вы не боитесь, что доктор...

Он не дал мне закончить фразы, словно пригвоздив последнее слово к моим губам своим властным взглядом. Мне стоило большого труда не опустить глаза, я знаю - он этого не любит. "Глаза, которые трусят", - говорит он. Наконец его черты мало-помалу смягчились, он даже чуть заметно улыбнулся.

Не стану передавать нашего разговора. Да и был ли это разговор? Все это не продолжалось и двадцати минут... Небольшая пустынная площадь, обсаженная с двух сторон липами, казалась еще более тихой, чем обычно. Вспоминаю стайку голубей, регулярно пролетавшую над нами, стремительно и так низко, что был слышен свист крыльев.

Он действительно опасается, что его старый друг застрелился. Похоже, он был совершенно деморализован, поскольку до последней минуты рассчитывал получить наследство от престаре-

лой тетушки, но та совсем недавно перевела все свое состояние на имя весьма известного стряпчего (поверенного его преосвященства, С-кого епископа), за что тот обязался выплачивать ей пожизненную ренту. Прежде доктор зарабатывал уйму денег и щедро тратил их на довольно своеобразные и несколько неразумные пожертвования, которые далеко не всегда оставались в тайне и заставляли подозревать в докторе политическое честолюбие. Когда более молодые коллеги разделили между собой его клиентуру, он не пожелал менять своих привычек.

- Чего ты хочешь? Он не был человеком, способным чем-то пожертвовать ради сохранения остального. Он сотни раз говорил мне о бессмысленности борьбы с тем, что он именовал жестокостью людей и глупостью судьбы, о том, что социальная несправедливость неизлечима - с нею нельзя покончить, не уничтожив самого общества. Он сравнивал иллюзии реформаторов с иллюзиями последователей Пастера, которые мечтали обеззаразить мир. Словом, он считал себя ослушником, не больше и не меньше, последним представителем той давно вымершей породы - если предположить, что она вообще когда-нибудь существовала, - которая ведет без-

надежную и беспощадную борьбу с завоевателем, превратившимся за века в законного владельца. "Я мщу", говорил он. Короче, он не верил в существование регулярной армии, понимаешь? "Когда я сталкиваюсь с несправедливостью, которая разгуливает в одиночестве, без охранников, и когда я вижу, что она мне по плечу, ни слишком слаба, ни слишком сильна, я набрасываюсь на нее и душу". Это дорого ему обходилось. Еще прошлой осенью он выплатил долги старухи Гашвом, одиннадцать тысяч франков, потому только, что г-н Дюпонсо, хлеботорговец, скупил ее векселя и собирался наложить лапу на землю. Смерть проклятой тетки нанесла ему, конечно, последний удар. Да что там! Триста или четыреста тысяч франков все равно мигом сгорели бы в таких руках! Тем более что он, бедняга, с возрастом стал просто невозможен. Разве не вбил он себе в голову, что будет содержать - в точном смысле слова - старого пьянчугу по имени Ребатю, бывшего браконьера, ленивого, как сурок, который живет в хижине угольщиков, на границе владений Губо, таскается, как говорят все, за девочками-пастушками и никогда не просыхает. А тот вдобавок еще смеялся над ним. Не думай, что доктор этого не знал! Но он, как всегда, посту-

пал по-своему, у него на все были свои мотивы.

- Какие?

- Что этот Ребатю - самый лучший охотник из всех, с которыми ему доводилось встречаться, что нельзя лишать его этой радости, как нельзя лишать человека еды и питья, и что своими бесконечными протоколами полевая жандармерия доведет этого безобидного маньяка до того, что тот превратится в опасного зверя. И все это было перемешано в его дорогой старой башке с навязчивыми идеями, которыми он был поистине одержим. Он говорил мне: "Одарить людей страстями и запретить их удовлетворять - нет, это не по мне, я не Господь Бог". Надо признать, что он ненавидел маркиза де Больбек, а маркиз поклялся, что рано или поздно прижмет Ребатю с помощью своих сторожей и отправит его в Гвиану. Так что, черт побери!..

Я, кажется, уже отмечал в этом дневнике, что печаль чужда г-ну торсийскому кюре. Душа его весела. И даже сейчас, если я не глядел на его лицо, а он, как всегда, не опускал головы, держал ее очень прямо, меня поражали некоторые оттенки его голоса. Несмотря на всю удрученность, нельзя сказать, чтобы голос его был печальным: в нем сохранялся какой-то, почти неуловимый, трепет,

дуновение внутренней радости, такой глубинной, что ничто не могло ее замутить, подобно спокойной толще океанских вод, неподвластной ураганам.

Он поведал мне еще многое, вещи почти невероятные, почти безумные. В четырнадцать лет наш друг мечтал стать миссионером, веру он потерял, изучая медицину. Он был любимым учеником прославленного профессора, имя которого я запамятовал, и товарищи единодушно предсказывали ему исключительно блестящую карьеру. Известие, что он обосновался в нашем захолустье, всех удивило. Он объяснял это своей бедностью, не позволяющей ему готовиться к экзаменам на конкурс, к тому же слишком усердные занятия серьезно подорвали его здоровье. Но истинная причина была в том, что он терзался из-за утраты веры. Он сохранил странные привычки, например, ему случалось вопрошать распятие, висевшее на стене его комнаты. Иногда он рыдал, опустившись подле него, закрыв голову руками, а иногда, напротив, даже вызывающе угрожал ему, показывая кулак.

Еще несколько дней тому назад я, вне всякого сомнения, выслушал бы все это с большим хладнокровием. Но сейчас я был не в состоянии

вынести откровенный разговор о такого рода вещах, мне словно лили расплавленный свинец на открытые раны. Конечно, я не выстрадал ничего подобного, и, возможно, мне не придется так страдать до самой смерти. Но я мог только опустить глаза. Если бы я поднял их на г-на торсийского кюре, боюсь, я закричал бы. К сожалению, в таких случаях человеку труднее совладать с языком, чем с глазами.

- Если он и в самом деле покончил с собой, то...

Господин торсийский кюре вздрогнул, точно мой вопрос внезапно разбудил его. (Он и правда последние пять минут говорил точно во сне.) Я почувствовал на себе его внимательный взгляд, должно быть, он о многом догадался.

- Посмей только кто-нибудь другой, не ты, задать мне подобный вопрос!

Потом он надолго умолк. Маленькая площадь была по-прежнему пустынной, светлой, и крупные птицы, совершая свой однообразный облет, словно обрушивались на нас через равные промежутки времени с высоты неба. Я машинально ждал их возвращения и этого свиста, похожего на свист исполинской косы.

- Один Бог ему судья, - сказал он наконец своим спокойным голосом. Максанс (впервые он назвал

при мне своего старого друга по имени) был человек справедливый. Праведных судит Бог. У меня душа болит не за дураков и не за откровенных мерзавцев, сам понимаешь! Святые ведь зачем-то существуют? За таких искупительную дань заплатят они, им это по плечу. А вот...

Руки его были сложены на коленях, на земле лежала большая тень от широких плеч.

- Мы на войне, что делать? Врагу нужно смотреть в лицо - встретить его лицом к лицу и "устоять", как он говорил, помнишь? Таков был его девиз. Если на войне оступится рядовой солдат в третьем или четвертом эшелоне, какой-нибудь погонщик мулов в обозе, это не имеет такого уж большого значения, правда ведь? Я уж не говорю о каком-нибудь штатском обормоте, которому только и заботы, что читать свою газету, какое до него дело генералиссимусу? Но есть ведь и линия фронта. А в авангарде грудь это грудь. Тут каждая грудь на счету. Существуют Святые. Я называю Святыми тех, кому дано больше других. Богатых. Я всегда считал, что, если бы мы умели взглянуть на человеческое общество нездешним взглядом, это дало бы нам ключ ко многим тайнам его истории. В конце концов человек ведь сотворен по образу и подобию Бога, и когда он пытается

создать порядок, отвечающий его природе, он, очевидно, пусть и неумело, копирует другой, истинный порядок. Разделение на бедных и богатых должно отвечать какому-то великому всеобщему закону. Богатый - в глазах церкви покровитель бедного, - словом, его старший брат! Заметь, нередко он играет эту роль непреднамеренно, это просто результат соотношения экономических сил, как они выражаются. Обанкротился какой-нибудь миллионер - и вот уже тысячи людей выброшены на улицу. Отсюда нетрудно себе представить, что происходит в незримом мире, если споткнется один из тех богачей, о которых я говорю, из тех, в чьем распоряжении божья благодать! Беспечность посредственности - пустяк. Беспечность Святых - вот соблазн! Нужно быть безумцем, чтобы не понимать, что единственное оправдание неравенства потустороннего удела - это риск. Наш риск. Твой, мой.

Он сидел выпрямившись, не двигаясь. Увидев его на этой скамье, в этот зимний день, освещенный холодным послеполуденным солнцем, любой прохожий принял бы его за бравого священника, разглагольствующего, не без похвальбы, о пустяшных делах своего прихода перед почтительным молодым собратом, кото-

рый ловит каждое его слово.

- Запомни то, что я тебе скажу: все зло пошло, возможно, от его презрения к посредственности. "Ты ненавидишь людей посредственных", говорил я ему. Он не возражал, потому что был, повторяю, человеком справедливым. А тут, понимаешь ли, нужна осторожность. Человек посредственный - ловушка Дьявола. Посредственность чересчур сложна для нас, она - божья забота. А пока суд да дело, человек посредственный должен был бы найти прибежище в нашей тени, у нас под крыльями. Прибежище, теплый кров они, бедняги, нуждаются в тепле! "Если бы ты действительно искал Господа нашего, ты его нашел бы", - говорил я ему также. Он отвечал мне: "Я ищу Бога там, где больше шансов его найти, - среди бедных". На тебе! Да только бедные - одного с ним поля ягода, в общем - бунтари, гордецы. Я как-то спросил его: "А если Спаситель поджидает вас как раз в облике одного из тех, кого вы так презираете, ведь он берет на себя и освящает все наши слабости, за исключением греха. Какой-нибудь малодушный - это нередко всего лишь обездоленный, который раздавлен гигантской социальной машиной, как крыса балкой, какой-нибудь скупец - это человек, снедаемый тоской

от сознания собственного бессилия и гложимый боязнью "остаться на мели". Нам человек кажется безжалостным, а на самом деле он просто патологически страшится бедняка - встречается и такое, - испытывает по отношению к нему ужас, столь же необъяснимый, как панический испуг некоторых неврастеников перед мышью или пауком. Ищете ли вы Спасителя среди людей такого рода? - спросил я его. - И если не ищете, на что вы можете жаловаться? Это вы сами его проглядели..." Он, может, и правда проглядел его.

Сегодня ночью (точнее, едва стемнело) кто-то опять заявился в церковный сад. Мне кажется, этот человек уже собирался дернуть за звонок, когда я внезапно открыл слуховое окошко, которое как раз над окном комнаты. Шаги поспешно удалились. Может, это кто-нибудь из детей?

Только что был у меня г-н граф. Предлог: дождь. Вода так и хлюпала в его высоких сапогах. Три или четыре подстреленных кролика лежали кучкой кровавой грязи и серой шерсти на дне охотничьей сумки, на это невозможно было смотреть. Он повесил ее на стену, и все время, пока он со мной разговаривал, я видел сквозь веревочное плетенье, среди вздыбившейся шерсти, один глаз, еще влажный, очень тихий, уставившийся

на меня.

Он попросил прощенья за то, что переходит к делу сразу, без обиняков, с армейской откровенностью. Сюльпис якобы слывет в деревне человеком извращенным, с чудовищными привычками. В полку он, по выражению г-на графа, "едва не попал под трибунал". Порочен и лжив, таков общий приговор.

Как всегда, это только слухи, истолкование каких-то его поступков, ничего точного. Известно, например, что Сюльпис прослужил несколько месяцев у одного колониального чиновника на пенсии, человека весьма сомнительной репутации. Я ответил, что хозяев не выбирают. Г-н граф пожал плечами и бросил на меня сверху вниз короткий, совершенно недвусмысленный взгляд: "Что он - дурак? Или только прикидывается?"

Признаюсь, мое поведение могло его удивить. Он ждал, полагаю, протестов. Я остался невозмутим, не решаюсь сказать - безразличен. Мне хватает своего. Я слушал, впрочем, его речь со странным ощущением, что она обращена к кому-то другому, не ко мне - к тому человеку, которым я был и которого уже нет. Его слова опоздали, он сам тоже опоздал. Его сердечность показалась мне на этот раз деланной, даже вульгарной. Не

нравится мне и его взгляд, который так и рыщет повсюду и, обежав с поразительным проворством все углы комнаты, возвращается ко мне, чтобы впериться мне прямо в глаза.

Я только отобедал, кувшин с вином был еще на столе. Г-н граф наполнил стакан, без всякого стеснения, и сказал мне: "Вы пьете слишком терпкое вино, господин кюре, это вредно. Кувшин нужно держать в чистоте, мыть кипятком".

К вечеру, как обычно, пришел Митонне. У него побаливает бок, он жалуется, что ему трудно дышать, и сильно кашляет. Я собирался поговорить с ним, но мне вдруг стало противно, меня сковал какой-то внутренний холод, я предоставил ему заниматься своим делом (он очень умело заменяет прогнившие плашки паркета) и вышел немного прогуляться. Вернулся я, так и не приняв, конечно, никакого решения. Я открыл дверь в гостиную. Занятый циклевкой своих плашек, он разумеется, не мог меня ни слышать, ни видеть. Тем не менее он внезапно обернулся, и наши взгляды встретились. Я прочел в его глазах удивленье, потом настороженность, потом ложь. Не ту или иную конкретную ложь, но склонность ко лжи. Это напоминало мутную воду, тину. Наконец - я все еще пристально смотрел на него,

это длилось одно мгновение, может, несколько секунд, не знаю - из-под грязи проступил подлинный цвет глаз. У меня нет слов, чтобы описать это. Губы его задрожали. Он подобрал свои инструменты, тщательно завернул их в кусок холста и вышел, не проронив ни звука.

Я должен был бы удержать его, расспросить, но не мог. Не мог оторвать глаз от его бедного силуэта на дороге. Он, впрочем, мало-помалу выпрямился и, проходя мимо дома Дега, приподнял свою каскетку с отчаянной лихостью. Двадцатью шагами дальше он, должен быть, принялся насвистывать одну из своих излюбленных песенок, ужасных, чувствительных песенок, тексты которых он тщательно переписывает в тетрадочку.

Я вернулся к себе в комнату совершенно без сил - невероятно усталый. Не понимаю, что произошло. Внешне застенчивый, Сюльпис на самом деле скорее нагл. К тому же за словом в карман не лезет и этим злоупотребляет. Я поражен, что он даже не попытался оправдаться - задача в его глазах нетрудная, поскольку он, вне всякого сомнения, не слишком высоко ставит мое знание жизни и способность судить о людях. Да и как мог он догадаться? Я, кажется, и словом не обмолвился, в моем взгляде, безусловно, не было

ни презрения, ни гнева... Вернется ли он?

Я прилег на кровать, чтобы немного прийти в себя, и тут что-то вдруг словно оборвалось во мне, в моей груди, меня стало трясти, и сейчас, когда я пишу это, Дрожь все еще не оставила меня.

Нет, я не потерял веры! Да и само это выражение "потерять веру", точно она кошелек или связка ключей, всегда мне казалось глуповатым. Оно, должно быть, почерпнуто из лексикона добропорядочного буржуазного благочестия, унаследованного от унылых священнослужителей XVIII века, которые отличались нестерпимой болтливостью.

Веры не теряют, она просто перестает наполнять жизнь. Именно поэтому старые духовники не ошибаются в своем скептическом отношении к такого рода интеллектуальным сомнениям, куда более редким, без сомнения, чем это утверждают. Но когда образованный человек мало-помалу, незаметно для себя самого, загоняет свою веру в дальний закоулок мозга, где он может найти ее только усилием мысли, памяти, это уже не вера. Даже если он сохраняет нежность к тому, чего уже нет, но что могло бы быть, невозможно называть верой этот абстрактный символ, не больше похожий на веру, если воспользоваться

знаменитым сравнением, чем созвездие Лебедя на лебедя.

Я не потерял веры. Жестокость испытания, его необъяснимая, ошеломительная внезапность могли, конечно, потрясти мой рассудок, мои нервы, иссушить вдруг во мне - возможно, и навсегда, как знать? - дар молитвы, переполнив меня угрюмой покорностью, еще более ужасной, чем великие порывы отчаяния, его безмерные падения, - моя вера неколебима, я это чувствую. Но мне не удается ее настичь. Я не нахожу ее ни в моей бедной голове, неспособной правильно связать двух мыслей и непрестанно перебирающей почти бредовые образы, ни в моем сердце, ни даже в моей совести. Иногда мне чудится, что она укрылась, что она продолжает существовать там, где мне, конечно уж, не пришло бы на ум ее искать, - в моей плоти, в моей жалкой плоти, в моей крови и плоти, в моей бренной, но принявшей крещенье плоти. Мне хотелось бы найти слова, чтобы выразить эту мысль возможно проще, возможно непосредственней. Я не потерял веры, потому что Господь в неизреченной своей милости уберег меня от порока. Да, я знаю, такого рода доказательство насмешило бы философов! Разумеется, какому бы безудержному распутству

ни предавался человек в здравом уме, это не может замутить его рассудок до такой степени, чтобы он усомнился, скажем, в правильности некоторых аксиом геометрии. Для этого нужно впасть в безумие. Но что, в конце концов, известно нам о безумии? Что известно нам о похоти? Что известно нам о их скрытой взаимосвязи? Похоть - таинственная рана в лоне рода человеческого. Мало сказать - в лоне! В самом роднике жизни. Смешивать похоть, владеющую человеком, с желанием, сближающим мужчину и женщину, все равно что называть одним именем опухоль и орган, который она пожирает и форму которого она подчас ужасающе воспроизводит при своем уродливом разрастании. Человечество изо всех сил старается прикрыть эту постыдную рану, используя пленительность искусства. Можно подумать, что оно в каждом новом своем поколении страшится бунта человеческого достоинства, отчаяния отреченья от этого зла существ еще юных, еще им не затронутых... С какой удивительной заботливостью человечество бдит над своими детьми, стараясь заранее смягчить чарующими образами унизительность первого опыта, который почти неотвратимо ставит человека в смешное положение! И когда, несмотря на все

эти усилия, раздается безотчетная жалоба юного величия, попранного, оскорбленного бесами, как ловко человечество заглушает этот вопль смешками! Какая умелая дозировка ума и чувства, жалости, нежности, иронии, какая сообщническая бдительность окружает отрочество! Даже старые чайки не так суетятся вокруг птенцов при первом их полете. И если отвращение слишком уж сильно, если драгоценное юное создание, над которым еще бдят ангелы, охвачено тошнотой, если его выворачивает наизнанку, какие заботливые руки протягивают ему золотой таз, вычеканенный художниками, разукрашенный поэтами, меж тем как оркестр наигрывает под сурдинку, заглушая шепотом листвы и лепетом струй икоту гадливости.

Но для меня мир так не раскошеливался... Бедняк уже в двенадцать лет понимает многое. Да и понимать было не обязательно. Я видел. Похоть не понимают, ее видят. Я видел эти лица, остервенелые, внезапно каменевшие в непередаваемой улыбке. Боже мой! Как же люди не замечают, что маска наслаждения, отбросившего ханжеские прикрытия, - это, в сущности, маска тоскливого страха? О, эти алчущие лица, они до сих пор преследуют меня в ночных кошмарах,

одну ночь из десяти примерно я вижу во сне эти лица, пронзенные болью! Сидя на корточках позади стойки в распивочной,- я вечно вылезал из темной пристроечки, где, как полагала тетка, я учил в это время уроки, - я смотрел на них, они возникали надо мной в колеблющемся свете слабой лампы, свисавшей на медном проводе, то и дело задеваемом головой какого-нибудь пьяницы, их тени плясали на потолке. Как ни мал я был, я хорошо отличал один хмель от другого, я хочу сказать, что только то, другое, опьянение и внушало мне страх. Достаточно было появиться молодой служанке несчастной хромоногой девушке, серой, как пепел, - и отупелые глаза вдруг приобретали такую пронзительную целеустремленность, что я до сих пор не могу хладнокровно вспомнить об этом... Знаю, скажут - это детские впечатления, и сама необыкновенная острота такого рода воспоминаний, ужас, который они все еще мне внушают столько лет спустя, как раз заставляет взять их под подозрение... Пусть так! Хотел бы я, чтобы светские люди увидели это сами! Не думаю, что можно многое постичь, глядя на лица чересчур утонченные, чересчур чуткие, на лица, которые умеют притворяться и прячутся в минуту наслаждения, как прячутся

звери в свой смертный час. Я, конечно, не отрицаю, что тысячи людей распутничают всю жизнь и до самого порога старости - а иногда и много позже - не могут утолить ненасытного отроческого любопытства. Что можно постичь, глядя на эти легкомысленные создания? Они - игрушка бесов, возможно, но не подлинная их добыча. Кажется, что Бог, с какой-то таинственной целью, не попустил их действительно загубить свою душу. Вероятные жертвы дурной наследственности, проступившей в них карикатурными, но безобидными чертами, они словно дети, отставшие в своем развитии, которые, хоть и делают под себя, но при этом не порочны, и провиденье дарует им своего рода младенческий иммунитет... Ну и что? Какой же вывод? Разве существование безобидных маньяков позволяет отрицать, что существуют и опасные безумцы? Моралист оценивает, психолог анализирует и классифицирует, поэт музицирует, живописец играет красками, как кошка своим хвостом, паяц хохочет, а что толку! Повторяю, безумье так же непонятно людям, как и разврат, и общество защищается против них обоих, не признаваясь в том открыто, с тем же подспудным страхом, с тем же тайным стыдом и почти одними и теми

же средствами... Ну а что, если безумье и похоть нечто единое?

Какой-нибудь философ, в комфортабельном окружении своих книг, естественно, судит об этом по-иному, чем священник, вдобавок священник сельский. Полагаю, немного найдется духовников, которыми не овладевало бы с годами ощущение тягостного однообразия исповедей, своего рода головокружение. И не столько даже от того, что они слышат, сколько от того, о чем догадываются, от того, что скрыто за скупыми словами, всегда одними и теми же, угнетающе скудоумными, если их читаешь, но кишащими, как зловонные могильные черви, когда эти слова тебе нашептывают в тиши и мраке исповедальни. Поэтому-то нас и преследует образ гноящейся раны, из которой сочится самая субстанция жалкого рода человеческого. Какие великие дела мог бы творить мозг человека, не отложи в нем свою личинку эта ядовитая муха.

Нас, священников, обвиняют, нас всегда будут обвинять - это ведь так легко! - в том, что мы в глубине души питаем завистливую, ханжескую ненависть к мужской силе; однако всякому, хоть немного соприкоснувшемуся с грехом, ясно, что похоть непрерывно угрожает заглушить свои-

ми плевелами и плодовитой паразитической мерзостью и мужскую силу, и ум. Неспособная к созиданию, она оскверняет в самом зародыше хрупкий росток человечности; в ней, возможно, сокрыто начало всех изъянов нашего рода, и когда где-нибудь на извилистой тропинке дикого леса, глубины которого нам неведомы, мы сталкиваемся с нею лицом к лицу, когда застигаем ее в неприкрытом виде, такой, какой она вышла из рук искусителя, крик, вырывающийся из нашей утробы, это не просто вопль ужаса, но и проклятье: "Ты, только ты спустила с цепи смерть!"

Ошибка многих священников, скорее ревностных, чем мудрых, в том, что они подозревают людей в недобросовестности: "Вы не веруете, потому что вера стеснительна". Как часто мне доводилось слышать нечто подобное! Не правильнее ли было бы сказать: непорочность заповедана нам не в наказание, она - одно из таинственных, но очевидных, подтвержденных жизненным опытом условий того, данного нам свыше самопознания, познания себя в Боге, которое и есть вера. Порочность не разрушает этого познания, но уничтожает потребность в нем. Человек не верует, потому что утратил жажду веровать. Ты больше не стремишься познать себя.

Сокровенная истина, твоя истина, тебя уже не интересует И сколько бы ты ни твердил, что догмы, которые ты еще вчера исповедовал, все еще присутствуют в твоем сознании, но только разум их не приемлет, это дела не меняет! В действительности обладаешь лишь тем, чего жаждешь, ибо для человека не существует абсолютного, тотального обладания. Ты больше не жаждешь себя. Ты больше не жаждешь радости. Любить себя можно только в боге. И ты больше никогда не полюбишь себя, ни в этом мире, ни в том - во веки веков.

(Внизу, на полях этой страницы, можно разобрать многократно перечеркнутые, но все еще доступные прочтению строки: "Я писал это в тоске, в глубоком смятении сердца и чувств. Буря мыслей, образов, слов. Душа нема. Бог нем. Безмолвие".)

Ощущение, что это еще не самое страшное: настоящее искушение - то, которого я жду, - еще на далеких подступах, оно гряде г, медленно надвигаясь на меня, возвещая о себе этими бредовыми стенаниями. И бедная моя душа тоже его ждет. Она нема. Помрачение тела и души.

(Внезапность, ошеломительный характер несчастья, обрушившегося на меня. Дар молитвы

покинул меня без всякого предварительного надрыва, сам собой, как падает плод...)

Ужас пришел потом. Я понял, что сосуд разбит, увидев, что руки мои пусты.

Я хорошо знаю, что такого рода испытание не ново. Врач сказал бы мне, без сомнения, что я просто страдаю нервным истощением, что нелепо питаться только хлебом и вином. Но прежде всего: я отнюдь не чувствую себя истощенным, напротив. Мне лучше. Вчера я, можно сказать, почти пообедал: картошка, масло. К тому же я без труда справляюсь со своей работой. Господь ведает, как я подчас жажду побороть себя! Мне кажется, что я вновь обрету мужество. Иногда боли в животе еще возвращаются. Но теперь они застигают меня врасплох - я уже не живу в непрерывном ожидании, как прежде...

Я знаю также, сколько рассказывают всякого - правдивого и ложного - о душевных тяготах святых. Увы, сходство здесь чисто внешнее! Святым не приходилось приспосабливаться к своему бремени, а я уже чувствую, как приноравливаюсь к своему. Если бы я уступил искушению пожаловаться кому бы то ни было, порвалась бы последняя нить, связующая меня с Богом, я был бы сломлен, я погрузился бы, мне кажется, в

вечное безмолвие.

И все же вчера я дошел почти до самого Торси. Мое одиночество сейчас так беспредельно, так поистине превосходит силы человеческие, что мне вдруг захотелось пойти помолиться на могилу старого Дельбанда. Потом я вспомнил о его протеже - об этом Ребатю, с которым не знаком. В последнюю минуту силы меня оставили.

Визит м-ль Шанталь. Сегодня вечером я не чувствую себя способным писать об этом разговоре, перевернувшем мне душу... Никуда я не гожусь! Я совершенно не разбираюсь в людях. Никогда, наверно, так и не буду в них разбираться. Ошибки, которые я совершаю, не идут мне впрок: уж слишком они повергают меня в смятенье. Я наверняка принадлежу к тем слабым, ничтожным людям, которые полны добрых намерений, но всю жизнь колеблются между неведением и отчаянием.

Утром, отслужив обедню, помчался в Торси. Г-н торсийский кюре болен и лежит у одной из своих племянниц в Лилле. Вернется не раньше, чем через восемь, десять дней. До тех пор...

Чувствую, что писать бесполезно. Я не мог бы доверить эту тайну бумаге, не поднялась бы рука. Да, вероятно, и не имею права.

Мое разочарование, когда я узнал об отъезде

г-на кюре, было столь велико, что я вынужден был прислониться к стене, чтобы не упасть. Экономка смотрела на меня скорее с любопытством, чем с жалостью, в последние недели я ловил уже не раз такие взгляды, и у самых разных людей - так смотрела на меня г-жа графиня, Сюльпис и многие другие... Можно подумать, что я внушаю какой-то страх.

Прачка Марсьял развешивала белье во дворе, и я, немного задержавшись, чтобы передохнуть, отчетливо расслышал разговор женщин обо мне. Одна из них сказала более громко и с выражением, от которого краска бросилась мне в лицо: "Бедняга!" Что им известно?

Ужасный для меня день. Хуже всего то, что я не чувствую себя способным разумно, хладнокровно оценить факты, и их подлинный смысл, возможно, от меня ускользает. Конечно, у меня уже бывали моменты растерянности, подавленности. Но тогда я, не прилагая для этого никаких усилий, ощущал в себе тот душевный покой, в котором, точно в зеркале, отражались события и люди - как бы прозрачную глубину вод, с поверхности которой глядел на меня их образ. Теперь этот источник замутился.

Есть что-то странное - возможно, постыдное?

- в том, что, в то время как молитва, по моей собственной вине, конечно, почти не приносит мне облегчения, за этим столом, перед этими листами белой бумаги, я от части прихожу в себя.

О, как бы мне хотелось, чтобы это был только сон, дурной сон!

Из-за отпевания г-жи Ферран мне пришлось отслужить сегодня раннюю обедню в шесть утра. Мальчик-служка не пришел, я считал, что в церкви нет никого, кроме меня. В этот час, в это время года все кругом тонет в сумраке - глаз едва различает ступеньки, ведущие на хоры. Вдруг я услышал, совершенно отчетливо, слабый шорох четок, соскользнувших с дубовой скамьи на плиты пола. И больше ни звука. Произнося отпуст, я едва смел поднять глаза.

Ее тонкое лицо было еще более измученным, чем позавчера, и у рта - эта складка, такая презрительная, такая жесткая. Я сказал ей:

- Вам отлично известно, что я не могу принять вас здесь, уходите!

Ее взгляд меня испугал, а я ведь никогда не считал себя трусом. Господи! Сколько ненависти в ее голосе! А взгляд по-прежнему горд, в нем нет стыда. Значит, можно ненавидеть, не чувствуя стыда.

- Мадемуазель, - сказал я, - я сделаю то, что обещал.

- Сегодня?

- Да, сегодня.

- Потому что завтра, господин кюре, будет уже поздно. Она знает, что я говорила с вами, она знает все. Она хитра, как зверь! Я раньше ей доверяла: к ее глазам привыкаешь, они кажутся добрыми. Теперь я их выцарапала бы, эти глаза, да, я раздавила бы их ногой, вот так!

- Говорить такое в двух шагах от святого причастия, неужто вы совсем не боитесь Бога!

- Я убью ее, - сказала она, - я убью ее или себя. А вы потом объясняйтесь по этому поводу с вашим Господом Богом!

Она произносила эти безумные слова, не повышая голоса, напротив, минутами я едва мог ее расслышать И видел я тоже плохо, почти не различал черт лица. Касаясь одной рукой стены, держа в другой свою горжетку, свисавшую вдоль бедра, она склонилась ко мне, и ее длинная тень на плитах пола изогнулась дугой. Господи, как же ошибаются люди, считая, что исповедь опасно приближает нас к женщинам. Лгуньи или одержимые внушают нам скорее жалость; самоуничижение, которому предаются другие,

чистосердечные, заразительно. Но только сейчас я понял тайное могущество этого пола в истории, его роковую власть. Взбешенный мужчина выглядит сошедшим с ума. А бедные девушки из народа, которых я знал в детстве, с их жестикуляцией, воплями, гротескным надрывом, были мне скорее смешны. Я не представлял такой немногословной, но ломающей все препоны ярости, такой безудержной тяги всей женской сути ко злу, к ненависти, к сраму... Это было почти прекрасно, в этом была какая-то нездешняя - но и не поту сторонняя - красота, красота мира более древнего, быть может, мира до грехопадения? Еще до грехопадения ангелов.

Я потом старался, как мог, отогнать от себя эту мысль. Она нелепа, опасна. Сначала она не показалась мне прекрасной, да я, впрочем, ничего и не формулировал так четко. Лицо м-ль Шанталь было совсем рядом с моим. Заря медленно занималась, проникая сквозь грязные окна ризницы, зимняя, невыносимо печальная заря. Молчание, конечно, длилось не долго, столько, сколько нужно, чтобы прочесть "Salve Regina" [5] (слова "Salve Regina", такие прекрасные, такие чистые,

---

[5] Примечания: 5
Радуйся, Царице (лат.).

действительно невольно сорвались с моих уст).

Она, должно быть, заметила, что я молюсь, и гневно топнула ногой. Я взял ее за руку, слишком податливую, едва-едва отвердевшую в моей руке. Наверно, я стиснул ее сильнее, чем мне казалось. Я сказал ей:

- Прежде всего, преклоните колени!

Она слегка пригнула колени перед святым пре-сто лом. Опершись на него руками, она смотрела на меня с вызывающим и в то же время полным невыразимого отчаяния выражением.

- Говорите: "Господи, в эту минуту я способна толь ко оскорбить тебя, но это не я, это бес, кото-рый вселился в мое сердце".

Она все же повторила это слово за словом, как ребенок, читающий молитву. Да она же в конце концов еще совсем девочка! Длинная горжетка упала на пол, и я наступил на мех. Внезапно она распрямилась, и, словно вырвавшись от меня, обратясь лицом к алтарю, сказала сквозь зубы:

- Можешь проклясть меня, если хочешь, мне плевать!

Я сделал вид, что не слышу. Какой толк?..

- Мадемуазель, - снова заговорил я, - я не ста-ну продолжать этого разговора здесь, посреди церкви. Есть только одно место, где я могу вас

выслушать, - и я тихонько подтолкнул ее к исповедальне. Она сама опустилась на колени.

- У меня нет желанья исповедаться.

- Я и не прошу вас об этом. Подумайте только о том, сколько признаний в постыдных поступках слышали эти деревянные перегородки, они, можно сказать, пропитаны ими насквозь. Хоть вы и благородная барышня, здесь ваша гордыня грех, ничем не лучше других, еще одна грязная капля на куче грязи.

- Хватит об этом, - сказала она. - Вы отлично знаете, что я хочу только справедливости. И плевала я на грязь. Грязь - это униженье, в котором я живу. С тех пор как эта гнусная женщина вошла в дом, я проглотила больше грязи, чем хлеба.

- Это слова, вычитанные из книг. Вы - ребенок и должны говорить как ребенок.

- Ребенок! Я уже давно не ребенок. Я уже узнала все, что только можно узнать. Мне хватит этого на всю жизнь.

- Успокойтесь!

- Я спокойна. Желаю вам такого же спокойствия. Я слышала их сегодня ночью. Я стояла как раз у них под окном, в парке. Они теперь не дают себе труда даже задернуть шторы. (Она рассмеялась ужасным смехом. Поскольку она поднялась с ко-

лен, ей пришлось сильно нагнуться, прижав лоб к перегородке, да и гнев душил ее.) Мне хорошо известно, что они сговорились во что бы то ни стало выжить меня. На той неделе, во вторник, я еду в Англию. У мамы там кузина, и мама считает этот план весьма практичным, пристойным... Пристойным! Лопнуть от смеха! Но она верит всему, что они ей говорят, клюет на все их выдумки, как рыба на наживку. Тьфу!..

- Ваша матушка... - начал я.

Она ответила мне словами почти нецензурными, не решаюсь даже их воспроизвести. Она говорила, что несчастная женщина не сумела отстоять свое счастье, свою жизнь, что она глупа и малодушна.

- Вы подслушиваете под дверьми, - снова заговорил я, - подглядываете в замочные скважины, шпионите, и это вы - благородная барышня, такая гордая! Я всего лишь бедный крестьянин, два года моего детства прошли в скверной распивочной, в которую вы отказались бы даже ногой ступить, и все же я не стал бы вести себя как вы, пусть бы даже от этого зависела сама моя жизнь.

Она выпрямилась резким движением и стояла теперь перед исповедальней, опустив голову, лицо ее было по-прежнему каменным. Я закричал:

- На колени! Преклоните колени!..

Она снова подчинилась.

Позавчера я упрекал себя в том, что принял всерьез ее слова, которые были, возможно, лишь измышлениями темной ревности, нездоровых грез, кошмаров. Нас так упорно предостерегали от лукавства тех, кого наши древние трактаты о морали странным образом именуют "лицами иного пола"! Мне казалось, я вижу, как пожимает плечами г-н торсийский кюре. Но тогда я сидел за своим столом, размышлял в одиночестве о застрявших в моей памяти словах, интонация которых была безвозвратно утеряна. Тогда как теперь передо мной было это неповторимое лицо, искаженное не страхом, но каким-то более глубоким, рвущимся из нутра смятением. Да, мне случалось видеть такие изменившиеся черты, но только в минуты агонии, и я, естественно, приписывал это всегда причинам самым обыденным, чисто физическим. Говорят же врачи о "маске агонии". Врачам свойственно ошибаться.

Что сказать, что сделать, чтобы помочь этому израненному существу, самый ток жизни которого, казалось, иссякал от какого-то невидимого внутреннего увечья? Что то подсказывало мне, что я должен подождать еще несколько секунд,

помолчать, пойти на такой риск. К тому же я обрел немного сил для молитвы. Она тоже безмолвствовала.

И тут произошло нечто странное. Я не пытаюсь объяснить, я просто рассказываю все, как было. Я сейчас до такой степени измучен, нервен, что, возможно, мне это просто померещилось. Короче, я смотрел в ту темную дыру, в которой даже при дневном свете трудно различить черты лица, и мало-помалу, постепенно лицо м-ль Шанталь стало проступать все яснее. Этот образ стоял перед моими глазами, чудесно меняясь, и я замер, словно он мог исчезнуть от малейшего моего движенья. Разумеется, я тогда не отдавал себе в этом отчета, я осознал все много позже. Я спрашиваю себя, не было ли связано это своего рода виденье с моей молитвой, быть может, это и была сама моя молитва? Моя молитва была печальна, и образ тоже был печален, как она. Я с трудом мог вынести эту печаль, и в то же время я жаждал разделить ее, принять на себя всю ее целиком, чтобы она вошла в меня, наполнила мое сердце, мою душу, мои кости, все мое существо. Она заглушала во мне глухое бормотание невнятных вражеских голосов, не умолкавших ни на минуту последние две недели, она восстанавливала былую тишину,

блаженную тишину, в которой должен заговорить Бог - говорит Бог...

Я вышел из исповедальни, она поднялась на ноги еще раньше; мы оказались снова лицом к лицу, и я не узнал своего виденья. Она была невероятно бледна, почти до смешного. Руки ее дрожали.

- Я больше не могу, - сказала она совершенно по-детски. - Почему вы так на меня смотрели? Оставьте меня в покое!

Глаза ее были сухими, горячечными. Я не нашелся, что ответить, и молча проводил ее до дверей церкви.

- Если бы вы любили вашего отца, вы не были бы в этом ужасном состоянии, не бунтовали бы. Разве это любовь?

- Я больше не люблю его, - ответила она, - я, наверно, его ненавижу, я всех их ненавижу.

Слова шипели на ее губах, и после каждой фразы голос прерывался какой-то икотой, икотой отвращения, усталости, не знаю.

- Не считайте меня дурочкой, - сказала она гордо, самонадеянно. - Моя мать воображает, что я, как она выражается, не знаю жизни. Но я не слепая. Наши слуги настоящие обезьяны, а она считает их безупречными, "людьми, на которых

можно положиться". Она ведь сама их выбрала, вы же понимаете! Девочек следовало бы воспитывать в пансионе. Короче, для меня уже в десять лет, а может, и раньше, не было секретов. Это меня ужасало, возбуждало во мне жалость, но я все принимала, как принимаешь болезнь, смерть, многое другое - отвратительное, но неизбежное, чему вынужден покориться. Однако был еще отец. Отец был для меня все: учитель, король, бог - настоящий друг. Когда я была девочкой, он всегда со мной беседовал, обращался со мной почти как с равной, я носила на груди, в медальоне, его фотографию и прядь волос. Мать никогда его не понимала. Моя мать...

- Не говорите о вашей матери. Вы ее не любите. И даже...

- Не бойтесь, договаривайте до конца, - да, я ее ненавижу, я всегда ее нена...

- Замолчите! Увы! Во всех домах, даже христианских, водится незримое зверье, бесы. И самый свирепый из них поселился в вашем сердце, давно уже, только вы об этом не ведали.

- Тем лучше, - сказала она. - Я хотела бы, чтобы этот зверь был гнусен, омерзителен. Я потеряла уважение к отцу. Я больше ему не верю, а на остальное мне плевать. Он мне изменил. Дочери

можно изменить, как изменяют жене. Это не одно и то же, это хуже. Но я отомщу. Я удеру в Париж, я себя обесчещу и напишу ему: "Вот что вы со мной сделали!" И он будет страдать, как страдаю я сейчас.

Я на минуту задумался. Мне казалось, я читал на ее устах, пока она говорила, другие слова, которые не были произнесены, но одно за другим вписывались огненными буквами в мое сознание. Я вскричал, не помня себя:

- Нет, вы этого не сделаете. Вас искушает иное, я знаю!

Она так задрожала, что вынуждена была опереться на стену обеими руками. И тут опять случилось нечто такое, о чем я тоже только рассказываю, не пытаясь объяснить. Мне кажется, мои слова были сказаны наугад, по наитию, но в то же время я был уверен, что не ошибаюсь:

- Отдайте мне письмо, оно здесь, у вас в сумке. Сию минуту отдайте!

Она даже не пыталась возражать, только глубоко вздохнула и, пожав плечами, протянула мне лист бумаги.

- Вы сам дьявол! - сказала она.

Мы вышли из церкви почти спокойным шагом, но я еле держался на ногах, сгибаясь от боли в

животе, о которой в последнее время почти забыл думать. На этот раз она была сильнее, ужасней, чем когда-либо прежде. Мне пришло на ум одно выражение бедного старого доктора Дельбанда: "Сверлящая боль". Она меня и в самом деле сверлила. Я вспомнил барсука, которого г-н граф у меня на глазах пригвоздил к земле рогатиной: пронзенный насквозь, он издыхал в канаве, оставленный даже собаками.

Мадемуазель Шанталь, впрочем, не обращала на меня никакого внимания. Она шагала между могилами, опустив голову. Я едва осмеливался смотреть на нее, письмо я держал в руке, и время от времени она бросала на него странные, косые взгляды. Мне было трудно поспевать за ней, каждый шаг стоил мне усилий, я до крови закусил губы, чтобы не застонать. Наконец я рассудил, что упорствовать далее в борьбе с болью было бы гордыней, и попросил м-ль Шанталь остановиться на минуту, потому что у меня больше нет сил.

Сейчас я, возможно, впервые глядел в лицо женщине. Нет, разумеется, я никогда сознательно не избегал этого, и случалось, даже находил какое-нибудь женское лицо приятным, но, хотя я и не разделяю чрезмерной щепетильности некоторых моих товарищей по семинарии, мне

слишком хорошо известно людское лукавство, поэтому обычно я сдержан, как и подобает священнику. Но сегодня верх взяло любопытство. Оно было, думаю, сродни любопытству солдата, рискующего вылезти из своего окопа, чтобы увидеть наконец врага в лицо, или еще... Мне вспоминается, как лет семи-восьми я сопровождал бабушку к ее умершему кузену и, оставшись в комнате один, приподнял саван, чтобы вот так взглянуть на лицо покойника.

Есть лица чистые, излучающие чистоту. Таким было некогда, без сомнения, и лицо, которое я видел перед собой. Но сейчас в нем появилось что-то замкнутое, непроницаемое. Чистоты уже не было, однако ни гнев, ни презрение, ни стыд еще не смогли стереть с него таинственного знака. Они только корчили рожи. Необычайное, почти пугающее благородство этих черт говорило о силе зла, греха, чуждой ей силе... Боже! Неужто мы так ничтожны, что бунт гордой души может обернуться против нее самой!

- Вы напрасно стараетесь, - сказал я ей (мы находились в самой глубине кладбища, неподалеку от калиточки, которая выходит на Казимиров загон, в запущенной части погоста, где трава так высока, что могилы, заброшенные уже на протяжении

целого столетия, под ней совсем неразличимы), - другой, может, и вовсе не стал бы вас слушать. Я вас выслушал, пусть так. Но я не принимаю вашего вызова. Бог вызовов не принимает.

- Верните мне письмо, и я буду считать, что мы квиты, - сказала она. Я сама сумею себя защитить.

- Защитить от кого, от чего? Зло сильнее, чем вы, дочь моя. Или вас настолько обуяла гордыня, что вы считаете себя недосягаемой?

- Во всяком случае, для грязи, если я этого захочу, - сказала она.

- Вы сами из грязи.

- Слова! Может, ваш Бог теперь запрещает любить своего отца?

- Не произносите слова "любовь", - сказал я, - вы утратили на нее право, да, наверно, и способность. Любовь! Миллионы людей во всем мире просят ее у Господа Бога, готовы выстрадать тысячу смертей, чтобы в их иссушенный рот упала капля воды, той воды, в которой не было отказано самаритянке, но о которой они молят втуне. Вот я...

Я вовремя остановился. Однако она, должно быть, поняла, мне показалось, она потрясена. Правда, хотя я и говорил очень тихо - а может,

именно поэтому - усилие, которым я держал себя в руках, вероятно, сообщило моему голосу особое выражение. Я чувствовал, что он как бы дрожит у меня в груди. Эта молодая девушка, наверно, сочла меня безумным? Она старалась не встречаться со мной глазами, и мне чудилось, я вижу, как ширятся темные провалы ее щек.

- Да, - снова заговорил я, - сохраните для других оправданья такого рода. Я всего лишь бедный священник, недостойный и несчастный. Но я знаю, что такое грех. А вы не знаете. Все грехи похожи, все они - единый грех. Я перед вами не мудрствую. Эти истины доступны самому последнему христианину, буде он захочет воспринять их от нас. Мир греха противостоит миру благодати, как опрокинутое отражение пейзажа на глади глубокого и темного водоема. Грешники сопричастны друг другу. Их притягивает, объединяет, сплачивает, слепляет взаимная ненависть, взаимное презрение, и грядет день, когда все они предстанут перед взором Всевечного озером липкой грязи, по которому втуне прокатываются гигантские валы божественной любви, этот океан живого ревущего огня, некогда оплодотворивший хаос. Кто вы такая, чтобы осудить чужой проступок? Тот, кто осуждает проступок, с ним

соединяется, совокупляется. Вы ненавидите эту женщину, считаете, что вы не такая, как она, а между тем ваша ненависть и ее грех подобны двум побегам от одного корня. Чего стоит ваша ссора? Жесты, вопли, не больше - сотрясение воздуха. Смерть все равно скоро сделает вас обеих недвижными, безмолвными. К чему все это, если вы уже объединились во зле, попали все трое в ловушку одного греха - одной грешной плоти, вы - соумышленники, да, соумышленники! И пребудете ими во веки веков.

Наверно, я очень неточно передаю собственные слова, так как память моя не сохранила почти ничего определенного, кроме перемен ее лица, на котором, как мне казалось, я их читал.

- Довольно! - сказала она глухим голосом. И только ее глаза не просили пощады. Никогда я не видал, да и не увижу, наверно, такого неумолимого лица. И, однако, я предчувствовал почему-то, что это - самое отчаянное, самое последнее ее усилие противоборствовать Спасителю, что грех выходит из нее. Чего стоят все разговоры о молодости, о старости? Разве страдальческое лицо, которое я видел перед собой, не было еще несколько недель тому назад совсем детским? Теперь я не смог бы определить его возраста, а

может, у него и в самом деле не было возраста? У гордыни нет возраста. Да и у страданья тоже, в конце концов.

Она ушла, не проронив больше ни слова, внезапно, после долгой паузы... Что я наделал!

Вернулся очень поздно из Обена, где мне нужно было навестить после ужина больных. Нечего и пытаться уснуть.

Как я дал ей уйти в такую минуту? И даже не спросил, чего она ждет от меня.

Письмо все еще у меня в кармане, но я только сейчас прочел надпись на конверте: оно адресовано г-ну графу.

Боль в глубине живота "сверлит" все так же, отдает даже в спину. Непрерывно мутит. Я почти счастлив, что не могу думать: лютая боль отвлекает от душевной тоски. Вспоминаю норовистых коней - мальчишкой я ходил смотреть, как их подковывает кузнец Кардино. Как только вымокшая в крови и пене веревка стягивала их ноздри, бедные животные смирялись, прижав уши и дрожа на своих высоких ногах. "Ну что, получил свое, дурачок!" - говорил кузнец с громким хохотом.

Вот и я тоже - получил свое.

Боль вдруг прошла. Она была, впрочем, такой неотступной и ровной, что я, вдобавок донельзя

утомленный, почти задремал. Когда она отступила, я вскочил - в висках у меня стучало, но сознание было чудовищно ясным - с ощущением, с уверенностью, что слышал, как меня окликнули...

Лампа еще горела на столе.

Я обошел сад: ни души. Я знал, что никого не найду. Все до сих пор кажется мне сном, но каждая его подробность встает передо мной с необычайной отчетливостью, словно освещенная внутренним светом, каким-то ледяным озарением, не оставляющим ни одного темного угла, где я мог бы укрыться, чтобы обрести хоть каплю покоя... Наверно, так видит себя человек по ту сторону смерти. Господи, что я наделал!

Вот уже несколько недель, как я не молился, не мог молиться. Не мог? Как знать? Эту благодать благодатей нужно заслужить, как и всякую другую, а я, без сомнения, не был ее достоин. Короче, Бог меня покинул. Тут нет сомнений. Отныне я был - ничто, я таил это от всех! Хуже того: я кичился тем, что молчу, я считал свое молчание прекрасным, героическим. Правда, я попытался повидать г-на торсийского кюре. Но мне надлежало броситься к ногам того, кто надо мной поставлен, - г-на бланжермонского благо-

чинного. Я обязан был сказать ему: "Я больше не в состоянии руководить приходом, мне не хватает для этого ни осмотрительности, ни способности суждения, ни здравого смысла, ни истинного смирения. Еще несколько дней тому назад я позволял себе судить вас, я вас почти презирал. Бог меня наказал. Отошлите меня в мою семинарию, я опасен для прихожан".

Он-то бы понял! Да и кто бы не понял, впрочем! Достаточно прочесть эти жалкие страницы, моя постыдная слабость вопиет с каждой строки. Разве так должен говорить хозяин прихода, духовный наставник, пастырь? Ибо я был поставлен пастырем этого прихода, а показал себя ему таким, каков есть: жалким нищим, который ходит, протягивает руку за подаянием от порога к порогу, не смея даже постучать в дверь. Нет, разумеется, я не пренебрегал своими обязанностями, я даже старался изо всех сил, но что толку? Силы-то были ничтожные. Руководителя судят не только по намерениям: раз он что-то взял на себя, он и ответствен за результат. И когда я, к примеру, не желал признаться, что у меня плохо со здоровьем, в самом ли деле это было мне продиктовано только чувством долга, пусть даже и обостренным? Имел ли я право так рисковать?

Если рискует глава, это - риск для всех.

Позавчера мне не следовало принимать м-ль Шанталь. Уже ее первый визит ко мне домой был не вполне приличен. Во всяком случае, мне надлежало прервать ее, прежде чем... Но я положился, как всегда, на себя одного. Я не пожелал видеть ничего, кроме существа, которое стояло передо мной, у края ненависти и отчаяния, этой двойной бездны, и земля уходила у него из-под ног... О, это измученное лицо! Такое лицо, конечно, не могло лгать, такое безграничное смятение. Но ведь, когда я видел смятенье в других, оно меня так не трогало. Почему же эту душевную смуту я не мог стерпеть? Воспоминанье о моем собственном убогом детстве слишком еще близко, я знаю. Я и сам тоже некогда готов был отступить в ужасе перед людским горем и срамом... Господи! Столкнуться с грязью в других было бы ничтожным испытанием, если бы оно не открывало нам порочности в нас самих. Мерзкий голос, услышанный впервые, и первым же звуком пробуждающий в нас долгий ответный шепот...

Что с того! Тем более продуманно, тем более осторожно следовало мне действовать. А я наносил удары как попало, рискуя поразить вместе со зверем-похитителем его невинную, безоружную

добычу... Священник, достойный своего звания, видит перед собой не только частное явление. А я, как обычно, вовсе не учел ни семейных, общественных требований, ни тех компромиссов, без сомнения законных, которые из них вытекают. Анархист, мечтатель, поэт, - г-н бланжермонский благочинный совершенно прав.

Только что просидел больше часа у окна, несмотря на холод. Долина в лунном свете кажется наполненной лучистой ватой, такой невесомой, что движеньем воздуха от нее отрывает длинные пряди, которые косо всплывают в небо и словно парят там на головокружительной высоте. И в то же время так близко... Так близко, что мне видны их клочья, задевающие верхушки тополей. О, химеры!

Мы поистине ничего не знаем об этом мире, мы вне мира.

Слева от меня виднелась темная громада, окруженная светлым нимбом и по контрасту казавшаяся каменно плотным, отполированным базальтовым утесом. Это самая возвышенная часть парка, лес, засаженный вязами, а ближе к вершине холма - гигантскими елями, которые изуродованы осенними ураганами. Замок расположен на другом склоне холма, он обращен к

деревне, ко всем нам тыльной стороной.

Нет, как ни стараюсь, не могу ничего вспомнить о нашем разговоре, не могу восстановить в точности ни одной фразы... Можно подумать, что, передав его несколькими словами в этом дневнике, я словно бы начисто стер все, что было сказано. Память пуста. И все же одно меня поражает. Обычно я не способен произнести без запинки несколько слов кряду, а на этот раз был многословен. А ведь я, возможно, впервые в жизни высказал вслух - без всяких предосторожностей, без околичностей, боюсь даже, без должной сдержанности свое мучительное чувство (даже не чувство, почти зримый образ, в котором нет ничего абстрактного), в общем, свое виденье зла, его могущества, тогда как чаще стараюсь отстранить от себя мысль о нем, она слишком болезненна, бросает слишком яркий свет на некоторые необъяснимые кончины, некоторые самоубийства... Да, немало есть душ - гораздо больше, чем решаются предположить обычно, - которые, будучи внешне безразличными к религии или даже к морали вообще, в какой-то ничем не примечательный день - тут достаточно одного мгновения, - заподозрив в себе эту одержимость злом, стремятся любой ценой

от нее избавиться. Солидарность во зле, вот что ужасает! Ибо преступленья, какими бы ужасными они ни были, не больше объясняют природу зла, чем самые высокие деяния святых - величие Бога. Когда мы в семинарии приступили к изучению книги одного публициста-франкмасона прошлого века - если не ошибаюсь, Лео Таксиля, - которая преподносилась читателю как "Тайные записи духовников" (что было впрочем, ложью), нас прежде всего поразило, до чего удручающе скудны возможности, которыми располагает человек, чтобы, не скажу даже - оскорбить, но просто задеть Бога, жалким образом копируя бесов... Ибо Сатана слишком жестокий хозяин; он не прикажет, как Спаситель в своей божественной простоте: "Подражайте мне!" Он не потерпит в своих жертвах сходства с собой, он допускает только, чтобы они были его грубой, гнусной, бессильной карикатурой, которой тешится, никогда не пресыщаясь, свирепая ирония Преисподней.

Мир зла недоступен, в общем, нашему пониманию. Мне даже не всегда удается представить его себе, как некий завершенный мир, вселенную в себе. Он только набросок - набросок омерзительного недоношенного творения на крайней грани бытия, таким он и пребудет вечно. Мне приходят

на ум прозрачные хляби океанских провалов. Что чудищу преступник - одним больше, одним меньше! Оно пожирает преступленье мгновенно, претворяя его тут же в свою ужасающую субстанцию, переваривает, ни на миг не выходя из состояния вечной, зловещей неподвижности. Но историки, моралисты, даже философы не видят ничего, кроме преступника, не хотят заглянуть глубже, они реконструируют зло по образу и подобию человека. У них нет ни малейшего представленья о зле, как таковом, об этой исполинской засасывающей пустоте, небытии. Ибо если род человеческий обречен погибнуть, он погибнет от омерзения, от уныния. Человеческая личность будет постепенно разрушена изнутри, подобно тому, как дерево разрушается невидимым грибком, который за несколько дней превращает дубовую балку в пористое вещество, без труда протыкаемое пальцем. Моралист станет разглагольствовать о страстях, государственный деятель - плодить полицейских и чиновников, воспитатель предлагать свои программы, и все они будут пускать на ветер сокровища в тщетных усилиях замесить тесто, в котором уже нет дрожжей.

(Взять, к примеру, хотя бы эти всемирные

войны, на первый взгляд свидетельствующие о необыкновенной активности человека, меж тем как на деле они изобличают, напротив, его растущую апатию... Кончится все это тем, что на бойню будут регулярно отправлять огромные покорные стада.)

Нам говорят, что Земля, просуществовавшая миллионы столетий, еще совсем молода, как и на первых стадиях своего планетарного развития. Вот и зло тоже только начинает свой путь.

Господи, я переоценил свои силы. Ты поверг меня в отчаяние, бросил, как бросают в воду новорожденного котенка, еще слепого.

Кажется, ночь никогда не кончится. Воздух снаружи так тих, так чист, что каждые пятнадцать минут до меня отчетливо доносится бой башенных часов мориенвальской церкви, в трех километрах отсюда... Знаю, уравновешенный человек только усмехнулся бы, глядя, как я томлюсь тоской, но разве можно совладать с предчувствием?

Как мог я ее отпустить? Почему не окликнул?..

Письмо было здесь, оно лежало на моем столе. Я нечаянно вытащил его из кармана вместе с другими бумажками. Странная, непонятная вещь: я о нем забыл. Мне, впрочем, приходится

сделать над собой огромное усилие воли, сосредоточить все свое внимание, чтобы заглянуть в себя и восстановить тот неодолимый импульс, который заставил меня произнести эти слова, до сих пор стоящие в моих ушах: "Дайте мне ваше письмо". А, может, я и не говорил этого? Не знаю. Возможно, мадемуазель, мучимая страхом, угрызениями совести, подумала, что не в состоянии дольше хранить свой секрет, и это побудило ее протянуть мне письмо. Остальное - дело моего воображения...

Бросил письмо в огонь, не читая. Глядел, как оно горит. Уголок листа вырвался из пожираемого пламенем конверта и тут же почернел. На миг светлые буквы проступили на черном, и мне показалось, я отчетливо увидел: "Господу..."

Снова начались боли в желудке, чудовищные, нестерпимые. Сопротивляюсь всеми силами желанью кинуться наземь и кататься, рыча по-звериному. Одному Богу ведомо, как я мучаюсь. Но ведает ли он?

(NB. Эта последняя фраза, написанная на полях, была зачеркнута.)

Под первым попавшимся предлогом - якобы чтобы получить плату за поминальную службу, которую г-жа графиня заказывает каждые три

месяца по умершей родне, - посетил сегодня утром замок. Я был так взволнован, что надолго задержался у входа в парк, глядя, как старик Кловис, садовник, вяжет, по своему обыкновению, хворост. От его спокойствия мне полегчало.

Слуга на несколько минут замешкался, и я вдруг с ужасом вспомнил, что г-жа графиня расплатилась по счету еще месяц назад. Что я скажу ей? Через полуоткрытую дверь мне был виден стол, накрытый для завтрака, от которого, по-видимому, только что встали. Я стал считать чашки, но цифры путались у меня в голове. Г-жа графиня уже несколько минут наблюдала за мной своими близорукими глазами, стоя в дверях гостиной. Мне показалось, что она пожала плечами, но беззлобно. Это могло означать: "Бедняга! Опять он в своем репертуаре, его не переделаешь..." - или что-нибудь в том же духе.

Пройдя через зал, мы вошли в небольшую комнату. Она указала мне на стул, но я этого не заметил, в конце концов, она сама подвинула этот стул ко мне. Я устыдился собственного малодушия.

- Я пришел поговорить с вами о вашей дочери, - вымолвил я.

Минуту мы оба молчали. Нет сомнения, что

среди всех творений, над которыми день и ночь бдит в доброте своей божественное провиденье, я был одним из самых заброшенных, самых несчастных. Но всякое самолюбие во мне будто угасло. Г-жа графиня уже не улыбалась.

- Я вас слушаю, говорите, не бойтесь, полагаю, мне известно гораздо больше, чем вам, об этом бедном ребенке.

- Сударыня, - снова начал я, - Господь Бог ведает тайны души, только он один. Людям, даже самым проницательным, свойственно заблуждаться.

- А вы? (Она ворошила горящие угли и делала вид, что полностью этим поглощена.) Себя вы считаете проницательным?

Возможно, она хотела уязвить меня. Но я в эту минуту был не способен почувствовать себя оскорбленным. Во мне, как правило, берет надо всем верх чувство нашего бессилия - бессилия, присущего нам всем, жалким существам, чувство нашей непреодолимой слепоты, и сейчас оно было сильнее, чем когда-либо, оно, как тиски, сжимало мое сердце.

- Сударыня, - сказал я, - как бы высоко ни ставило человека богатство и происхождение, он всегда чей-то слуга. Я слуга всех. Пожалуй, слово "слуга" еще чересчур благородно для такого

жалкого, заурядного священника, как я, мне следовало бы сказать: "Я вещь, которая принадлежит всем", или нечто еще более ничтожное, если угодно Богу.

- Что может быть ничтожнее вещи?

- Есть вещи бросовые, вещи, вышвыриваемые на свалку, так как ими уже нельзя пользоваться. И если, к примеру, вышестоящие сочли бы, что я не гожусь для исполнения тех скромных обязанностей, которые были мне доверены, я был бы такой бросовой вещью.

- Если вы такого мнения о себе самом, я нахожу с вашей стороны весьма неосторожным притязать...

- Я ни на что не притязаю, - ответил я. - Эта кочерга в ваших руках только орудие. Если бы Господь Бог даровал ей ровно столько разума, сколько требуется, чтобы она сама шла к вам в руки, когда понадобится, она была бы примерно тем, чем являюсь я для вас всех, тем, чем я хотел бы быть.

Она улыбнулась, хотя за этой улыбкой, безусловно, не было ни веселья, ни иронии. Я, впрочем, был изумлен собственным спокойствием. Может, оно контрастировало со смирением, звучавшим в моих словах, и это заинтриговало,

смутило ее?.. Она вздохнула, искоса поглядев на меня.

- Что же вы хотите сказать о моей дочери?

- Вчера она была у меня в церкви.

- В церкви? Вы меня удивляете. Дочерям, которые восстают против родителей, в церкви не место.

- Церковь принадлежит всем, сударыня.

Она снова посмотрела на меня, на этот раз прямо в лицо. Глаза ее, казалось, еще улыбались, но изгиб рта выражал удивленье, недоверие, невыразимое упрямство.

- Эта маленькая интриганка обвела вас вокруг пальца.

- Не ввергайте ее в отчаяние, - сказал я. - Господь это запрещает.

На какое-то мгновение я ушел в себя. Дрова шипели в камине. Через открытое окно, сквозь муслиновые занавеси, виднелась огромная лужайка, окаймленная темной стеной сосен, и над ней - безмолвное небо. Это напоминало пруд со стоячей водой. Слова, которые я только что произнес, ошеломили меня самого. Они были так далеки от того, о чем я думал еще четверть часа назад! И я чувствовал всю их непоправимость, теперь я должен был идти до конца. Да и женщина,

сидевшая передо мной, тоже вовсе не походила на ту, которую я себе представлял.

- Господин кюре, - заговорила вновь она, - я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, в самых лучших даже. И, поскольку вы сами охотно признаете свою неопытность, я не стану на ней останавливаться. Впрочем, есть обстоятельства, в которых мужчина, опытен он или не опытен, все равно ничего не поймет. Только женщины способны глядеть на них прямо. Вы, мужчины, видите лишь то, что на поверхности. А бывает, что смута...

- У всех смут - один отец, и это - отец лжи.

- Смута смуте рознь.

- Конечно, - сказал я, - но зато мы знаем, что порядок - един, и в основе его - Милосердие.

Она расхохоталась, злобно, ожесточенно.

- Я, разумеется, не ждала... - начала она. Я думаю, она прочла в моих глазах удивленье, жалость, потому что тотчас взяла себя в руки.

- Что вам известно? Что она вам рассказала? Молодые девицы вечно чувствуют себя несчастными, непонятыми. И всегда находятся простаки, которые им верят...

Я смотрел ей прямо в глаза. Как только я осмелился говорить с ней таким тоном?

- Вы не любите свою дочь, - сказал я.

- Вы не смеете!..

- Сударыня, Господь Бог свидетель, я шел сюда утром с намерением быть полезным вам всем. И я слишком глуп, чтобы заранее все обдумать. Вы сами продиктовали мне эти слова, и я сожалею, что они вас оскорбили.

- Вы что же, полагаете, вам дана власть читать в моем сердце?

- Думаю, да, - ответил я. Я испугался, как бы она не вышла из терпенья, не изругала меня. Ее серые глаза, обычно такие мягкие, потемнели. Но она опустила голову и принялась чертить круги в золе кончиком кочерги.

- Знаете ли вы, - сказала она наконец очень мягко, - что те, кто поставлены над вами, строго осудили бы ваше поведенье?

- Те, кто поставлены надо мной, могут сказать, что я действовал не так, как должно, если сочтут это нужным, это их право.

- Я вас знаю, вы хороший молодой священник, не тщеславный, не честолюбивый, у вас нет, конечно, склонности к интригам, вас не иначе как подучили. Этот тон... эта самоуверенность... Право, мне кажется, я брежу! Ну, скажите начистоту: вы считаете меня дурной матерью, мачехой?

- Я не позволяю себе судить вас.

- О чем же разговор?

- Я не позволяю себе судить также и мадемуазель. Но у меня есть опыт страдания, я знаю, что это такое.

- В вашем возрасте?

- Возраст тут ни при чем. Я знаю также, что у страдания есть свой язык, страдание не следует ловить на слове, осуждать за какое-нибудь слово, страдание готово проклясть все - общество, семью, родину, самого бога.

- Вы что же - одобряете это?

- Я не одобряю, я пытаюсь понять. Священник - как врач, он не должен пугаться ран, нарывов, гноя. Душевные раны всегда источают кровь и гной, сударыня.

Она вдруг побледнела и сделала движенье, чтобы встать.

- Вот почему я дал мадемуазель выговориться, да я и не имел права не выслушать ее. Священник внимает только страданию, если оно подлинно. Что за важность, в какие слова оно облекается? И будь они даже ложью...

- Вот как - для вас, что правда, что ложь, все едино. Хороша мораль.

- Я учу не морали, - сказал я.

Ее терпенью явно приходил конец, я ждал: она вот-вот даст мне понять, что разговор окончен. Ее действительно подмывало это сделать, но всякий раз, когда ее взгляд останавливался на моей унылой физиономии (я видел свое лицо в зеркале, от зеленого отсвета лужаек оно казалось еще более нелепым, еще более бескровным), можно было заметить по почти неуловимому движению подбородка, что она снова и снова собирает все свои силы, всю свою волю, чтобы убедить меня, оставив за собой последнее слово.

- Моя дочь просто-напросто ревнует к гувернантке, она вам, должно быть, нарассказала всякие ужасы?

- Я полагаю, она ревнует прежде всего к дружбе отца.

- Ревнует отца? Что же прикажете делать мне?

- Ее нужно успокоить, смягчить.

- Ну да, я должна была бы броситься ей в ноги, попросить у нее прощения?

- Во всяком случае, не дать ей отдалиться от вас, от семьи с отчаянием в сердце.

- И все же она уедет.

- Вы можете ее принудить... Бог вам судья.

Я поднялся. Она встала одновременно со мной, и я прочел в ее глазах какой-то испуг. Казалось,

она боится, что я ее покину, и в то же время борется с желаньем сказать мне все начистоту, выложить наконец свою несчастную тайну. Она была не в силах дольше хранить ее про себя. Наконец, у нее вырвалось, как раньше вырвалось у другой, ее дочери:

- Вам не понять, что я выстрадала. Вы не знаете жизни. В пять лет моя дочь уже была такой, как сейчас. Все и тотчас - вот ее девиз. У вас, священников, наивное, превратное представление о семейной жизни. Достаточно послушать вас (она засмеялась) на отпевании. Дружная семья, почитаемый отец, несравненная мать, утешительное зрелище, социальная ячейка, наша дорогая Франция и пошло, поехало... Странно не то, что вы произносите подобные слова, но что вам кажется - они кого-то трогают, вам доставляет удовольствие говорить все это. Семья, сударь...

Она вдруг умолкла, так внезапно, точно проглотила конец фразы в буквальном смысле слова. Как! Неужто передо мной была та же дама, которую я увидел в свое первое посещение замка, когда она, такая сдержанная, такая доброжелательная, задумчиво глядела из-под черных кружев, утопая в своем глубоком кресле? Даже сам ее голос настолько изменился, что я с трудом

узнавал его, в нем появилась какая-то крикливость, какой-то взвизг на последних слогах. Полагаю, она сама это чувствовала и мучилась невозможностью взять себя в руки. Я не знал, что и думать о подобной слабости в женщине, обычно так превосходно владевшей собой. Моей собственной отваге еще можно найти объяснение: я, возможно, потерял голову, я бросился вперед, закусив удила, как все робкие люди, которые, чтобы выполнить свой долг до конца, отрезают себе всякие пути к отступлению, жгут мосты. Но она? Ей было бы так легко, полагаю, выбить меня из седла! Для этого хватило бы, пожалуй, определенной улыбки.

Господи, неужели всему причиной смута в моей голове, в моем сердце? Уж не заразительна ли тоска, которая меня снедает? Последнее время я чувствую, что одного моего присутствия достаточно, чтобы выкурить грех из норы, заставить его вылезти на поверхность, показаться в глазах, на языке, в голосе... Можно подумать, что враг рода человеческого не удостаивает даже прятаться от такого хлипкого противника, как я, бросает мне в лицо вызов, смеется надо мной.

Мы стояли бок о бок. Вспоминаю, что дождь барабанил в стекла. Вспоминаю также старого

Кловиса, который, закончив работу, вытирал руки своим синим фартуком. По ту сторону прихожей слышалось звякание бокалов, постукивание убираемой посуды. Все вокруг было таким спокойным, легким, обыденным.

- Странная жертва! - заговорила она снова. - Скорее уж хищный зверюшка. Вот что она такое.

Украдкой она наблюдала за мной. Мне было нечего ответить, я промолчал. Это молчание, казалось, вывело ее из себя.

- Не понимаю, почему я поверяю вам тайны моей жизни. Но пусть так! Не стану же я вам лгать! Я и правда страстно желала сына. Он родился. Но прожил всего полтора года. Сестра уже тогда его ненавидела... Да, как ни мала она была, она его ненавидела. Что касается отца...

Ей пришлось перевести дыханье, прежде чем она смогла снова заговорить. Глаза ее были устремлены в одну точку, руки, опущенные вниз, судорожно сжимались, словно она пыталась уцепиться за что-то невидимое, найти опору. Казалось, она неудержимо скользит вниз, по какому-то откосу.

- В последний день они оба куда-то отправились. Когда они пришли домой, крошка уже умер. Они стали неразлучны. И до чего же ловка

она была! Вам это слово, естественно, кажется странным? Вы воображаете, что девочка ждет совершеннолетия, чтобы превратиться в женщину, не так ли? Священники часто наивны. Не знаю, думает ли о мыши котенок, когда играет клубком шерсти, но делает он именно то, что нужно. Мужчина, говорят, нуждается в нежности, не спорю. Но в нежности вполне определенной, единственной в своем роде, только в ней, - в той, которая соответствует его природе, для которой он рожден. Что ему за дело до искренности! И разве мы, матери, не прививаем сами мальчикам вкуса ко лжи - ко лжи, которая успокаивает их с колыбели, ободряет, баюкает, ко лжи, мягкой и теплой, как материнская грудь? Короче, я очень скоро поняла, что хозяйка в моем доме - эта девочка, что я должна примириться с ролью жертвы, быть только зрительницей, служанкой. Я, жившая лишь памятью о сыне, всюду видела одного его - натыкалась на его стул, его платьица, какую-нибудь поломанную игрушку, о, горе! Что сказать? Такая женщина, как я, не опускается до постыдного соперничества. К тому же мое горе все равно было безутешно. В самых тяжких семейных неурядицах всегда есть что-то смешное. Короче, я жила между этими двумя существами,

созданными друг для друга, хотя и необыкновенно разными, и их сочувствие ко мне неизменно сообщническое - меня выводило из себя. Да, осуждайте меня, если угодно, оно надрывало мне сердце, пропитывало его ядом, я предпочла бы, чтобы они меня ненавидели. В общем, я держалась стойко, терпела свое наказание молча. Я тогда была молода, нравилась. Когда женщина уверена в своей привлекательности, знает, что только от нее самой зависит полюбить и быть любимой, не трудно сохранить добродетель, во всяком случае, женщинам моего типа. Одной гордости было бы достаточно, чтобы не пасть. Я не отступила ни от какой из своих обязанностей. Подчас я даже чувствовала себя счастливой. Мой муж человек не высокого полета, куда там. Каким чудом Шанталь, с ее твердостью, подчас даже жестокостью оценок не поняла, что... Она ничего не поняла. Вплоть до дня, когда... Заметьте, сударь, всю мою жизнь я сносила бесчисленные измены мужа, до того грубые, до того мальчишеские, что они даже не причиняли мне боли. Впрочем, из нас двоих обманутой, конечно, была больше она, чем я!..

Она опять умолкла. Я, кажется, машинально положил ладонь на ее руку. Я не помнил себя от

удивленья, от жалости.

- Я все понял, сударыня, - сказал я. - Мне не хотелось бы, чтобы вы когда-нибудь пожалели о том, что высказали такому ничтожеству, как я, вещи, которые должно слышать только духовнику.

Она бросила на меня растерянный взгляд.

- Я скажу все, до конца, - сказала она свистящим голосом. - Вы сами этого захотели.

- Я этого не хотел!

- Нечего было тогда приходить. Вы к тому же прекрасно умеете вызывать людей на откровенность, вы, под вашим облачением, хитры, как бес. Ладно! Покончим с этим! Что сказала вам Шанталь? Попробуйте отвечать правду.

Она топнула ногой, в точности как ее дочь. Она стояла, опершись локтем о столешницу камина и сжимая в руке старинный веер, лежавший там среди других безделушек, я видел, как черепаховая ручка мало-помалу ломалась в ее пальцах.

- Она не выносит гувернантку, она никогда не выносила ничьего присутствия в доме!

Я промолчал.

- Да отвечайте же! Она сказала вам, что ее отец... Нет, не отрицайте, я читаю правду в ваших глазах. И вы ей поверили? Несчастной девчонке, которая посмела... - Она не смогла закончить фразу...

Мне кажется, мое молчание, или мой взгляд, или не знаю, что еще, исходившее от меня, - как все это грустно! - остановили ее, прежде чем ей удалось повысить тон, и, как после каждой паузы, к ней вернулся ее обычный, хотя и дрожащий от досады, голос, только чуть более хриплый, чем всегда. Думаю, собственное бессилье, поначалу просто злившее ее, в конце концов, внушило ей тревогу. Она разжала пальцы, и сломанный веер выскользнул из ее ладони, она, вспыхнув, быстро затолкала обломки под часы, стоявшие на камине.

- Я погорячилась, - начала она, но деланная мягкость интонаций звучала чересчур фальшиво. Она походила на неумелого рабочего, который, пробуя один за другим свои инструменты и не находя нужного, в ярости отбрасывает их все. - В конце концов, это вы должны говорить. Зачем вы пришли? Чего вы хотите?

- Мадемуазель Шанталь сказала мне, что скоро уедет.

- Действительно, очень скоро. Все это, впрочем, дело давно решенное. Она вам соврала. По какому праву вы препятствуете... - снова заговорила она, натянуто рассмеявшись.

- У меня нет никакого права, я хотел только

узнать ваши намерения, окончательно ли ваше решение...

- Да, окончательно. Я не нахожу, что у молодой девушки есть разумные основания считать непосильным испытанием поездку на несколько месяцев в Англию, к друзьям.

- Именно поэтому я и хотел бы договориться с вами, чтобы побудить вашу дочь дать на это согласие подчиниться.

- Подчиниться? Да вам легче будет ее убить!

- Боюсь, как бы она действительно не дошла до какой-нибудь крайности.

- До какой-нибудь крайности... как красиво вы выражаетесь! Вы намекаете, без сомнения, на то, что она покончит с собой? Меньше всего она способна на это! Да ее повергает в смятение обыкновенная ангина, она ужасно страшится смерти. Только в этом она и похожа на своего отца.

- Сударыня, - сказал я, - именно такие люди и накладывают на себя руки.

- Полно!

- Пустота притягивает тех, кто не смеет прямо взглянуть на нее, они кидаются в пропасть от страха в нее упасть.

- Вы говорите с чужого голоса, вы вычитали это из книг. Ваш собственный опыт не мог вас этому

научить. А вы сами боитесь смерти?

- Да, сударыня. Но позвольте мне быть с вами откровенным. Смерть очень трудный переход, он не для гордецов, и я меньше боюсь своей смерти, чем вашей, - сказал я, потеряв терпенье. Я и вправду видел - или мне казалось, что видел, - ее в этот момент мертвой. И образ, стоявший перед моим взором, наверно, передался ей, потому что у нее вырвался приглушенный крик, какой-то яростный стон. Она отошла к окну.

- Мой муж волен держать здесь, кого желает. У гувернантки к тому же нет средств, мы не можем выбросить ее на улицу ради прихоти наглой девчонки! Она и на этот раз не смогла продолжать в том же тоне, голос ее дрогнул. Возможно, мой муж был по отношению к ней слишком... слишком внимателен, слишком фамильярен. Мужчины в его возрасте нередко поддаются сентиментальным порывам или считают, что движимы ими... - Она вновь умолкла. - А если мне это в конце концов безразлично! Чего уж! После того как я вынесла столько нелепых унижений за эти годы - он изменял мне со всеми горничными, девками самого низкого пошиба, отребьем в полном смысле слова, - неужто мне теперь, когда я уже старая женщина, уже смирилась с этим,

открыть глаза, бороться, рисковать - и ради чего? Или с гордостью моей дочери следует считаться больше, чем с моей собственной? Почему бы ей, в свою очередь, не вытерпеть то, что вытерпела я?

Она произнесла эту последнюю, страшную фразу, не повышая голоса. Стоя в амбразуре огромного окна, опустив одну руку и комкая в другой, поднятой над головою, муслин занавесей, она бросала мне эти слова, как будто выплевывала жгучий яд. Сквозь стекла, мокрые от дождя, я видел парк, такой благородный, такой покойный, величественные контуры лужаек, старые, торжественные деревья... Конечно, я должен был чувствовать к этой женщине только жалость. Но хотя обычно я без труда принимаю на себя вину другого, разделяю стыд, контраст этого мирного жилища и его постыдных тайн вызывал во мне протест. Передо мной было не столько даже людское безумие, сколько упрямство, изворотливость, поддержка, которую человек, на глазах у Бога, исподтишка оказывает всем силам соблазна и смерти. Как! Невежество, болезни, нищета пожирают миллионы невинных, а когда провиденье чудом создает приют, где может наконец расцвести мир, туда ползком пробираются страсти и, едва угнездившись, принимаются

выть по-звериному день и ночь...

- Берегитесь, сударыня, - сказал я.

- Беречься? Кого? Чего? уж не вас ли? Не будем драматизировать. То, что вы слышали, я сказала вам первому.

- Вы не говорили об этом даже вашему духовнику?

- Духовник тут ни при чем. Это чувства, над которыми я не властна. Да я никогда и не руководствовалась ими в своем поведении. Мой домашний очаг, господин аббат, очаг - христианский.

- Христианский! - вскричал я: это слово было для меня как удар в грудь, оно пронзило меня. - Разумеется, сударыня, вы принимаете здесь Христа, но что вы с ним делаете? Он ведь и у Каиафы тоже был.

- У Каиафы? Вы что, с ума сошли? Я не ставлю в упрек ни мужу, ни дочери, что они меня не понимают. Существуют недоразумения, которые непоправимы С ними смиряешься.

- Да, сударыня, человек смиряется с тем, чего не любит. Дьявол осквернил все, даже смирение святых.

- Вы рассуждаете как простолюдин. В каждой семье есть свои тайны. Разве будет лучше, если

мы выставим их напоказ? Многократно обманутая, я могла бы стать неверной женой. Но в моем прошлом нет ничего, за что я могу краснеть.

- Благословенны ошибки, которых мы стыдимся! Да сподобит вас Господь презирать себя!

- Странная мораль!

- Это и в самом деле мораль не мирская. Что Богу до престижа, до достоинства, до науки, - все это гроб повапленный, в котором сокрыт гниющий труп.

- Вы что же, предпочитаете скандал?

- А вы считаете бедняков глухими и слепыми? Увы, бедность слишком проницательна! Сытое брюхо провести нетрудно, оно легковерно. Но от обездоленных вы можете сколько угодно прятать ваши пороки, они учуют их издалека, по запаху. Нам уши прожужжали мерзостями язычников, но те хотя бы требовали от своих рабов только покорности, как требуют послушания от домашних животных, и когда, раз в год, в праздник сатурналий, рабы брали реванш, хозяева относились к этому с улыбкой. Тогда как вы, нынешние, злоупотребляя божественным словом, которое учит бедных душевному смирению, лукавите, хитростью похищаете то, что должны были бы принять на коленях, как небесный дар. Нет на

свете худшего соблазна, чем лицемерие сильных мира сего.

- Сильных мира сего! Да я могла бы назвать вам фермеров, которые богаче нас. Мы, мой бедный аббат, маленькие люди.

- В вас видят хозяев, господ. Власть всегда зиждется только на иллюзиях обездоленных.

- Все это пустые фразы. Обездоленным только и заботы что наши семейные дела!

- Сударыня, - сказал я ей, - существует лишь одна семья - великая человеческая семья, и ее глава - Господь наш. И вы - богатые - могли быть его возлюбленными чадами. Вспомните Ветхий завет: блага земные в нем часто служат залогом небесного расположения. Что говорить! Разве это не драгоценная привилегия - родиться избавленным от посюсторонних тягот, обращающих жизнь неимущего в однообразную погоню за хлебом насущным, в изнурительную борьбу с голодом и жаждой, с ненасытным чревом, каждый день требующим своего? Вашим жилищам надлежало быть домами мира, домами молитвы. Неужели вас никогда не волновала преданность бедных тому наивному представлению, которое они составили себе о вас? Увы, вы разглагольствуете о их жизни, не понимая, что они алчут не столько

ваших благ, сколько чего-то иного, они и сами бы не могли сказать, чего, и эти грезы скрашивают подчас чудесным образом их одиночество, - грезы о великолепии, о величии, бедные грезы, грезы бедняка, благословенные Господом Богом...

Она приблизилась ко мне, словно давая мне понять, что я должен откланяться. Я чувствовал, что мои последние слова дали ей время прийти в себя, я сожалел о них. Теперь, когда я их перечитываю, они меня смущают. Нет, я не отказываюсь от них. Но это слова человеческие, не больше. Они выражают очень глубокое, очень жестокое разочарование моего детского сердца И, разумеется, я не одинок - миллионам людей моего класса, моей породы еще суждено пережить его. Оно - составная часть наследия бедняка, одна из главных составных частей бедности, сама суть бедности, я в этом нисколько не сомневаюсь. Господь пожелал, чтобы бедный протягивал руку, нищенски выпрашивая величие, как и все остальное, а между тем он ведь сам его излучает, того не ведая.

Я взял свою шляпу, которую раньше положил на стул. Увидев, что я уже у порога, берусь за ручку двери, она сделала жест, выдававший глубокое волнение, и этот порыв всего ее существа потряс

меня. Я прочел в ее глазах непонятный страх.

- Странный вы священник, - сказала она голосом, дрожавшим от нетерпения, от нервного напряжения, - впервые такого вижу. Расстанемся хотя бы добрыми друзьями.

- Могу ли я не быть вам другом, сударыня, я ведь ваш священник, ваш пастырь.

- Слова! Что вы, наконец, знаете обо мне?

- То, что вы мне сами сказали.

- Вы хотите смутить меня, это вам не удастся. Я мыслю слишком здраво.

Я промолчал.

- В конце концов, нас ведь будут судить по нашим делам, не так ли? Какой проступок я совершила? Не спорю, мы с дочерью чужие друг другу. До сих пор мы не показывали виду. Сейчас произошел кризис. Я выполняю волю мужа. Если он обманывается... Он-то уверен, что дочь вернется к нему.

Что-то пробежало по ее лицу, она прикусила губы, но слишком поздно.

- А вы, вы верите в это, сударыня? - спросил я. Господи! Она откинула голову назад, и я увидел - да, увидел - на какое-то краткое мгновение, что признание рвется из глубин этой души, не знающей прощенья, как ни старается она его

удержать. Взгляд, застигнутый на лжи, говорил: "Да", но неодолимый порыв всего ее сокровенного существа выталкивает "нет" из полуоткрытых губ.

Мне кажется, она сама удивилась этому "нет", но даже не попыталась взять его назад. Ненависть внутри семьи ужасней всякой другой, потому что это чувство питается повседневным контактом, оно, как гнойник, мало-помалу отравляет организм, не вызывая жара.

- Сударыня, - сказал я, - вы выбрасываете из дому ребенка, и вы понимаете, что это - навсегда.

- Это зависит только от нее самой.

- Я постараюсь воспрепятствовать ее отъезду.

- Вы же ее совсем не знаете. Она слишком горда, чтобы остаться здесь, если почувствует, что к ней проявили снисходительность, она этого не вынесет.

Я потерял терпенье.

- Господь вас сломит! - вскричал я.

У нее вырвался какой-то стон, нет, не стон побежденного, который молит о пощаде, скорее вздох, глубокий вздох человека, собирающегося с силами, чтобы бросить вызов.

- Сломит? Я уже сломлена. Теперь Бог бессилен, чем еще может он меня наказать? Сына он у меня

отнял. Я больше его не боюсь.

- Бог разлучил вас с ним на время, но ваше жестокосердие...

- Замолчите!

- Ваше жестокосердие может разлучить вас с ним навсегда.

- Вы кощунствуете, Бог не мстит.

- Он не мстит, это слово человеческое, оно имеет смысл для вас одной.

- Может, скажете еще, что мой сын меня возненавидит? Сын, которого я носила, кормила!

- Вы не будете ненавидеть друг друга, вы друг друга не узнаете.

- Замолчите!

- Нет, не замолчу. Священники слишком часто молчат, и я хотел бы думать, что молчат только из жалости. Но мы малодушны. Принцип установлен, а там болтайте, что хотите. Ну и что сделали из ада вы, люди? Своего рода место вечного заключения, наподобие ваших собственных тюрем, заблаговременно уготованное для человеческой дичи, которую ваша полиция травит от сотворения мира, - для врагов общества. Вы не прочь отправить туда же богохульников и святотатцев. Но может ли здравый ум, может ли гордое сердце приять без отвращения подобный образ боже-

ственной справедливости? Когда образ ада вас стесняет, вы ничтоже сумняшеся просто отбрасываете его. Вы судите об аде по законам сего мира, а он не от мира сего. Он не от мира сего, и еще менее от мира христианского. Вечное наказание, вечное искупление - уж и то чудо, что сама мысль об этом является нам в здешней жизни, ведь едва грех изыдет из нас, достаточно знака, взгляда, немого зова, чтобы прощение ринулось на нас с небесных высот, как орел. А все потому, что распоследний из людей, пока он жив, даже если думает, что не любит, еще способен полюбить. Сама ненависть лучится, и то, что мы именуем отчаянием, для самого непритязательного из бесов - светозарное, победное утро. Ад, сударыня, - не любить. Для вас выражение "не любить" звучит банально. Для живого человека не любить значит любить меньше, полюбить другого. Способность любить кажется нам неотделимой от нашей сути, от самой нашей сути - понимание это ведь тоже своего рода любовь - ну, а что если ее можно все же вовсе утратить? Не любить, не понимать - и тем не менее жить, вот что чудовищно! Всеобщее заблуждение состоит в том, что мы приписываем таким, покинутым богом существам что-то свое, человеческое, нашу вечную подвижность,

в то время как они - вне времени, вне движенья, окаменели навсегда. Увы! Да подведи нас за руку сам Бог к одному из этих скорбных созданий, и будь оно нам в прошлом даже самым дорогим другом, о чем бы мы стали теперь с ним говорить и на каком языке? Разумеется, если человек, нам подобный, пусть и самый ничтожный, пусть негодяй из негодяев, брошен живым в геенну огненную, я готов разделить его судьбу, я бросился бы отбивать его у палача. Разделить его судьбу!.. Беда-то в том, невообразимая беда этих охваченных пламенем камней, прежде бывших людьми, в том и состоит, что им уже нечего разделить.

Мне кажется, я довольно точно передаю свои слова, и, возможно, в чтении они даже впечатляют. Но пробормотал я все это, наверняка, так невнятно, так несвязно, что моя тирада должна была показаться нелепой. Меня едва хватило на то, чтобы членораздельно выговорить все до конца. Я был выпотрошен. Увидь меня кто-нибудь в эту минуту - привалившегося к стене, мнущего пальцами шляпу - перед этой властной женщиной, я был бы сочтен за провинившегося, который тщетно пытается оправдаться. (Нет сомненья, я и в самом деле был та ков.) Она глядела на меня с необыкновенным вниманием.

- Нет проступка, - сказала она хрипло, - который давал бы право...

Мне казалось, я слышу ее сквозь густой туман, приглушающий звуки. И в то же время мною овладевала печаль, неизъяснимая печаль, против которой я совершенно бессилен. Быть может, это было величайшим искушением в моей жизни. И в эту минуту Бог пришел мне на помощь: я вдруг ощутил на своей щеке слезу. Одну-единственную слезу - как случается видеть на лицах умирающих в последний миг их земных страданий. Она смотрела, как стекает эта слеза.

- Вы меня слышали? - спросила она. - Вы меня поняли? Я говорила вам, что нет на свете такого проступка...

Я признался, что нет, не слышал. Она не отрывала от меня глаз.

- Передохните минутку, вы не в состоянии сделать и десяти шагов, у меня больше сил, чем у вас. Право же, все это совсем не похоже на то, чему нас учат. Это - грезы, поэмы. Я не считаю вас дурным человеком. Я уверена, вы сами, подумавши, устыдитесь этого гнусного шантажа. Ничто не может разлучить нас - в этом ли мире, в ином ли - с тем, кого мы любили больше самих себя, больше жизни, больше спасения.

- Сударыня, - сказал я, - даже в этом мире достаточно пустяка, какого-нибудь ничтожного кровоизлияния в мозг, да и того меньше, и мы уже не узнаем людей, к которым были горячо привязаны.

- Смерть не безумье.

- Мы действительно знаем о ней еще меньше.

- Любовь сильнее смерти, это написано в ваших книгах.

- Любовь не мы придумали. У нее свой строй, свой закон.

- Господь Бог повелевает любовью.

- Нет, он любовью не повелевает, он сам любовь. Если вы хотите любить, не ставьте себя вне любви.

Она положила обе руки на мою, наши лица почти соприкасались.

- Это нелепо, вы говорите со мной как с преступницей. Неверность моего мужа, равнодушие моей дочери, все это для вас - ничто, ничто, ничто!

- Сударыня, - сказал я, - я говорю с вами как священник, как велит мне голос свыше. Напрасно вы принимаете меня за человека, витающего в облаках. Как я ни молод, мне отлично известно, что есть немало семей, подобных вашей или еще более несчастных. Но зло, которое может

пощадить одних, других убивает, и мне кажется, Господь сподобил меня увидеть опасность, которая угрожает вам, да, вам, вам одной.

- Иными словами, всему виной я.

- О сударыня, никто не может предвидеть, к чему, в итоге, приведет один дурной помысел. У дурных та же судьба, что и у хороших: на тысячу развеянных ветром, заглушенных сорняками, высушенных зноем приходится один, который пускает корни. Семена зла и добра носятся повсюду. Все горе в том, что людское правосудие, как правило, вмешивается слишком поздно: оно наказывает и клеймит проступки, однако не в его возможностях пойти дальше, глубже лица, их совершившего. А наши ужасные дурные помыслы отравляют воздух, которым дышат другие, и зародыш какого-нибудь преступления, зароненный в душу несчастного, помимо его воли, никогда бы не вызрел в плод, если бы не это тлетворное начало.

- Все это бредни, чистые бредни, больные грезы! (Она была смертельно бледна.) Если так думать, невозможно жить.

- Я в этом не сомневаюсь, сударыня. Если бы Бог наделил нас ясным представлением о солидарности, связующей всех нас, как в добре, так и во зле,

мы бы не могли жить, это сущая правда.

Читая эти строки, можно, конечно, подумать, что я говорил не наобум, а действовал продуманно. Клянусь, никакого плана у меня не было. Я просто отбивался, как мог.

- Не соблаговолите ли сказать, какой дурной помысел я утаила, произнесла она после долгой паузы, - что это за червь в сердцевине плода?..

- Вы должны смириться с... волей божьей, открыть ваше сердце. - Я не решался говорить ей прямо о преставившемся младенце, и разговор о смирении, казалось, ее удивил.

- Смириться? С чем?..

И тут вдруг она поняла.

Мне случалось сталкиваться с закоренелыми грешниками. Большинство защищается от Бога, противопоставляя ему своего рода слепое чувство, и когда видишь на лице старца, оправдывающего свой порок, глуповатое и в то же время упрямое выражение капризничающего ребенка, это надрывает сердце. Но сейчас передо мной был бунт, подлинный бунт, озаривший своим пламенем человеческое лицо. Он появился не во взгляде, остановившемся и словно затуманенном, не в выражении рта, и даже голова ее не только не была гордо поднята, но напротив, кло-

нилась к плечу, словно придавленная незримым бременем... Нет, показная наглость богохульства ничто перед этой трагической простотой! Казалось, внезапная вспышка, взрыв воли отнял у нее все силы, оставив тело недвижным, бесстрастным, опустошенным непомерной затратой жизненной энергии.

- Смириться? - сказала она мягким голосом, леденившим сердце. - Что вы понимаете под этим? Разве я не смирилась? Если бы я не смирилась, я бы умерла. Смирение! Да я и так слишком смиренна! Я стыжусь этого. (Ее голос, хотя она и не повышала тона, звучал странно, с каким-то металлическим звоном.) Мне не раз прежде случалось завидовать слабоумным женщинам, которые так и не сумели выкарабкаться. Но такие, как я, замешаны крепко, из песка и извести. Чтобы заставить это несчастное тело забыть, мне следовало убить его. Однако не всякий, кто жаждет смерти, способен покончить с собой.

- Я говорю не о таком смирении, - сказал я, - вы отлично это знаете.

- О каком же? Я хожу к обедне, говею на пасху, я могла бы вовсе не выполнять обрядов, я думала даже об этом. Но я сочла это ниже своего достоинства.

- Сударыня, уж лучше бы вы богохульствовали, чем говорить такое. В ваших словах вся гордыня ада.

Она молчала, уставившись в стену.

- Как смеете вы так говорить о Боге? Вы закрываете ему ваше сердце, и вы...

- Я хоть жила спокойно. Я бы умерла от этою...

- Так не может продолжаться.

Она взвилась, как змея.

- Бог сделался мне безразличен. Какой вам прок, глупец, если вы вынудите меня признать, что я его ненавижу?

- Вы уже не ненавидите его, - сказал я. - Ненависть - это равнодушие и презрение. А вы теперь противостоите друг другу, лицом к лицу. Он и вы.

Она по-прежнему глядела в одну точку, не отвечая.

В этот момент меня охватил неизъяснимый ужас. Все, что я только что сказал, все, что она сказала мне, весь этот нескончаемый диалог показался мне лишенным всякого смысла. И какой разумный человек расценил бы его иначе? Я, безусловно, поддался обезумевшей от ревности и гордыни девушке, мне показалось, я вижу в ее глазах мысль о самоубийстве, жажду покончить с

собой, вижу так же явственно, так же отчетливо, как видишь слово, написанное на стене. Но то был внутренний толчок, непроверенный разумом, подозрительный уже в силу самой своей необузданности. И не было никаких сомнений, что женщина, стоявшая сейчас передо мной, как перед судьей, действительно прожила много лет в ужасном оцепенении отверженных душ, которое является самой жестокой, самой неисцелимой, самой бесчеловечной формой отчаяния. Но как раз к этому недугу священник и не вправе подойти без трепета. Я хотел с маху разогреть это оледенелое сердце, озарить беспощадным светом все, вплоть до самого дальнего закоулка совести, которую Господь в своем милосердии пожелал, быть может, оставить пока в спасительном сумраке. Что сказать? Что сделать? Я чувствовал себя как человек, который единым духом взобрался на головокружительную высоту и, открыв глаза остановился, ослепленный, не способный ни подняться выше, ни спуститься вниз.

И тут - нет! Этого невозможно выразить словами, - в то время как я изо всех сил боролся с сомнением, со страхом, ко мне вернулся дар молитвы. Пусть меня поймут правильно: я не переставал молиться с самого начала этого необыкновен-

ного разговора, молиться в том смысле, в каком понимают это слово легкомысленные христиане. Несчастное животное может делать дыхательные движения и под пневматическим колоколом, но что толку! И вдруг воздух вновь со свистом врывается в его бронхи, разглаживает одну за другой складочки тонкой легочной ткани, уже успевшей скукожиться, артерии вздрагивают под напором тарана красной крови - и все его существо напрягается, как корабль, когда паруса, оглушительно грохоча, полнятся ветром.

Она упала в кресло, зажав голову руками. Разорванная мантилья висела на ее плече, она сняла ее мягким движением, мягким движеньем бросила на пол. Я не терял из виду ни одного ее жеста, но в то же время меня не покидало странное ощущение, что мы оба уже не в этом унылом салоне, что комната пуста.

Я увидел, как она вынула из-за выреза блузки медальон, висевший на простой серебряной цепочке. И все с той же мягкостью, которая была ужасней, чем любая ярость, поддела ногтем крышку - стекло отскочило на ковер, она не обратила на это внимания. На кончиках ее пальцев осталась светлая прядь, словно золотистая стружка.

- Вы мне клянетесь... - начала она. Но тотчас прочла в моих глазах, что я все понял и клясться не стану.

- Дочь моя, - сказал я (это обращение само сорвалось с моих губ), - с Господом Богом не торгуются, предайтесь ему, не ставя никаких условий, отдайте ему все, он воздаст вам сторицею. Я не пророк, не кудесник, и оттуда, куда все мы идем, вернулся один он.

Она не возражала, только склонилась еще ниже, я видел, как при каждом моем слове вздрагивают ее плечи.

- Я могу утверждать лишь одно, - нет царства живых и царства мертвых, есть только царство божие, и все мы, живые и мертвые, принадлежим ему.

Я произнес эти слова, мог бы произнести и другие, сейчас это не имело ни малейшего значения! Мне казалось, что чудесная рука разверзла какую-то незримую стену, и в эту брешь ворвался покой, величаво подымаясь округ, как вешние воды в разлив - покой, неведомый земле, сладостный покой мертвых.

- Это мне ясно, - сказала она поразительно изменившимся, но спокойным голосом. - Знаете, о чем я думала минуту назад? Быть может, мне

не следует вам в этом признаваться? Так вот, я говорила себе: "Если бы где-нибудь, в этом мире или в ином, было место, где нет Бога - пусть я даже должна там вынести тысячу смертей, умирать ежесекундно, вечно - я унесла бы туда моего (она не осмелилась произнести имя преставившегося младенца)... и я сказала бы Богу: "Ну, насыться! Раздави нас!" Вам это, конечно, кажется чудовищным?

- Нет, сударыня.

- То есть как нет?

- Я и сам, сударыня... Мне тоже случается...

Я не мог договорить до конца. Передо мной стоял образ бедного доктора Дельбанда, он смотрел мне в глаза своим старым, усталым, неколебимым взглядом, в котором я боялся читать. И я слышал, мне казалось, что я слышу в эту самую минуту также стон, вырывающийся из груди стольких людей, стенания, рыдания, хрип - о бедное наше человечество, его отчаянный шепот под гнетом!

- Полноте! - сказала она раздумчиво. - Возможно ли такое?.. И даже дети, невинные малютки с верным сердцем... Вы хоть видели, как они умирают?

- Нет, сударыня.

- Он послушно сложил ручки, он молился так серьезно... я только что пыталась дать ему попить, на его обметанных жаром губах еще была капля молока...

Она дрожала, как лист на ветру. Мне казалось, я один, один стою между Богом и этим созданием, преданным пытке. Грудь моя разрывалась. И все же Господь Бог сподобил меня устоять.

- Сударыня, - сказал я, - будь даже наш Бог богом язычников или философов (для меня это одно и то же) и укройся он в своем небесном чертоге, наши горести все равно низвергли бы его оттуда. Но вы знаете, что Спаситель сам снизошел к нам. Вы можете грозить ему кулаком, плевать ему в лицо, стегать его бичом и в конце концов распять на кресте, что изменится от этого? Все это уже было, дочь моя...

Она не решалась смотреть на медальон, который все еще держала в руке. Я никак не мог предвидеть того, что она сделала! Она сказала мне:

- Повторите то, что вы сказали... об аде... что ад - это больше не любить.

- Да, сударыня.

- Повторите!

- Ад - это больше не любить. Пока мы живы,

мы можем тешить себя иллюзией, считать, что любим сами по себе, помимо Бога. Но мы подобны безумцам, протягивающим руки к лунному отражению в воде. Простите меня, я очень плохо выражаю свои мысли.

Она как-то странно улыбнулась, но лицо ее оставалось по-прежнему напряженным, улыбка была мрачная. Она зажала медальон в кулаке и другой рукой прижала этот кулак к груди.

- Каких слов вы ждете от меня?

- Говорите: да приидет царствие твое.

- Да приидет царствие твое.

- Да будет воля твоя.

Внезапно она встала, все так же прижимая кулак к груди.

- Сударыня, - вскричал я, - вы твердили эти слова тысячи раз, но теперь нужно сказать их от глубины души.

- Я ни разу не читала "Отче наш" с тех пор... с тех пор, как... Да вы и сами это знаете, вы все знаете еще прежде, чем вам скажешь, - заговорила она снова, пожав плечами, на этот раз гневно. Потом она сделала жест, смысл которого я понял лишь потом. Лоб ее блестел от пота. - Я не могу, простонала она, - мне кажется, я теряю его во второй раз.

- Царствие, о пришествии которого вы молите, это также и ваше царствие и его.

- Пусть же оно приидет! - Она посмотрела мне в глаза, и мы так стояли несколько секунд, потом она сказала: - Я вверяюсь вам.

- Мне!

- Да, вам. Я оскорбила Бога, должно быть, я его ненавидела. Да, теперь я понимаю, что так и умерла бы с этой ненавистью в сердце. Но вверяюсь я только вам.

- Я слишком ничтожный человек. Вы положили бы золотой в дырявую руку.

- Еще час тому назад моя жизнь казалась мне упорядоченной, все было на своем месте, вы не оставили от нее камня на камне.

- Такой и отдайте ее Богу.

- Я хочу отдать все или ничего, так уж мы, женщины, созданы.

- Отдайте все.

- Нет, вам меня не понять, вы думаете, я уже смирилась. Но того, что еще уцелело во мне от гордыни, хватило бы, чтобы проклясть вас!

- Отдайте и вашу гордыню, вместе со всем остальным, отдайте все.

Я еще не договорил, когда увидел в ее глазах какой-то неизъяснимый свет, но было уже слиш-

ком поздно, чтобы я мог чему бы то ни было помешать. Она швырнула медальон в горящие поленья. Я бросился на колени, сунул руку в огонь, я не почувствовал даже ожога. На мгновение мне показалось, что я держу в пальцах светлую прядку, но она ускользнула от меня и упала на пламенеющие угли. За моей спиной стояла такая ужасная тишина, что я не смел обернуться. Суконный рукав моей сутаны сгорел до локтя.

- Как вы смели! - пробормотал я. - Что за безумье!

Она отступила к стене, прильнула к ней спиной, руками.

- Я прошу у вас прощения, - сказала она униженно.

- Вы что же - считаете Бога палачом? Он желает, чтобы мы жалели себя. Впрочем, наши горести принадлежат не нам, он возлагает их на себя, приемлет их в сердце свое Мы не вправе намеренно искать страданий, чтобы бросить им вызов, попрать их. Понимаете?

- Что сделано, то сделано, теперь я бессильна это изменить.

- Да будет мир с вами, дочь моя, - сказал я и благословил ее.

Мои пальцы немного кровоточили, кожа ме-

стами вздулась. Она разорвала носовой платок и перевязала мне руку. Мы не проронили больше ни слова. Мир, который я призвал на нее, снизошел на меня. Так просто, так буднично, что ничье присутствие уже не могло его смутить. Да, мы так незаметно вернулись к повседневной жизни, что самому внимательному свидетелю не удалось бы заметить сокровенной тайны, которая уже принадлежала не нам.

Она попросила, чтобы я назавтра выслушал ее исповедь. Я взял с нее слово никому не рассказывать того, что было между нами, и сам обещал хранить молчание.

- Что бы ни случилось, - сказал я. Произнося эти слова, я почувствовал, как сжалось мое сердце, и снова меня охватила печаль. Да сбудется воля божья.

Я ушел из замка в одиннадцать и вынужден был тут же поспешить в Домбаль. На обратном пути я остановился на лесной прогалине, откуда открывается вид на равнину, на длинные пологие склоны, почти незаметно сбегающие к морю. В деревне я купил немного хлеба и масла и с удовольствием поел. Как всегда, после решительных жизненных испытаний, я ощущал какую-то притупленность, вялость мысли, что не так уж

неприятно и рождает странную иллюзию легкости, счастья. Какого счастья? Не знаю, как сказать. Это какая-то безликая радость. То, что должно было произойти, произошло, минуло, вот и все. Вернулся я поздно, встретив по дороге старого Кловиса, который вручил мне пакет от г-жи графини. Я долго не решался его открыть, хотя знал, что в нем. Это был маленький медальон, теперь уже пустой, висевший на порванной цепочке.

Там было также письмо. Вот оно. Странное письмо.

"Господин кюре, не думаю, чтобы вы могли вообразить состояние, в котором меня оставили, к такого рода психологическим тонкостям вы, должно быть, совершенно безразличны. Что вам сказать? Безутешная память о малютке отгораживала меня от всех, я жила в ужасающем одиночестве, мне кажется, от этого одиночества теперь избавило меня другое дитя. Надеюсь, вас не покоробит, что для меня вы - дитя. Вы и есть дитя. Да сохранит вас Господь таким навсегда!

Я спрашиваю себя, что же вы сделали, как вы это сделали. Или, вернее, я больше себя ни о чем не спрашиваю. Все хорошо. Я не верила, что могу смириться. И в самом деле, то, что пришло ко мне, не смирение. Смирение не в моей натуре,

предчувствие не обманывало меня на этот счет. Я не смирилась, я счастлива. Я ничего не хочу.

Не ждите меня завтра. Я пойду исповедаться к аббату Х., как обычно. Я постараюсь быть предельно искренней, но также и предельно сдержанной, не так ли? Как все просто! Я скажу: "Я сознательно грешила против Надежды на протяжении одиннадцати лет, ежеминутно, ежечасно", - и этим все будет сказано. Надежда! Я считала, что она умерла у меня на руках тем страшным вечером, в тот ветреный, скорбный март... Ее последнее дыханье коснулось моей щеки, я точно знаю, в каком именно месте. И вот она возвращена мне. Не одолжена, подарена. Моя надежда, моя собственная надежда, не больше похожая на ту, которую называют этим именем философы, чем слово "любовь" похоже на любимое существо. Эта надежда - плоть от моей плоти. Это трудно выразить. Тут нужны младенческие слова.

Я хотела высказать вам все это сегодня же. Так было нужно. И больше мы не будем к этому возвращаться, не правда ли? Никогда. Какое сладкое слово. Никогда. Написав, я тихонько произнесла его вслух, мне кажется, оно каким-то чудесным, несказанным образом выражает тот покой, который вы мне даровали".

Я сунул это письмо в свое "Подражание Иисусу Христу", старую книгу, принадлежавшую еще маме и до сих пор хранящую аромат лаванды - той лаванды, пакетики которой она клала в белье, по тогдашней моде. Сама она не часто ее читала из-за мелкого шрифта и тонкой бумаги - бедные мамины пальцы, заскорузлые от стирки, с трудом переворачивали страницы.

Никогда... Никогда больше... Почему?.. И вправду, есть что-то сладостное в этом слове.

Клонит ко сну. Чтобы дочитать до конца вечерние молитвы, пришлось ходить взад-вперед по комнате, глаза закрывались сами собой. Не знаю, счастлив ли я.

Половина седьмого.

Графиня умерла сегодня ночью.

Первые часы этого ужасного дня я провел в состоянии, близком к бунту. Бунтуешь от непонимания, а я не понимаю. Человек может вынести испытания, которые поначалу кажутся непосильными, - кто из нас знает свои силы? Но в этой беде я чувствовал себя нелепым, бесполезным, я только без толку путался у всех под ногами. Постыдное уныние, с которым я не мог справиться, проступало на моем лице невольной гримасой. В зеркалах и оконных стеклах я видел его ис-

каженным, казалось, не столько даже горем, сколько страхом, тоскливо перекошенный рот, моливший о жалости и словно осклабившийся в отвратительной улыбке. Господи!

Пока я бессмысленно суетился, все делали, что могли и в конце концов оставили меня в одиночестве. Г-н граф мною вообще не занимался, м-ль Шанталь подчеркнуто меня не замечала. Все случилось часа в два ночи. Г-жа графиня упала с кровати, сломав при падении будильник, стоявший на столике. Но обнаружили труп, естественно, много позже. Левую руку, уже отвердевшую, так и не смогли разогнуть. Г-жа графиня уже несколько месяцев недомогала, но врач не находил ничего серьезного. Очевидно, у нее была грудная жаба.

Я примчался в замок весь в поту. Сам не знаю, на что я надеялся. Чтобы переступить порог ее комнаты, мне пришлось сделать над собой усилие, страшное, противоестественное усилие, у меня лязгали зубы. Неужели я так малодушен! Лицо ее было прикрыто кисеей, я едва различил его черты, но губы, касавшиеся материи, я видел отчетливо. Мне так хотелось, чтобы на них была улыбка, непроницаемая улыбка усопших, которая так гармонирует с их неземным молча-

нием!.. Но она не улыбалась. Перекошенный рот выражал равнодушие, пренебрежение, почти презрение. Когда я поднял руку для благословения, она была словно налита свинцом.

По странной случайности накануне в замок пришли две монахини, собиравшие подаяние, и, поскольку они уже закончили свой обход, г-н граф предложил утром подвезти их до станции на машине. Так что они заночевали в замке. Обе они, такие крохотные в своих непомерно широких платьях и маленьких грубых башмаках, выпачканных грязью, сидели у гроба. Боюсь, мое поведение их изумило. То одна, то другая искоса посматривали на меня, мне никак не удавалось сосредоточиться. Меня сковал какой-то ледяной холод, и только в глубине груди жгло огнем. Мне казалось, я сейчас упаду.

Наконец, с божьей помощью, я сумел помолиться. Сколько я себя сейчас ни вопрошаю, я ни о чем не сожалею. Сожалеть мне не о чем. Не о чем? Нет, это неправда. Я ведь мог бодрствовать в эту ночь и еще несколько часов хранить ничем не замутненное воспоминанье о разговоре, который, вероятно, был для нее последним. Впрочем, к тому же и первым. Первым и последним. "Счастлив я или нет?" - писал я... Каким же я был

дураком! Теперь-то я знаю, - никогда еще мне не случалось, никогда уже не доведется изведать такую полноту бытия, как в те неизъяснимо тихие, проникнутые присутствием, взглядом, жизнью другого человека минуты, когда я, облокотясь на свой стол и держа в ладонях старую книгу, вверял ей, точно преданному и умеющему молчать другу, адресованное мне письмо. И то, что мне предстояло утратить так скоро, я сам покрыл саваном сна, темного сна, без сновидений...

Теперь все кончено. Воспоминанье о живой уже меркнет, в памяти останется, я знаю, только образ покойницы, над которой Господь простер свою руку. Что должен сберечь мой ум из всего этого стечения случайных обстоятельств, во тьме которых я пробирался ощупью, точно слепой? Господу Богу нужен был свидетель, и он избрал меня, конечно, за неимением лучшего, так кличут первого попавшегося прохожего. Только такой безумец, как я, мог возомнить, что он тут играет определенную, важную роль. Слишком большая милость уж и то, что Господь сподобил меня присутствовать при этом примирении души с надеждой, при этом торжественном бракосочетании.

Около двух часов мне пришлось уйти из замка.

Занятия законом божьим кончились гораздо позже, чем я рассчитывал, так как экзамены в самом разгаре. Мне очень хотелось провести ночь над гробом г-жи графини, но там все еще обе монахини, и вместе с ними решил бодрствовать г-н каноник де ла Мотт-Бёврон, дядя г-на графа. Я не смел настаивать. Вдобавок г-н граф, неизвестно почему, со мной демонстративно холоден, почти враждебен. Как это понять?

Господин каноник де ла Мотт-Бёврон, которого мое присутствие также явно нервирует, отвел меня на минуту в сторонку и спросил, не намекала ли чего о своем здоровье г-жа графиня в нашем вчерашнем разговоре. Я отлично понял, что это был лишь предлог, чтобы исподволь вызвать меня на откровенность. Должен ли был я говорить? Не думаю. Уж если рассказывать, так все. А тайна г-жи графини, никогда мне не принадлежавшая полностью, теперь уж не принадлежит и вовсе, точнее, навсегда у меня отнята. Разве я могу предвидеть, как использует ее слепота, ревность, может, даже ненависть? Ныне, когда ужасное соперничество потеряло всякий смысл, рискну ли я разбудить самую память о нем? Да это и не просто память, боюсь, оно еще долго пребудет живо, оно из тех, которые сама смерть не всегда

обезоруживает. К тому же, если я расскажу о выслушанных признаниях, не увидят ли в них оправдание давних размолвок? Мадемуазель молода, а я по опыту знаю, как упорны, возможно неизгладимы, впечатления юности... Короче, я ответил г-ну канонику, что г-жа графиня выразила желание, чтобы между членами семьи было восстановлено согласие.

- В самом деле? - сухо сказал он. - Вы были ее духовником, господин кюре?

- Нет. - Должен сознаться, что его тон несколько раздражал меня. - Я полагаю, она была готова предстать перед Господом, - добавил я.

Он кинул на меня странный взгляд.

Я зашел в спальню в последний раз. Монахини читали последние молитвы. Вдоль стены громоздились букеты цветов, принесенные друзьями, родственниками, которые весь день приезжали прощаться с покойной, в доме стоял от них почти веселый шум. Каждую минуту свет автомобильных фар озарял окна, слышалось поскрипывание песка на аллеях, голоса перекликавшихся шоферов, гудки машин. Но все это не мешало монотонному бормотанью монахинь, словно сучивших нескончаемую нить.

При свете свеч лицо под кисеей виднелось

яснее, чем днем. Достаточно было нескольких часов, чтобы черты его смягчились, разгладились, из-за больших кругов под опущенными веками казалось, что покойная задумчиво глядит на мир. В этом лице все еще чувствовалась гордость, спору нет, даже властность. Но оно словно наконец отвернулось от противника, которому долго бросало прямой вызов, и мало-помалу погрузилось в раздумья, нескончаемые, непостижимые. Как далеко оно ушло от нас, за пределы нашей власти! И вдруг я увидел ее бедные руки, скрещенные на груди, тонкие, длинные пальцы, куда более по-настоящему мертвые, чем лицо, и узнал отметину, царапинку, которую заметил еще накануне, когда она прижала к груди медальон. Тонкая пленочка коллодия все еще держалась на пальце. И тут, сам не знаю почему, сердце мое надорвалось. Воспоминанья о борьбе, которую она выдержала в моем присутствии, на моих глазах, об этом великом сражении за вечную жизнь, из которого она вышла обессиленной, но непобедимой, нахлынули на меня с ужасной силой - я был на грани обморока. Как же я не догадывался, что такой день не может иметь продолжения, что мы сошлись у грани незримого мира, на самом краю светозарной бездны? Почему не упали мы

в нее вместе! "Да будет мир с вами", - сказал ей я. И она приняла этот мир на коленях. Да пребудет он с нею во веки веков! Это я дал ей мир. О, диво - возможность одарить тем, чем сам не обладаешь, о, благодатное чудо наших пустых рук! Надежда, которая умерла в моем сердце, расцвела в ее душе, дар молитвы, который, как я считал, безвозвратно утерян мною, господь вернул ей, и, - как знать? может, от моего имени... Да пребудет с ней и это, да пребудет с ней все! И вот у меня отнято все, Боже, как только ты один умеешь отымать, ибо ничто не укроется от твоего грозного попечения, от твоей грозной любви.

Я отвел кисейный покров, прикоснулся пальцами к высокому чистому лбу, исполненному покоя. И тут, подле этой женщины, еще вчера стоявшей неизмеримо выше меня по своему возрасту, происхождению, состоянию, уму, я, ничтожный, заурядный священник, понял, да, понял, что такое чувство отцовства.

Чтобы выйти из замка, мне нужно было пересечь галерею. Дверь гостиной была раскрыта настежь, как и дверь столовой, где у стола суетились люди, торопливо жуя бутерброды, перед тем как уехать. Таков обычай в этих краях. Когда появлялся кто-нибудь из членов семьи, некоторые

из посетителей, застигнутые врасплох с набитыми ртами, раздувшимися щеками, прилагали огромные усилия, чтобы изобразить на своем лице печаль и сочувствие. Старые дамы показались мне особенно - я едва осмеливаюсь написать это слово оголодавшими, омерзительными. М-ль Шанталь повернулась ко мне спиной, и я слышал, проходя мимо, какой-то невнятный шепот. Мне почудилось, что говорят обо мне.

Сейчас сижу у окна. Там по-прежнему нескончаемый поток машин, глухой рокот празднества... Похороны в субботу.

С самого утра пошел в замок. Г-н граф передал мне, что горе мешает ему принять меня, но что после обеда, часа в два, г-н каноник де ла Мотт-Бёврон ко мне придет, чтобы договориться об отпевании. Как это понять?

Я так скверно выглядел, что обеспокоенные святые сестры, без моего ведома, попросили лакея принести бокал портвейна, который я выпил с большим удовольствием. Этот юноша, племянник старого Кловиса, обычно учтивый и даже подобострастный, отвечал весьма холодно на мои попытки заговорить с ним. (Правда, слуги в важных домах не терпят фамильярности, вдобавок, возможно, достаточно неуклюжей, когда речь

идет о таких людях, как я.) Но вчера он прислуживал за столом, и я подумал, что до него могли долететь некоторые высказывания. Какие?

У меня есть всего полчаса, чтобы пообедать, переодеться в теплую сутану (снова пошел дождь) и хоть немного прибрать в доме, где с некоторых пор все ужасно запущено. Мне не хотелось бы произвести неприятное впечатление на г-на каноника де ла Мотт-Бёврон, он и без того не слишком ко мне расположен. Так что у меня есть дела более неотложные, чем писать эти строки. Однако дневник необходим мне, как никогда. Только в те краткие минуты, которые я ему посвящаю, я еще ощущаю какое-то желание в себе разобраться. Размышления сделались для меня до того мучительными, память так притупилась, - я имею в виду память о недавних событиях, потому что другая!.. - воображение стало таким вялым, что я вынужден напрягать все силы, чтобы скинуть с себя какую-то смутную, вязкую одурь, и даже молитва, увы! избавляет меня от нее далеко не всегда. Стоит мне дать себе передышку, я впадаю в какую-то полудрему, которая искажает перспективу воспоминаний - все последние дни тонут в тумане, точно пейзаж, где не видать ни ориентиров, ни дорог. Если я делаю

записи аккуратно, утром и вечером, дневник как бы расставляет вехи в моем одиночестве, и иногда я даже засовываю в карман последние странички, чтобы иметь возможность перечитать их, когда во время моих однообразных и невыносимо утомительных хождений от одной деревни, приписанной к приходу, к другой, меня охватывает страх поддаться этому своего рода головокружению. Не чересчур ли много места в моей жизни занимает дневник, как таковой... Я не знаю. Бог это ведает.

Только что ушел от меня г-н каноник де ла Мотт-Бёврон. Этот священник совсем не таков, как мне представлялось. Почему не говорил он со мной прямее, откровеннее? Он, вероятно, и сам бы этого хотел, но светские люди, с их неизменной корректностью, явно себя сдерживают, боясь растрогаться.

Сначала мы договорились о деталях отпевания. Г-н граф хочет, чтобы все было прилично, но не более - таково было, как он утверждает, многократно высказанное пожелание его супруги. Покончив с этим, мы оба замолчали, довольно надолго, мне было ужасно не по себе, г-н каноник, глядя в потолок, машинально открывал и защелкивал крышку своих больших золотых часов.

- Я должен вас предуведомить, - сказал он наконец, - что мой племянник Омер (г-на графа зовут Омер, я этого не знал) желает повидаться с вами сегодня вечером, для приватного разговора.

Я ответил, что в четыре должен встретиться с причетником, чтобы развернуть драпировки, но сразу после этого приду в замок.

- Зачем же, дитя мое, вы примете его здесь. Вы же не замковый капеллан, черт побери! И я даже дам вам совет: будьте возможно сдержаннее, не позволяйте вовлечь вас в спор о ваших действиях как священнослужителя.

- О каких действиях?

Он подумал, прежде чем ответить.

- Вы виделись здесь с моей внучатой племянницей?

- Мадемуазель Шанталь приходила ко мне, господин каноник.

- У нее опасный, непокорный характер. Она, конечно, сумела вас растрогать?

- Я был с нею суров. Боюсь, скорее даже унизил ее.

- Она вас ненавидит.

- Не думаю, господин каноник, она, может, воображает, что ненавидит меня, но это не одно и то же.

- Вы полагаете, что имеете на нее какое-то влияние?

- Сейчас, конечно, нет. Но, может, она и не забудет, что такой ничтожный человек, как я, посмел однажды устоять в споре с нею и что Господу Богу не лгут.

- Она изобразила вашу встречу совсем по-иному.

- Это ее дело. Мадемуазель слишком горда, чтобы рано или поздно не устыдиться своей лжи, и это заставит ее покраснеть. Ей очень нужно почувствовать стыд.

- А вам?

- Мне? - сказал я. - Да взгляните только на мое лицо. Если Господь Бог и создал его для чего-то, то именно для оплеух, а я пока еще не получил ни одной.

В этот момент взгляд его упал на полуоткрытую кухонную дверь, и он увидел стол, все еще покрытый клеенкой, на которой были остатки моего обеда: хлеб, яблоки (мне принесли вчера корзину) и на три четверти опустошенная бутылка вина.

- Вы не очень-то заботитесь о своем здоровье?

- У меня капризный желудок, - ответил я, - он принимает только немногое - хлеб, фрукты, вино.

- Боюсь, что в вашем состоянии вино скорее вредно, чем полезно. Иллюзия здоровья - это еще не здоровье.

Я попытался ему объяснить, что это вино - старое бордо, поставляемое мне полевым сторожем. Он улыбнулся.

- Господин кюре, - начал он, как равный с равным, даже с каким-то уважительным оттенком, - вполне вероятно, что наши взгляды на то, как следует вести приход, решительно расходятся, но в этом приходе хозяин вы, вы тут в своем праве, достаточно вас послушать. Я слишком часто в своей жизни подчинялся, чтобы не составить себе представления о том, что такое подлинный авторитет, где бы я с ним ни столкнулся. Пользуйтесь своим авторитетом крайне осмотрительно. Есть души, для которых он, вероятно, непререкаем. Я старый священник, мне хорошо известно, как нивелирует характеры семинарское воспитание, нередко - увы! - низводя их до уровня всеобщей посредственности. С вами это воспитание ничего не смогло поделать. Ваша сила на том и зиждется, что вы сами не знаете, или не решаетесь отдать себе отчет в том, до какой степени не похожи на других.

- Вы смеетесь надо мной, - сказал я. Мне было

не по себе, я чувствовал, что меня пробирает какая-то странная дрожь, пронизывает страх перед этим непроницаемым взглядом, который леденил душу своей бесстрастностью.

- Дело не в том, чтобы осознавать свою власть, господин кюре, а в том, как ее употребить, ибо именно в этом весь человек. Что толку от власти, которая не используется или используется лишь наполовину? Вы, как в серьезных, так и в ничтожных случаях, пускаете в ход всю свою власть, скорее всего даже безотчетно. И это многое объясняет.

При этих словах он взял с моего письменного стола листок бумаги, придвинул к себе ручку, чернильницу. Потом подтолкнул все это ко мне.

- Мне ни к чему знать, что произошло между вами и... покойницей, сказал он. - Но я хотел бы пресечь дурацкие и, без сомнения, опасные разговоры. Мой племянник совершенно вышел из себя. Монсеньер так прост, что принимает его за важную персону. Резюмируйте в нескольких словах вашу позавчерашнюю беседу. Не обязательно излагать все в точности, и уж во всяком случае, - он сделал нажим на этих словах, - ни к чему приоткрывать то, что было доверено не только вашей чести священнослужителя, это уже

само собой, но даже и просто вашей скромности. Впрочем, эта бумага перейдет из моего кармана прямо в руки его преосвященства. Я боюсь, однако, сплетен.

Поскольку я не отвечал, он вновь остановил на мне очень долгий взгляд своих умышленно погашенных глаз, мертвых глаз. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

- Вы мне не доверяете, - снова заговорил он спокойным, уверенным, непререкаемым тоном.

Я ответил, что не могу понять, как подобная беседа может стать предметом отчета, мы разговаривали с глазу на глаз, без свидетелей, и, следовательно, только г-жа графиня была бы вправе предать огласке наш разговор. Он пожал плечами.

- Вы не знакомы с канцелярскими нравами. Если ваше свидетельство будет представлено мною, его примут с благодарностью, сдадут в архив и больше никогда о нем не вспомнят. В противном же случае вы погрязнете в устных объяснениях, совершенно к тому же бесполезных, потому что вам никогда не удастся говорить на их языке. Вы будете им говорить, что дважды два четыре, а они все равно будут считать вас человеком экзальтированным, безумцем.

Я молчал. Он положил руку мне на плечо.

- Ну ладно, оставим это. Я еще повидаюсь с вами завтра, если позволите. Не скрою, я пришел с намерением подготовить вас к визиту моего племянника, но к чему? Вы не из тех, кто умеет говорить, чтобы ничего не сказать, а здесь, к сожалению, нужно было бы именно это.

- В конце концов, - вскричал я, - что я сделал плохого, в чем меня упрекают?

- В том, что вы такой, как вы есть, и тут уж ничем не поможешь. Видите ли, дитя мое, нельзя сказать, что эти люди ненавидят вашу простоту, но они от нее защищаются, она для них что-то вроде огня, о который они обжигаются. Вы разгуливаете по белу свету со своей смиренной улыбкой, молящей о милосердии, а в кулаке несете факел, принимая его, очевидно, за пастырский посох. В девяти случаях из десяти они его вырвут у вас и затопчут. Но достаточно им ослабить внимание хоть на минуту, вы понимаете? Впрочем, если быть откровенным, я не очень-то высокого мнения о моей покойной племяннице, эти девицы де Тревиль-Соммеранж всегда были штучки, самому дьяволу, полагаю, пришлось бы попотеть, чтобы исторгнуть вздох из их уст, слезу из их глаз. Встретьтесь с моим племянником, по-

говорите с ним, как сами сочтете нужным. Только помните, что он дурак. И пусть вас не смущает его имя, титул и прочая ерунда, с которой вы, боюсь, по благородству вашей души, слишком считаетесь. С аристократией покончено, дорогой друг, вбейте себе это в голову: я знавал двух или трех аристократов во времена моей молодости. Это были нелепые, но необыкновенно характерные личности. Они напоминали мне карликовые дубы, выращиваемые японцами в цветочных горшочках. Горшочки - это наши обычаи, наши нравы. Нет семьи, которая могла бы устоять против медленно подтачивающей ее скаредности, когда перед законом все равны, а судья и владыка - общественное мнение. Сегодняшние аристократы - это буржуа, стыдящиеся самих себя.

Я проводил его до ворот и даже прошел с ним несколько шагов по дороге. Думается, он ждал от меня какого-то порыва откровенности, доверия, но я предпочел промолчать. Я чувствовал себя не в силах преодолеть в эту минуту какое-то тягостное ощущение, что, впрочем, не укрылось от его странных глаз, которые он время от времени останавливал на мне со спокойным любопытством. Как мог я признаться, что не имею ни малейшего представления о претензиях ко мне

г-на графа и что поэтому наша недавняя беседа с г-ном каноником была игрой в недомолвки, о чем он, разумеется, даже не подозревал?

Сейчас так поздно, что я счел бесполезным идти в церковь, причетник, наверно, уже сделал сам все необходимое.

Визит г-на графа так ничего мне и не разъяснил. Я убрал со стола, расставил все по местам, но дверцы шкафа - само собой - оставил открытыми. Как и взгляд каноника, его взгляд упал прежде всего на бутылку с вином. Можно было биться об заклад, что случится именно так. Когда я думаю о своем повседневном меню, которым не удовольствовалось бы даже большинство бедняков, меня несколько раздражает это удивленье всех и каждого перед тем, что я пью не одну только воду. Я неторопливо встал и затворил дверь на кухню.

Господин граф был очень холоден, но вежлив. По-видимому, дядя не поставил его в известность о нашем разговоре, так что мне пришлось вновь улаживать вопрос о похоронах. Расценки он знает лучше меня, торгуется о плате за свечи и точно обозначил пером на плане церкви, где, как он желает, должен быть установлен катафалк. На лице его тем не менее лежит печать горя и усталости, даже голос изменился, в нем меньше

ощущается обычная неприятная гнусавость. В своем скромном черном костюме и грубых башмаках он похож на какого-нибудь зажиточного крестьянина. "И вот этот старый человек в воскресном платье - спутник одной и отец другой..." - подумал я. Увы! Мы твердим: семья, семьи, точно так же, как говорим Отчизна. А за семьи надо бы усердно молиться, семьи внушают мне страх. Да смилуется над ними Господь!

Я нисколько, впрочем, не сомневался, что каноник де ла Мотт-Бёврон сказал мне правду. Несмотря на все свои усилья, г-н граф нервничал все более и более явно. К концу мне даже показалось, что он вот-вот выскажется, но тут произошло нечто чудовищное. Роясь в своем бюро, чтобы найти формуляр, который необходимо было заполнить, я смахнул бумаги, и они разлетелись во все стороны. В то время как я торопливо складывал их, мне показалось, я слышу за спиною учащенное, прерывистое дыханье, я ждал, что он с секунды на секунду прервет молчание, и нарочно затягивал возню с бумагами, но напряжение было столь нестерпимым, что я внезапно обернулся, чуть не толкнув его. Он стоял вплотную ко мне, весь красный, протягивая сложенный вчетверо листок, соскользнувший под стол. Это

было письмо г-жи графини, я едва не вскрикнул, и когда я брал листок из его рук, он, должно быть, заметил, что меня трясет, так как пальцы наши соприкоснулись. Мне даже почудилось, что он испугался. После нескольких, ничего незначащих фраз мы расстались, церемонно раскланявшись. Завтра утром я пойду в замок.

Бодрствовал всю ночь, сейчас рассветает. Окно мое оставалось открытым, и я продрог. С трудом держу перо в окоченевших пальцах, но, как мне кажется, дышу легче, несколько успокоился. Уснуть я, разумеется, не мог, но этот холод, пронизавший меня насквозь, словно заменил сон. Час или два тому назад, в то время как я молился, преклонив колени и прижавшись щекой к доске стола, я вдруг ощутил себя таким опустошенным, таким выпотрошенным, что мне показалось, я умираю. Это бы ло приятно.

К счастью, на дне бутылки еще оставалась капля вина. Я разогрел его и насыпал много сахару. Следует признать, что мужчина моего возраста не может поддерживать свои силы несколькими стаканами вина, овощами и, изредка, кусочком сала. Нет сомнения, я совершаю непростительную ошибку, откладывая со дня на день визит к лилльскому врачу.

Не думаю, однако, что я малодушен. Просто мне трудно преодолеть какое-то оцепенение, которое не означает ни равнодушия, ни покорности, но в котором я, почти безотчетно, укрываюсь от своих болей. Нет ничего проще, чем положиться на волю божию, когда день за днем убеждаешься на опыте в собственной никчемности! Но так не трудно докатиться и до влюбленности в собственные унижения и невзгоды, принимая их как благодать, тогда как на самом деле все это лишь роковой результат глупого поведения. Неоценимая услуга, которую оказывает мне этот дневник, состоит в том, что он помогает понять, в какой части моих нескончаемых злоключений повинен я сам. Так и теперь, стоило мне прикоснуться пером к бумаге, и я ощутил свое глубочайшее, беспросветное неумение сделать что-либо толком, свою невероятную неуклюжесть.

(Кто бы мог подумать четверть часа тому назад, что я способен написать эти строки, в сущности, такие мудрые? А ведь написал же.)

Вчера утром я пошел, как было обещано, в замок. Открыла мне дверь м-ль Шанталь. Это меня насторожило. Я думал, она примет меня в зале, но она почти насильно втолкнула меня в маленькую гостиную, где жалюзи так и не были подняты.

Сломанный веер по-прежнему лежал на камине, за часами. Мне кажется, мадемуазель перехватила мой взгляд. Ее лицо было еще жестче, чем всегда. Она хотела было сесть в то самое кресло, в котором два дня назад... Мне почудилось, что в ее глазах точно блеснула молния, и я сказал:

- Мадемуазель, у меня мало времени, я лучше постою.

Она вспыхнула, губы ее задрожали от гнева.

- Почему?

- Потому что мне здесь не место, да и вам тоже.

Ответ ее был чудовищен, невероятен для девочки таких лет, я не мог не подумать, что он внушен ей бесом. Она сказала:

- Я не боюсь мертвецов.

Я повернулся, чтобы уйти. Она бросилась между мною и дверью, раскинув руки, чтобы преградить мне путь.

- По-вашему, лучше ломать комедию? Если бы я могла молиться, я бы молилась. Я даже пыталась. Когда здесь (она указала на свою грудь) такое молиться невозможно...

- Что именно?

- Называйте как хотите, полагаю - это радость. Догадываюсь, что вы обо мне думаете - я чудовище? Да?

- Чудовищ не существует.

- Если потусторонний мир и правда похож на то, что о нем рассказывают, моей матери нетрудно меня понять. Она никогда меня не любила. А после смерти брата возненавидела. Разве я не права, что говорю с вами откровенно?

- Вы с моим мнением не считаетесь...

- Вы отлично знаете, что считаюсь, но полагаете ниже своего достоинства это признать. В сущности, ваша гордыня стоит моей.

- Вы говорите, как дитя, - сказал я, - вы и богохульствуете, как дитя.

Я сделал шаг к двери, но она вцепилась в ручку.

- Гувернантка укладывает свои чемоданы. В четверг она уедет. Видите, я всегда добиваюсь того, чего хочу.

- Какой толк, - сказал я, - это вам ничего не даст. Если вы останетесь такой, как сейчас, вы всегда найдете, кого ненавидеть. Будь вы способны меня услышать, я добавил бы даже...

- Что?

- А то, что ненавидите вы себя, одну себя!

Она на мгновение задумалась.

- Ба! Я возненавидела бы себя, если бы не добилась того, чего хотела. Теперь я должна быть

счастлива, а то... Они сами во всем виноваты. Зачем они заперли меня в этой паршивой конуре? Есть девушки, которые даже здесь нашли бы возможность довести их до белого каления. Это облегчает. А я ненавижу сцены, мне они омерзительны, я способна все вынести, не сморгнув. Какое наслажденье не повысить голоса, спокойно склонясь над вышивкой, опустить глаза и прикусить язык, когда кровь закипает в жилах! Знаете, моя мать была такой же. Мы могли молчать часами, сидя бок о бок, мечтая каждая о своем, злясь каждая на свое, а папа, разумеется, ничего даже не замечал. В такие минуты чувствуешь нечто непередаваемое, удивительную силу, которая скапливается в тебе и которую не исчерпать за всю жизнь, как бы она ни была долга... Естественно, для вас я - лгунья, лицемерка?

- Господу ведомо, кем я вас считаю, - сказал я.

- Вот это меня и бесит. Никогда не поймешь, что вы думаете. Но вы еще узнаете, какова я на самом деле, я хочу этого! А правда, что люди умеют читать в чужих душах? Вы верите в эти россказни? Разве такое возможно?

- И вам не стыдно всей этой пустой болтовни? Думаете, я не догадываюсь, уже давно, что вы сделали что-то дурное по отношению ко мне, не

знаю, что именно, но что-то сделали и теперь горите желаньем бросить мне в лицо признанье в этом?

- Да, пусть так. А вы станете мне говорить о прощении, разыгрывать из себя мученика?

- Не заблуждайтесь, - сказал я, - я служитель могущественного властелина и, как священник, могу отпустить грех лишь от его имени. Любовь к ближнему вовсе не в том, в чем видят ее миряне. Если вы пожелаете вдуматься в то, чему вас учили, вы согласитесь со мной, что есть время для милосердия, время для справедливости и только одно несчастье непоправимо - предстать пред ликом Всепрощающего не раскаявшись.

- В таком случае, - сказала она, - ничего вы не узнаете!

Она отошла от двери, освобождая мне проход. Переступая порог, я увидел ее в последний раз - она стояла у стены, опустив руки, склонив голову на грудь.

Господин граф пришел только четверть часа спустя. Он вернулся с полей, весь в грязи, с трубкой во рту, вид у него был счастливый. Мне показалось, что от него попахивает спиртным. Казалось, мое присутствие его удивило.

- Моя дочь вручила вам документы, там все

подробности похоронной церемонии, как она была отслужена вашим предшественником по моей теще. Я хочу, чтобы отпевание было точно таким же, за исключением нескольких деталей.

- К сожалению, расценки с тех пор изменились.

- Поговорите об этом с моей дочерью.

- Но мадемуазель мне ничего не передала.

- Как! Вы разве не виделись?

- Мы только что виделись.

- Что такое! Пригласите мадемуазель, - сказал он горничной.

М-ль Шанталь все еще была в гостиной, думаю, она так и стояла за дверью, потому что появилась в ту же секунду. Лицо г-на графа изменилось так внезапно, что я не поверил своим глазам. Казалось, он был ужасно смущен. Она смотрела на него печально, с улыбкой, как глядят на ребенка, не отвечающего за свои поступки. Она даже кивнула мне. Какая невероятная выдержка у существа столь юного.

- Мы с господином кюре беседовали о другом, - сказала она мягко. - Мне кажется, вы должны предоставить ему действовать по собственному усмотрению, все эти китайские церемонии, право же, нелепы. Вам нужно еще подписать чек для

мадемуазель Ферран. Не забудьте, она уезжает сегодня вечером.

- Как сегодня вечером? Она что же - не будет присутствовать на похоронах? Всем это покажется странным.

- Всем! Мне думается, напротив, никто даже не заметит ее отсутствия. И потом, что поделаешь? Она предпочитает уехать.

Мое присутствие явно стесняло г-на графа, он покраснел до ушей, но его дочь говорила так ровно, спокойно, что невозможно было не ответить ей в том же тоне.

- Я нахожу, что шестимесячное жалованье это уж чересчур, просто нелепо платить столько, - продолжал он.

- Но ведь именно на этой сумме остановились вы с мамой, когда обсуждали увольнение. К тому же этих несчастных трех тысяч франков - бедняжка мадемуазель - еле-еле хватит на путешествие, один билет на пароход стоит две тысячи пять.

- Что еще за путешествие? Я считал, она собирается отдохнуть в Лилле, у своей тетки Преможи?

- Ничего подобного. Вот уже десять лет, как она мечтает совершить плавание по Средиземному морю. По-моему, у нее есть все основания немного поразвлечься. Жизнь здесь была в конце концов

не так уж весела.

Господин граф уже не скрывал гнева.

- Ладно, ладно, постарайтесь впредь держать про себя такого рода соображения. Ну, чего вы еще ждете?

- Чек. Ваша чековая книжка в секретере, в гостиной.

- Отвяжитесь от меня!

- Как вам будет угодно, папа. Я хотела только избавить вас от разговора на эту тему с мадемуазель, которая чрезвычайно расстроена.

Он наконец взглянул в лицо дочери, но та выдержала его взгляд не дрогнув, с выражением недоумения и невинности на лице. И хотя я не мог в эту минуту усомниться в том, что она разыгрывает отвратительную комедию, в ее поведении тем не менее было что-то благородное, какое-то, еще детское, достоинство, преждевременная горечь, от которой сжимало сердце. Она, конечно, осуждала отца, осуждала бесповоротно, возможно даже ничего не прощая, но не без грусти. И не презрение, а именно эта грусть делала старого человека беспомощным перед нею, ибо в нем самом, увы, не было ничего созвучного такой грусти, он ее просто не понимал,

- Да выпишу, выпишу я твой чек, - сказал он,

- приди через десять минут.

Она поблагодарила его улыбкой.

- Она очень чувствительная, легко уязвимая девочка и требует чуткости, - сказал он мне надменно. - Гувернантке чуткости не хватало. Пока была жива мать, ей, бедняжке, удавалось предупреждать столкновения, но теперь...

Он пригласил меня в столовую, пропустив впереди себя, но сесть не предложил.

- Господин кюре, - снова заговорил он, - будем откровенны. Я духовенство чту, моя семья всегда поддерживала прекрасные отношения с вашими предшественниками, но эти отношения основывались на уважении, почтительности, реже на дружеских чувствах. Я не желаю, чтобы священник вмешивался в мою семейную жизнь.

- Мы вынуждены иногда делать это помимо своей воли, - сказал я.

- Вы невольно... во всяком случае, бессознательно... послужили причиной ужасного несчастья. Я надеюсь, что ваша недавняя беседа с моей дочерью будет последней. Никто, даже ваше церковное начальство, не станет спорить, что такой молодой священник, как вы, не может претендовать на роль духовного наставника девушки этого возраста. Шанталь и так слишком впечат-

лительна. В религии, конечно, немало хорошего, более того - прекрасного. Но главная миссия церкви - охранять семью, общество, церковь порицает любые эксцессы, это сила порядка, умеренности.

- Каким образом я стал причиной несчастья? - сказал я.

- Мой дядя де ла Мотт-Бёврон объяснит вам это. Достаточно, чтобы вы знали, что я не одобряю ваших неосторожных поступков и что ваш характер, он сделал паузу, - ваш характер, как и ваши привычки, представляется мне опасным для прихода. Имею честь кланяться.

Он повернулся ко мне спиной. Подняться в спальню я не посмел. К мертвым, как мне думается, должно приближаться лишь с ясной душой. Я был слишком потрясен словами, которые только что выслушал и которые казались мне совершенно бессмысленными. Характер? Еще куда ни шло. Но привычки? Какие привычки?

Я пошел к дому дорогой, которую, не знаю почему, называют Райской грязной тропкой между двух изгородей. Почти сразу же пришлось побежать в церковь, где меня уже давно ждал причетник. Мое оборудование в жалком состоянии, и я вынужден признать, что если бы провел инвентаризацию вовремя, это избавило бы меня

от многих хлопот.

Причетник - ворчливый старик, за брюзгливостью и даже грубостью которого скрывается натура чудаковатая, чувствительная. Среди крестьян гораздо чаще, чем это думают, встречаются люди с почти женской капризностью настроений, считающейся привилегией богатых бездельников. Один Бог знает, до какой степени ранимыми, сами того не сознавая, могут быть существа, замурованные на протяжении нескольких поколений, иногда - нескольких столетий, в немоту, всей глубины которой они даже не способны измерить, поскольку у них нет ни малейшей возможности ее преодолеть, да, впрочем, они об этом даже и не помышляют, наивно отождествляя монотонный повседневный труд и медленный ток собственных дум... вплоть до того дня, когда подчас... О, одиночество бедняков!

Выколотив драпировки, мы присели передохнуть на каменную скамью в ризнице. Я видел в полумраке его ссутулившуюся фигуру, с огромными руками, покорно сложенными на худых коленях, ко лбу, блестевшему от пота, прилипла короткая прядь седеющих волос.

- Что думают обо мне прихожане? - спросил вдруг я. Поскольку раньше мы с ним никогда ни

о чем серьезном не заговаривали, обращаться к нему с таким вопросом было, казалось бы, нелепо, да я и не ждал, что он ответит. Он действительно заставил меня долго ждать.

- Болтают, что вы почти ничего не едите, - выговорил он наконец замогильным голосом, - еще, что вы морочите голову девчонкам на уроках закона божьего своими россказнями о том свете.

- Ну а вы? Что думаете обо мне вы, Арсен?

На этот раз он задумался так надолго, что я снова взялся за работу, повернувшись к нему спиной.

- По-моему, лет вам не хватает...

Я постарался обратить все в шутку, хотя мне было не до смеха:

- Ну, годы - дело наживное, Арсен!

Он, однако, не слушал меня, продолжая терпеливо, упрямо развивать свою мысль:

- Кюре - он вроде нотариуса. Он должен быть на месте, когда есть надобность. А надоедать не надо.

- Но послушайте, Арсен, нотариус ведь работает на себя, а я на Господа Бога. Люди сами редко обращаются к Богу.

Он подобрал с полу свою палку, оперся подбородком на рукоятку. Можно было подумать, что

он дремлет.

- Обращать, - заговорил он наконец снова, - обращать... Мне вот семьдесят три года, а я никогда не видел еще собственными глазами обращенного. Человек каким рождается, таким и умирает. В нашей семье все связаны с церковью. Дед мой был звонарем в Лионе, покойная мать домоправительницей у господина кюре в Вильмане, не было случая, чтобы кто-нибудь из наших скончался, не причастившись святых даров. Голос крови, ничего не поделаешь.

- Вы встретитесь с ними на том свете, - сказал я.

Он опять надолго задумался. Я искоса наблюдал за ним, занимаясь своим делом, и совсем уже потерял надежду что-нибудь услышать, когда он изрек свое последнее слово усталым, незабываемым голосом, казалось, вещавшим из глубин веков.

- Уж как умрешь, все умрет, - сказал он.

Я сделал вид, что не понял. Я не чувствовал себя способным ответить ему, да и к чему? Он наверняка не понимал, что богохульствует, произнося эти кощунственные слова, - они были для него лишь признаньем в собственном бессилии вообразить ту вечную жизнь, никаких веских

доказательств существования которой ему не давал земной опыт, хотя смиренная мудрость рода открывала ему ее бесспорность, и он в нее верил, не умея выразить свою веру, законное - пусть и еле слышно нашептываемое - наследство бессчетных крещеных предков... И все же сердце мое пронзил смертельный холод, силы меня оставили, и я, под предлогом мигрени, ушел один под дождь и ветер.

Теперь, когда эти строки написаны, я с изумлением смотрю на окно, разверстое во мрак, на кавардак на моем столе, на множество ничтожных свидетельств, видимых лишь моему собственному глазу, словно говорящих на таинственном языке о мучительном томлении последних часов. Прояснился ли мой ум? Или же, напротив, сила предчувствия, позволявшая мне собрать воедино события, сами по себе незначительные, притупилась из-за усталости, бессонницы, горечи? Не знаю. Все кажется мне нелепостью. Почему я не потребовал от г-на графа объяснения, хотя даже сам каноник де ла Мотт-Бёврон считал, что это необходимо сделать? Прежде всего потому, что я подозреваю м-ль Шанталь в каком-то коварном обмане и страшусь узнать, в чем именно дело. И еще потому, что пока покойница у себя в доме, то

есть до завтрашнего дня, пусть лучше все молчат! Позднее, возможно... Но никакого "позднее" не будет. Мое положение в приходе стало настолько трудным, что обращение г-на графа к его преосвященству, без сомнения, увенчается полным успехом.

Ну и пусть! Сколько я ни перечитываю эти страницы, мой рассудок не находит здесь ни единого слова, которое хотелось бы взять назад, но мне очевидна вся их тщета. Не доводы рассудка порождают истинную печаль - печаль души, - и не им ее побороть, если уж она вошла в нас, Господь ведает, через какую брешь бытия... Что сказать? Нет, она даже не вошла, она всегда была в нас. Мы говорим - печаль, тоска, отчаяние, пытаясь уверить себя, будто это какие-то перемены в душе, но я все больше и больше убеждаюсь, что это и есть сама душа и что удел человеческий после грехопадения ощущать все в себе и вне себя только как томление духа. Как бы ни был равнодушен человек к потустороннему, его, даже в миг наслаждения, не покидает смутное сознание грозного чуда - это и есть торжество той единственной радости, которая дана существу, ведающему, что он смертен, и вынужденному подыскивать, как это ни трудно, оправданья, поневоле шаткие,

яростному бунту своей плоти против этого абсурдного, отталкивающего предположения. Мне кажется, не храни его неусыпное милосердие божие, человек, едва осознав свой удел, должен был бы обратиться в прах.

Я затворил окно, разжег огонек в камине. По отдаленности одной из деревень, приписанных к моему приходу, я освобожден от положенного священнику поста в день, когда служу там святую обедню. До сих пор я не использовал этой поблажки. Но сегодня согрею себе кружку подсахаренного вина.

Я перечитал письмо г-жи графини, мне казалось, я вижу и слышу ее самое... "У меня нет никаких желаний". Ее долгий искус завершился, испытание окончено. Мое только начинается. Быть может, это продолжение того же? Быть может, Господь пожелал переложить на мои плечи бремя, от которого он избавил свое изнемогшее творение? Чем иначе объяснить ту радость, смешанную со страхом, ту угрожающую нежность, что пронзила меня, когда я благословлял усопшую? Женщина, которой я отпустил грехи и которую несколько часов спустя приняла в свои объятия смерть, на пороге супружеской спальни, надежного убежища, созданного для отдохно-

вения (вспоминаю, что на следующий день ее часы все еще оставались на стене, там, где она их повесила, ложась спать), эта женщина уже принадлежала нездешнему миру, я увидел, сам того не ведая, на ее челе отблеск покоя Мертвых.

За это, конечно, надо платить.

(NB. - Здесь несколько страниц вырвано, по-видимому, в спешке. То, что сохранилось на полях, прочесть невозможно, каждое слово перечеркнуто пером с такой яростью, что во многих местах прорвана бумага.

Один лист остался чистым, на нем всего несколько строк:

Твердо решив не уничтожать дневник, но сочтя должным вырвать эти несколько страниц, написанных поистине в бреду, хочу тем не менее засвидетельствовать здесь в обвинение себе, что последнее испытание, выпавшее на мою долю, самое тягостное из всех разочарований моей бедной жизни, ибо не могу даже представить себе ничего худшего, - застигло меня в момент, когда мне изменила покорность, мужество и когда мною овладел соблазн...

(Фраза осталась недописанной. На следующей странице не хватает сверху нескольких строк.)

...Надо уметь порвать любой ценой.

- Как, - сказал я, - любой ценой? Я вас не понимаю. Не понимаю всех этих тонкостей. Я бедный маленький священник, я только и хочу остаться незамеченным. Если я наделал глупостей, то они - такие, каков я сам, они ставят меня в смешное положение, они достойны осмеяния. Но разве нельзя дать мне время во всем разобраться самому? Где там! Священников, видите ли, не хватает. А кто виноват? Люди высшего порядка, как они себя называют, идут в монахи, а на таких незадачливых крестьян, как я, наваливают сразу три прихода! Да я ведь даже и не крестьянин, вы отлично это знаете. Настоящие крестьяне презирают таких людей, как я, батраков, холопов, которые таскаются с места на место в поисках нанимателя, а то и делаются контрабандистами, браконьерами, подонками, людьми вне закона. Нет, я не считаю себя дураком. Уж лучше бы я был глупцом. Ни герой, ни святой, и даже...

- Замолчи, - сказал мне г-н торсийский кюре, - не прикидывайся младенцем.

Дул резкий ветер, и я вдруг увидел, что его милое старое лицо посинело от холода.

- Зайдем сюда, я промерз до костей.

Это была сторожка, где Кловис складывает свои вязанки хвороста.

- Я не могу теперь пойти к тебе. Что о нас подумают? К тому же хозяин гаража, господин Бигр, взялся отвезти меня в Торси на машине. В сущности, мне, понимаешь, следовало задержаться еще на несколько дней в Лилле, я не должен выходить в такую погоду.

- Вы приехали из-за меня! - сказал я.

В ответ он сердито пожал плечами.

- А похороны? Да и не твое это дело, мой мальчик, я поступаю так, как считаю нужным, зайди ко мне завтра.

- Ни завтра, ни послезавтра, ни, возможно, вообще на этой неделе, если только...

- Я сыт по горло твоими "если только". Хочешь, приходи, не хочешь, не приходи. Все-то тебе надо взвесить. Ты заплутался в наречиях. Жизнь нужно строить ясно, как французское предложение. Каждый служит Господу Богу на свой манер и на своем языке, какого черта! Даже весь твой облик, одежда, вот эта пелерина, например...

- Но эта пелерина - подарок моей тетки!

- Ты похож на немецкого романтика. И потом, что за мина!

У него было такое выражение лица, какого я никогда прежде не видел, почти злобное. Мне кажется, он сначала заставлял себя говорить со

мной сурово, но теперь самые жестокие слова сами рвались у него с языка, и, возможно, он сердился на себя за то, что не может их сдержать.

- Я не отвечаю за то, как выгляжу! - сказал я.

- Отвечаешь! Прежде всего, ты безобразно питаешься. Я еще должен об этом поговорить с тобой, очень серьезно. Не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в том, что... - Он замолк. - Нет, об этом в другой раз, - заговорил он опять, более мягко, - не в этой лачуге. Короче, ты питаешься наперекор всякому здравому смыслу и еще удивляешься, что у тебя боли... Да если бы я ел, как ты, У меня самого были бы колики в животе! Что касается внутренней жизни, друг мой, боюсь, тут беда того же порядка. Ты недостаточно молишься. Ты больше страдаешь, чем молишься, вот что я думаю. Еда должна соответствовать затрачиваемым усилиям, а молитва - мере наших горестей.

- Дело в том... я не... я не могу! - вскричал я. И тотчас пожалел об этом признании, потому что взгляд его вновь посуровел.

- Не можешь молиться, бормочи! Послушай, я тоже натыкался на стену! Дьявол внушал мне такое отвращение к молитве, что с меня пот катил градом, когда я принуждал себя перебирать четки, веришь? Постарайся понять!

- О, я понимаю! - ответил я с таким жаром, что он долго смотрел на меня, меряя взглядом с головы до ног, без всякой, впрочем, недоброжелательности, напротив...

- Послушай, - сказал он, - не думаю, чтобы я обманывался на твой счет. Постарайся ответить на вопрос, который я сейчас тебе задам. Я не преувеличиваю значения этой маленькой проверки, - просто мне самому как-то пришла в голову эта мысль, когда я пытался понять себя, и, естественно, я обнаружил в результате немало неожиданностей. Короче, я много думал о призвании. Мы все, конечно, призваны, пусть так, но только на разный манер. Чтобы упростить вопрос, я начинаю прежде всего с того, что пытаюсь поставить каждого из нас на подходящее ему место в Евангелии. Ну, это, ясное ; дело, омолаживает нас на две тысячи лет, но что с того! Для Господа Бога времени не существует, его взор проницает время. Я говорю себе, что задолго до нашего рождения - если говорить на языке людей - Господь уже где-то повстречал каждого из нас - в Вифлееме, в Назарете, по дороге в Галилею, не знаю. Был день в ряду дней, когда взор его остановился на нас, и, в зависимости от места, времени, обстоятельств, призвание каждого из нас обрело

свой особый характер. Нет, я не выдаю тебе всего этого за богословские истины! Я просто раздумываю, воображаю, грежу; понимаешь, если бы наша бедная душа, которая ничего не забыла, которая помнит вечно, могла бы провести наше бренное тело через века, заставить его подняться по этому гигантскому двухтысячелетнему откосу, она привела бы его прямехонько на то самое место, где... Что? Да что такое с тобой? С чего ты?

Я не замечал, что плачу, я не думал об этом.

- Почему ты плачешь?

Дело в том, что я неизменно вижу себя в Гефсиманском саду и в тот именно момент, да, как это ни странно, в тот именно момент, когда, положив руку на плечо Петра. Он задает вопрос - совершенно бесполезный, в общем, даже наивный, но такой учтивый, такой ласковый: "Вы спите?" Это было привычное, естественное движение моей души, но до сих пор я не осознавал его, и вдруг...

- Да что с тобой? - нетерпеливо повторял г-н торсийский кюре. - Ты меня не слушаешь, ты о чем-то мечтаешь. Друг мой, тот, кто хочет молиться, не должен мечтать. Твоя молитва истекает мечтой. А для души нет ничего опасней подобного кровотечения!

Я открыл рот, хотел ему ответить, но не смог.

Не важно! Разве мало уже и того, что Господь Бог смилостивился надо мной, открыв мне сегодня устами моего старого наставника, что нет такой силы, которая могла бы отлучить меня от предначертанного мне искони жребия, что я обречен Голгофе? Кто осмелится выставлять напоказ подобную милость? Я вытер слезы и так нескладно высморкался, что г-н кюре улыбнулся:

- Вот уж не думал, что ты еще такой ребенок, у тебя нервы совсем расстроены, дитя мое.

(Но он опять присматривался ко мне с таким пристальным вниманием, что я с трудом удержался и не рассказал ему обо всем, я видел, как менялся его взгляд, словно подбираясь к моей тайне. Поистине, он - подлинный повелитель душ, владыка.)

Наконец он пожал плечами с видом человека, который решил отступиться.

- Ну ладно, хватит, не можем же мы торчать до ночи в этой лачуге. В конце концов, возможно, Господу Богу угодно оставить тебя в этой печали. Но я всегда замечал, что такого рода испытания, в какое бы безысходное уныние они нас ни погружали, никогда не затемняют нашего рассудка, когда того потребует спасение души. Мне уже не раз сообщали о тебе вещи прискорбные, неприят-

ные, но не в этом дело! Люди злы. Однако с бедной графиней ты и в самом деле переборщил, просто театр какой-то!

- Не понимаю.

- Ты читал "Заложницу" господина Поля Клоделя?

Я ответил, что даже не знаю, о чем и о ком он говорит.

- Ну, тем лучше. Там идет речь об одной святой девице, которая по совету кюре, в твоем роде, отказывается от данного ею слова, выходит за старого вероотступника, предается отчаянию, и все это якобы ради того, чтобы избавить папу от тюрьмы, а ведь место папы - от времен апостола Петра скорее в Мамертинской тюрьме, чем во дворце, изукрашенном сверху донизу этими мошенниками Возрождения, которые, чтобы написать Божью Матерь, заставляли позировать своих потаскух! Господин Клодель гениален, не отрицаю, но все эти литераторы одним миром мазаны: стоит им заговорить о святости, как они погрязают в возвышенном, оно у них так и прет из всех пор! Святость не возвышенна, будь я духовником героини, я бы прежде всего заставил ее сменить свое птичье имя на обыкновенное христианское - ее зовут Лебедь - и потом внушил

бы ей, что коль уж она дала слово, то обязана его сдержать человек может дать слово только единожды, и сам наш святой отец - папа тут не властен ничего изменить.

- Но при чем тут я, в чем я...

- А эта история с медальоном?

- С медальоном?

Я не мог понять.

- Эх ты, глупыш, вас слышали, видели, успокойся, ничего сверхъестественного здесь нет.

- Кто нас видел?

- Ее дочь. Но ведь ла Мотт-Бёврон тебе уже все рассказал, не прикидывайся дурачком.

- Нет.

- Как нет? Только этого недоставало! Ну что ж, раз уж я в это ввязался, нужно идти до конца, не так ли?

Я не шелохнулся, у меня было время немного взять себя в руки. Если м-ль Шанталь извратила истину, она сделала это ловко, мне предстояло выпутаться из связавшей меня по рукам и ногам сети полулжи, избавиться от которой трудно, не предав, в свою очередь, усопшую. Г-н кюре, казалось, был удивлен моим молчанием, обескуражен.

- Хотел бы я знать, что ты понимаешь под сло-

вом "смирение"... Вынудить мать, чтобы она бросила в огонь единственную вещь, оставшуюся ей на память об умершем сыне, да это же какая-то иудейская история - из Ветхого завета. И по какому праву ты говорил ей о вечной разлуке? Души нельзя шантажировать, мой милый.

- Вы представляете все в таком свете, - сказал я,- я мог бы представить все в ином. Но к чему! Основное - действительно правда.

- И это все, что ты можешь ответить?

- Да.

Я думал, он на меня обрушится с обвинениями. Он, напротив, ужасно побледнел, лицо его стало мертвенно-серым, и тут я понял, до какой степени он меня любит.

- Уйдем наконец отсюда, - пробормотал он, - и, главное, ни за что не соглашайся на встречу с этой девушкой - она дьяволица.

- Я не захлопну перед ней своей двери, пока я кюре этого прихода, я не захлопну двери ни перед кем.

- Она утверждает также, что ее мать противилась тебе до последней минуты и что ты оставил ее в состоянии ужасного смятения, неописуемой душевной смуты. Это правда?

- Нет!

- Ты оставил ее...

- Я оставил ее наедине с Богом, с миром в душе.

- О, Господи! (Он глубоко вздохнул.) Подумай, ведь она могла, умирая, помнить о твоей требовательности, твоей суровости?..

- Она опочила в мире.

- Что ты об этом знаешь?

Я не почувствовал даже искушения сказать ему о письме. Если бы не было смешно так говорить о себе, я мог бы сказать, что весь, с головы до ног, обратился в безмолвие. Безмолвие и мрак.

- Короче, она умерла. Что, по-твоему, должны думать люди? Такого рода сцены не по силам сердечникам.

Я промолчал. На этих словах мы расстались.

Я медленно шел домой. Мне не было больно. Напротив, у меня словно камень упал с души. Эта встреча с г-ном торсийским кюре была как бы генеральной репетицией той неотвратимой беседы, которая предстояла мне с начальством, и я, едва ли не с радостью, осознал, что сказать мне нечего. Последние два дня я безотчетно страшился того, что меня обвинят в ошибке, которой я не совершал. В таком случае я, из порядочности, не мог бы смолчать. Тогда как отныне я был свободен, пусть каждый судит по собственному

усмотрению, как я выполнил свой долг священника. Мои поступки, впрочем, действительно можно расценить по-разному. Большим облегчением для меня было также думать, что м-ль Шанталь, возможно, искренне обманывалась насчет истинного характера нашего разговора, который она, вероятней всего, толком не слышала. Предполагаю, что она была в саду, под окном, расположенным довольно высоко над землей.

Придя домой, я удивился, почувствовав, что голоден. У меня есть еще в запасе картошка, я часто пеку ее на углях и ем со свежим маслом. У меня есть также яйца. Вино и в самом деле никудышное, но, когда я его подогреваю и подсахариваю, пить можно. Я до того прозяб, что на этот раз налил полную кастрюльку, в нее входит один стакан, не больше, клянусь. Я уже кончал есть, когда вошел торсийский кюре. От удивленья - на этот раз не только от удивленья - кусок застрял у меня в горле. Я вскочил, меня шатало, вид у меня, вероятно, был безумный. Вставая, я неосторожно задел бутылку, и она разбилась с жутким звоном. Мутный ручеек черного вина потек по плитам пола.

- Бедное мое дитя! - сказал он. - Вот, значит, в чем дело... вот в чем... - ласково повторил он

несколько раз. Я все еще не понимал, не понимал ничего, кроме того, что нежданный покой, которым я только что наслаждался, был, как всегда, предвестником нового несчастья.

- Это же не вино, это какая-то дрянная краска. Ты отравляешь себя, дурачок!

- У меня нет другого.

- Попросил бы у меня.

- Клянусь вам, я...

- Молчи!

Он оттолкнул ногой осколки бутылки, словно раздавил какую-то гадину. Я ждал, когда он кончит, не в силах вымолвить ни слова.

- Теперь понятно, почему ты выглядишь так плохо, мой бедный мальчик, да от такой дряни в животе ты давно должен был умереть.

Он стоял передо мной, засунув руки в карманы своей теплой сутаны, и когда я увидел, как он расправляет плечи, я понял - сейчас он выскажет все, не пощадит меня.

- Ну, машину господина Бигра я упустил, но я рад, что пришел сюда. Прежде всего, сядь!

- Нет, - сказал я.

Я почувствовал, что голос дрожит в моей груди, как всегда, когда какой-то самому мне непонятный душевный трепет упреждает меня, что

пришла минута встретить опасность лицом к лицу и устоять. Устоять вовсе не всегда означает оказать сопротивленье. Мне даже кажется, что в эту минуту я готов был признаться в чем угодно, только бы меня оставили в покое, наедине с Богом. Не было такой силы на свете, которая помешала бы мне устоять.

- Послушай, - продолжал г-н торсийский кюре, - я не сержусь на тебя. И не думай, что я считаю тебя пьяницей. Наш друг Дельбанд сразу понял, в чем дело. Мы все, в наших деревнях, больше или меньше, - сыновья алкоголиков. Твои родители пили не больше других, может, даже и меньше, но ели они плохо, а то и вовсе голодали. К тому же, за неимением лучшего, они надувались пойлом вроде этого, которое и лошадь с ног свалит. Чего же ты хочешь? Рано или поздно ты должен был ощутить эту жажду, жажду, в сущности, даже не твою. Вот так все и тянется, да, так может тянуться веками: жажда бедняков солидное наследство! Иногда мало пяти поколений миллионеров, чтобы ее утолить, она сидит в костях, в мозгу костей. Можешь не уверять меня, что ты об этом не подозревал, я и сам это знаю. Да пусть бы ты даже выпивал в день одну каплю, не больше какой-нибудь барышни, это ровным счетом ничего бы не

изменило. Ты пропитан алкоголем от рожденья, бедняжка. И потихоньку скатывался, требуя от вина - и от какого вдобавок вина - сил и мужества, которых набрался бы, съев доброе жаркое, кусок настоящего мяса. Если подойти к делу по-человечески, что может быть хуже смерти, а ты ведь себя убиваешь. И разве утешенье говорить себе, что сошел в могилу, выпив такую ерундовую порцию, которой не хватило бы, чтобы сохранить бодрость и веселие какому-нибудь анжуйскому виноградарю? И заметь, ты не грешил против Господа. Но теперь ты, мой милый, предупрежден. Теперь ты согрешишь против него.

Он умолк. Я смотрел на него, не отдавая себе в этом отчета, как смотрел на Митонне, или на мадемуазель, или... О да! Я чувствовал, что печаль переполняет меня... А он, он сильный и спокойный человек, истинный служитель божий, мужчина. И он тоже встречает опасность лицом к лицу. Мы словно прощались друг с другом на расстоянии, разделенные незримой дорогой.

- А теперь, - заключил он голосом, несколько более хриплым, чем обычно, - не воображай невесть что. Я свои слова на ветер не бросаю, верь мне: ты все-таки священник что надо! Не говоря дурного о бедной покойнице, следует тем

не менее признать...

- Оставим это, - сказал я.

- Воля твоя!

Мне хотелось бы уйти, как я это сделал час назад, в хибарке садовника. Но теперь он был моим гостем, приходилось считаться с его желаньем. Хвала Господу! Его воля была на то, что мой старый наставник не покинул меня и еще раз выполнил свою задачу. Встревоженный взгляд внезапно отвердел, и я вновь услышал хорошо знакомый голос - сильный, отважный, полный таинственного ликования.

- Работай, - сказал он, - занимайся пока что малыми делами, день за днем. Будь прилежен. Помни о школьнике, который склоняется над тетрадью и выписывает свои каракули, высунув от старания язык. Вот такими желает видеть нас Господь Бог, когда предоставляет нам полагаться на собственные силы. Мелочи кажутся ничем, но они даруют мир душе. Как полевые цветы. Думаешь, что они не пахнут, а соберешь букет - от него исходит аромат. Молитва о малом - невинна, в каждой мелочи есть свой ангел. Молишься ли ты ангелам?

- Господи Боже мой, конечно...

- Мы недостаточно молимся ангелам. Они

внушают страх богословам из-за давних ересей Восточных церквей, какой-то нервный страх, право! Мир полон ангелов. А Богородице? Молишься ты Богородице?

- Что за вопрос?

- Так все говорят... Но молишься ли ты ей, как нужно, хорошо ли ты ей молишься? Она Мать наша, разумеется. Она, мать рода человеческого, новая Ева. Но также и дочь его. Древний мир, мир больной, мир, еще не познавший благодати, долго качал ее на своей исстрадавшейся груди - века и века - в смутном, непонятном ожидании virgo genetrix [6]. Века и века он оберегал своими дряхлыми руками, отягченными преступлениями, своими набрякшими руками чудо-девочку, не ведая даже ее имени. Девочку, эту царицу ангелов! И она до сих пор повелевает ими, не забывай об этом! Средневековье отлично это понимало. Средневековье понимало все. Но поди помешай дуракам переиначивать на свой лад "драму воплощения", как они выражаются! Если уж они считают необходимым, престижа ради, даже скромных мировых судей обряжать, как ярмарочных шутов, или пришивать галуны на

---

[6] Примечания: 6
Девы-родительницы (лат.).

рукав железнодорожным контролерам, они сгорели бы от стыда, придись им признаться перед неверующими в том, что эта трагедия, единственная подлинная трагедия, трагедия из трагедий - ибо все иные - ничто, - разыгралась без всяких декораций и позументов. Подумай только! Глагол стал плотью, а журналисты того времени все прохлопали! Из своего повседневного опыта они знают, как чертовски трудно разобраться, где истинно великое, даже когда речь идет о вещах человеческих - гениальности, геройстве, - да и о любви, их бедной любви! Так трудно, что в девяноста девяти случаях из ста они поспевают со своими цветами красноречия только на кладбище, отдают должное только мертвецам. Святость Бога! Простота Бога, устрашающая простота Бога, который проклял гордыню ангелов! Да, должно быть, Дьявол рискнул бросить вызов этой простоте, и тотчас гигантский пылающий факел на вершине творения низвергся во тьму. Иудейский народ был, надо думать, твердолоб, не то он понял бы, что Бог, воплотившись в человека, в идеал человека, рискует пройти незамеченным, что надо поэтому смотреть в оба. Да вот, возьми хотя бы этот эпизод триумфального восхождения в Иерусалим, он, по-моему, так прекрасен! Спаситель

вкусил все - триумф, как и смерть, он не отверг ни одну из наших радостей, он отверг только грех. Его смерть, черт побери, - тут он обо всем позаботился, ничего не упустил. Но его триумф - триумф для детей, ты не находишь? Лубочная картинка - он сам верхом на осляти, и зеленые ветви, и деревенский люд, хлопающий в ладоши. Прелестная пародия, чуть ироничная, на императорское великолепие. Кажется, что на устах Спасителя играет улыбка - Спаситель нередко улыбается, - она говорит нам: "Не принимайте всего этого слишком всерьез, но, в общем, бывают и законные триумфы, вовсе не запрещается праздновать победу - когда Жанна д'Арк входит в Орлеан, осененная орифламмами, забрасываемая цветами, в своем красивом камзоле из золотого сукна, я отнюдь не хочу, чтобы она думала, что поступает дурно. Раз вы в этом до такой степени нуждаетесь, бедные мои дети, я его освящаю, ваш триумф, благословляю, как благословляю вино ваших виноградников". И с чудесами, заметь, то же самое. Он их творит, только когда без этого не обойтись. Чудеса - картинки в книге, прелестные картинки! Но вот на что обрати особое внимание, сынок: у святой Матери Божьей нет ни триумфов, ни чудес. Сын не попустил, чтобы земная слава

коснулась ее даже самым кончиком своего исполинского необузданного крыла. Никто не жил, не страдал, не умер с такой простотой, в таком глубоком неведенье своего собственного величия, величия, которое ставит ее, однако, превыше ангелов. Ибо она ведь родилась безгрешной, - какое поразительное одиночество! Родник до того чистый, до того прозрачный, до того прозрачный и чистый, что ей не дано было даже увидеть в нем отражение собственного лица, созданного единственно на радость Отцу - о, священное одиночество! Взгляни только, как смотрят издали на это чудесное созданье, недосягаемое для них, неуязвимое и безоружное, древние домашние демоны человека, его господа и слуги одновременно, ужасные прародители, направлявшие первые шаги Адама на пороге проклятого мира - Лукавство и Гордыня. Конечно, род наш немногого стоит, но детство всегда волнует его до мозга костей, перед младенческим неведеньем он опускает глаза - глаза, познавшие добро и зло, глаза, которые всякого навидались! А тут ведь даже не просто неведенье. Богоматерь была сама Невинность. Подумай - что мы для нее, мы, род человеческий? Ну конечно, она ненавидит грех, но, в конце концов, она ведь его и не познала на

опыте, тогда как самые великие святые через этот опыт прошли, даже святой Франциск Ассизский, при всей своей ангельской праведности. Только у Матери Божьей воистину младенческие глаза, единственные истинно детские глаза, из всех когда-либо смотревших на наш срам и злосчастие. Да, мой милый, чтобы хорошо ей молиться, нужно ощущать на себе этот взгляд, отнюдь не снисходительный ибо снисходительность неотделима от известного горького опыта, - но нежно сочувственный, сострадательно удивленный, полный еще какого-то невыразимого чувства, непостижимый, неизъяснимый, такой взгляд может быть лишь до грехопадения. Пречистая Дева моложе рода человеческого, который породил ее, - и хоть она Мать божьей благодатью, Мать благодати, но самая младшая дочь рода человеческого.

- Благодарю вас, - сказал я. Я не нашел других слов. Да и это произнес так холодно! - Прошу вас, благословите меня, - продолжал я тем же тоном. Дело в том, что я уже минут десять боролся с болью, нестерпимой болью, которая никогда еще не была такой острой. Господи, и эту боль я еще перенес бы, но тошнота, сопровождающая ее последнее время, отнимает у меня всякое мужество.

Мы стояли на пороге двери.

- Тебе плохо, - ответил он, - это ты должен меня благословить.

Он взял мою руку, быстро поднес ее к своему лбу и ушел. Ветер и вправду сбивал с ног, но все же впервые я не увидел, как он выпрямляется во весь свой мощный рост, он шел ссутулившись.

После ухода г-на кюре я на минутку присел в кухне, вникать в его слова мне не хотелось. "Я придавал всему происшедшему со мной такое значение, подумал я, - только потому, что я мнил себя невинным. Многим священникам случается совершать весьма неосторожные поступки, а меня ведь ни в чем большем и не винят. Не исключено, что волнение ускорило смерть г-жи графини, г-н торсийский кюре ошибается лишь в том, каков был на самом деле наш разговор". Как ни странно, эта мысль принесла мне облегчение. Я все расстраиваюсь из-за своей неумелости, так почему бы мне не понять раз и навсегда, что я просто принадлежу к разряду посредственных священников? Наверное, первые школьные успехи были слишком сладки для сердца несчастного ребенка, которым я был в ту пору, и воспоминанье о них все еще не изгладилось, вопреки всему. Мне трудно согласиться с мыслью, что, после

того, как я был "блестящим" учеником, - слишком блестящим! - теперь мое место на задних партах, среди тупиц. Я подумал также, что последний упрек г-на кюре был не так уж несправедлив, как показалось мне сначала. Правда, совесть моя тут чиста: я не нарочно перешел на тот режим, который он находит нелепым. Мой желудок не переносит другой пищи, только и всего. "К тому же, думал я также, - уж эти-то мои прегрешения никого не волнуют. Доктор Дельбанд насторожил моего старого наставника, а дурацкий случай с разбитой бутылкой только утвердил его в мысли, на самом деле совершенно необоснованной".

В конце концов мои страхи показались мне смешными. Разумеется, от г-жи Пегрио, Митонне, г-на графа, еще кое-кого не укрылось, что я пью вино. Ну и что с того? Было бы уж слишком видеть преступление в этой слабости, которая, самое большее, могла бы быть расценена как грех чревоугодия, присущий многим моим собратьям. А Бог ведает, что ни один человек здесь не считает меня чревоугодником.

(Два дня не вел дневника, сама мысль о нем была мне отвратительна. Подумавши, боюсь, что продиктовано это не столько законной щепетильностью, сколько чувством стыда. Постараюсь

быть честен до конца.)

После ухода г-на торсийского кюре я тоже вышел. Прежде всего мне нужно было навестить больного - г-на Дюплуи. Я нашел его при смерти. Хотя, по словам врача, у него было всего лишь воспаление легких, не очень даже тяжелое, но он - толстяк, и его слишком ожиревшее сердце внезапно сдало. Жена, присев на корточки перед очагом, спокойно подогревала кофе. Она не понимала, что происходит. Она только сказала: "Может, вы и правы, ему недолго осталось". Некоторое время спустя, приподняв простыню, она добавила: "Ну вот он и отходит, теперь скоро конец". Когда я пришел со святым елеем, он был уже мертв.

Я бежал бегом. И зря я согласился выпить большую чашку кофе с можжевеловой. От можжевеловой меня всегда тошнит. Го, что говорит доктор Дельбанд, конечно, правда. Моя тошнота смахивает на тошноту от пресыщения, чудовищного пресыщения. Мне достаточно запаха. У меня такое ощущение, словно язык распухает во рту, как губка.

Мне следовало тут же вернуться домой. Я мало-помалу выработал на опыте какие-то приемы, может и смешные на посторонний взгляд, но

позволяющие мне, когда я дома, преодолевать мой недуг, усыплять его. Всякий, кто привык страдать, в конце концов приходит к пониманию, что с болью надо обращаться обходительно, что нередко с нею можно совладать хитростью. Хотя у каждой боли есть своя индивидуальность, свои вкусы, но все боли злы и скудоумны, так что прием, выработанный однажды, может служить бесконечно.

Словом, чувствуя, что натиск предстоит жестокий, я сделал глупость и попытался дать ему прямой отпор. На то была господня воля. Это, боюсь, меня и погубило.

Очень скоро совсем стемнело. В довершение всех бед, мне нужно было посетить кое-кого в окрестностях поместья Гальба, где дороги никуда не годные. Дождя не было, но размокшая глина липла к подошвам, почва здесь просыхает только в августе. В каждом доме мне освобождали местечко у очага, у печки, набитой грубым брюэйским углем. В висках у меня стучало, я почти не слышал, что мне говорили, отвечал невпопад, и вид у меня, вероятно, был очень странный! Тем не менее я держался: поход в Гальба всегда тяжек, так как дома там расположены далеко один от другого, разбросаны среди лугов, мне

хотелось обойти все, чтобы не терять на это еще один вечер. Время от времени я заглядывал в свою записную книжечку и вычеркивал одно за другим имена, список казался мне нескончаемым. Когда я вышел из последнего дома, сделав все необходимое, мне было так плохо, что я не отважился выбираться на большую дорогу и двинулся напрямик, вдоль опушки леса. Тропинка шла мимо дома Дюмушелей, куда я собирался заглянуть. Вот уже две недели, как Серафита не показывается на уроках закона божьего, и я дал себе слово расспросить ее отца. Сначала я шагал довольно бодро, боль в желудке, казалось, притупилась, меня мучили только тошнота и головокружение. Я очень хорошо помню, что миновал выступ Ошийского леса. Первый раз я упал в обморок, очевидно, чуть дальше. Мне мерещилось, что я все еще изо всех сил стараюсь устоять на ногах, хотя щекой я чувствовал ледяную глину. Наконец, я поднялся. Я даже пошарил под кустами ежевики в поисках своих четок. Моя бедная голова раскалывалась на части. Образ Приснодевы-Ребенка, навеянный мне г-ном кюре, неотступно преследовал меня, и, как я ни старался овладеть собой, начатая молитва неуловимо переходила в видения, всю абсурдность которых

я время от времени осознавал. Не могу сказать, как долго я шел в этом состоянии. Приятные или нет, все эти виденья не утишали нестерпимой боли, сгибавшей меня пополам. Думаю, только боль не давала мне окончательно погрузиться в бред, она была единственной недвижной точкой в бесплодном круговороте моих грез. Они не оставили меня еще и сейчас, когда я пишу эти строки, но, благодарение Богу, я не чувствую никаких угрызений совести, ибо воля моя отвергала это наваждение, восставала против дерзостных видений. Как могущественно слово божьего человека! Торжественно заверяю здесь, что мне, разумеется, ни на минуту и в голову не приходило, что это видение в истинном смысле слова, ибо память о том, что я недостоин, что я просто болен, можно сказать, ни на минуту меня не покидала. И все же не могу отрицать, что образ, возникавший во мне, был не из тех, которые ум приемлет или отвергает по своему хотенью. Осмелюсь ли признаться в том, что...

(Здесь две строки зачеркнуты.)

...Небесное созданье, в чьих крохотных ручках смирялись молнии, эти руки, исполненные благодати... Я смотрел на ее руки. Я то видел их, то не видел, и когда боль моя сделалась нестерпимой, я

ухватился за одну из них. Это была детская рука, рука бедного ребенка, уже изношенная работой, стиркой. Как рассказать об этом? Мне не хотелось, чтобы это оказалось мороком, и все же, помню, я закрыл глаза. Я боялся, подняв веки, увидеть лицо, перед которым сгибаются наши колени. Я его увидел. Но в то же время это было лицо ребенка или очень молодой девушки, лишенное всякого сияния. Это было лицо печали, но печали мне незнакомой, к которой я не мог причаститься, такой близкой моему сердцу, моему жалкому человеческому сердцу, и все же неприступной. В человеческой печали всегда есть горечь, а эта печаль была сладка, безропотна, она вся была приятием. Она навевала мысль о какой-то неведомой великой ночи, ласковой, бесконечной. Наша печаль, наконец, рождена опытом невзгод, опытом нечистым, а эта печаль была невинна. Она была сама невинность. И тут я понял значение некоторых слов г-на кюре, казавшихся мне ранее туманными. Господь наш набросил некогда по воле своей какой-то чудесный покров на эту девственную печаль, и, как ни слепы, как ни жестоки люди, они признали по знаку сему свою дражайшую дщерь, самую младшую в их древнем роде, небесную заложницу, вокруг которой выли

бесы, и тогда люди восстали все, как один, оградив ее крепостной стеной своих бренных тел.

Думаю, я еще шел некоторое время, но совсем сбился с пути, спотыкался в густой траве, вымокшей от дождя и заплетавшейся под моими подошвами. Когда я понял, что заблудился, передо мной была живая изгородь, слишком частая и высокая, чтобы я мог сквозь нее пробраться. Я пошел вдоль изгороди, вода струилась с ветвей, затекала за воротник, руки мои стали совсем мокрыми. Боль мало-помалу утихала, но я не переставал сплевывать теплую воду, у которой был, как мне казалось, вкус слез. У меня не было сил даже вытащить носовой платок из кармана. Сознания я не терял, но ощущал себя рабом слишком жестокой муки или, точнее, воспоминанья об этой муке - ибо уверенность, что она еще вернется, была даже страшней самой боли, - и я плелся за ней, как собака плетется за хозяином. Я боялся также, что упаду где-нибудь и меня найдут полумертвым, а это повлечет за собой еще один скандал. Мне казалось, я звал кого-то. Внезапно моя рука, придерживавшаяся изгороди, провалилась в пустоту, земля ушла из-под ног. Сам того не зная, я дошел до края откоса и упал, сильно стукнувшись коленями и лбом о каме-

нистую тропинку. Еще минуту мне казалось, что я встал на ноги, иду. Потом я понял, что все это мне только мерещится. Мрак сгустился, оплотнел, я подумал, что снова падаю, но на этот раз в тишину. Я мгновенно соскользнул в нее. И она сомкнулась надо мной.

Открыв глаза, я тотчас все вспомнил. Мне почудилось, что уже рассветает. Но это был свет фонаря, стоявшего прямо передо мной на откосе. Я увидел также другой огонек, слева, за деревьями, и сразу узнал дом Дюмушелей с его дурацкой верандой. Вымокшая сутана липла к спине, рядом никого не было.

Кто-то поставил фонарь подле моей головы - один из тех фонарей, которыми пользуются в конюшне, керосиновый, от него больше дыма, чем света. Вокруг фонаря крутилось какое-то гигантское насекомое. Я попытался встать, но не смог, однако почувствовал, что силы ко мне возвращаются, боль прошла. Наконец я сел. Было слышно, как по ту сторону изгороди покряхтывает и сопит скотина. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что даже если мне удастся встать на ноги, бежать слишком поздно, оставалось только терпеливо снести любопытство того, кто нашел меня и скоро вернется за фонарем. "Увы, подумал я, - меньше

всего мне хотелось бы, чтобы меня подобрали именно у дома Дюмушелей". Я смог привстать на колени и вдруг увидел ее перед собой. Стоя, она была не выше меня. Ее худое личико было ничуть не менее лукавым, чем обычно, но прежде всего мне бросилась в глаза его ласковая серьезность, чуть-чуть торжественная, почти комическая. Я узнал Серафиту. Улыбнулся ей. Возможно, она подумала, что я над ней смеюсь, серые глаза сверкнули злобой такой не детской, - которая не раз заставляла меня потупить взор. Тут я заметил, что у нее в руках глиняная миска с водой, в которой плавает какая-то тряпка, не слишком чистая. Она зажала миску между колен.

- Я набрала воду в луже, - сказала она, - так надежнее. Они все там, в доме, по случаю свадьбы кузена Виктора. А я вышла, чтобы загнать скотину.

- Смотри, чтоб тебя не наказали.

- Наказали? Меня никогда не наказывают. Однажды отец поднял на меня руку. "Попробуй тронь, - сказала я ему, - вот отведу Рыжуху на Поганый луг, она и сдохнет от водянки!" А Рыжуха наша лучшая корова.

- Ты не должна была так говорить, это дурно.

- Дурно, - отозвалась она, многозначительно

пожав плечами, - доводить себя до такого состояния, как вы сейчас.

Я почувствовал, что бледнею, она смотрела на меня странным взглядом.

- Хорошо еще, что это я вас нашла. Я бежала за коровами, и у меня сабо скатилось на дорогу, я спустилась за ним, думала, вы мертвый.

- Мне уже лучше, я сейчас встану.

- По крайней мере, не возвращайтесь в таком виде!

- В каком это?

- Вас вырвало, у вас все лицо перемазано, как будто вы ели шелковицу.

Я попытался забрать у нее миску, но она едва не выскользнула у меня из рук.

- У вас руки чересчур дрожат, - сказала она, - дайте-ка я сама, мне не привыкать, о ла-ла! На свадьбе моего брата Нарцисса и не такое было. А? Что вы говорите?

У меня зуб на зуб не попадал, наконец она все же разобрала, что я прошу ее завтра прийти ко мне домой, я ей всю объясню.

- Ну нет, я такие гадости про вас говорила, ужас что. Вам следовало бы отлупить меня. Я ревнива, жутко ревнива, ревнива, как зверь. И не доверяйте другим. Они ябеды, лицемерки.

Говоря все это, она вытирала тряпкой мой лоб, щеки. От холодной воды мне стало лучше, я встал, но меня все еще сильно трясло. Наконец дрожь прошла. Моя маленькая самаритянка подняла фонарь на уровень моего подбородка, наверно, чтобы лучше судить о плодах своих трудов.

- Если хотите, я провожу вас до конца тропинки. Поосторожней на выбоинах. Главное, выбраться с пастбища, а там уж все просто.

Она пошла впереди меня, потом, когда тропинка стала шире, бок о бок со мной, а несколькими шагами дальше вложила свою ручонку в мою, как пай-девочка. Мы шли молча. Коровы угрюмо мычали. Мы услышали, как вдалеке хлопнула дверь.

- Мне пора обратно, - сказала она. Но остановилась, преградив мне путь, и поднялась на цыпочки. - Как придете домой, обязательно лягте, - это помогает лучше всего. Жаль, некому сварить вам кофе. Хуже нет, по-моему, когда у мужчины нет женщины, это ненормально.

Я не мог оторвать взгляда от ее лица. Все в нем было увядшим, почти старообразным, кроме лба, сохранившего удивительную чистоту. Никогда не думал, что этот лоб так чист!

- Послушайте, все, что я сказала, чушь, вранье!

Я отлично знаю, вы не виноваты. Они подсыпали вам порошок в стакан, это у них такая забава, шутка. Но теперь, благодаря мне, они ничего не увидят, мы им наставим нос...

- Куда ты запропастилась, потаскушка!..

Я узнал голос ее отца. Она спрыгнула с откоса, неслышно, как кошка, держа в одной руке свои сабо, в другой фонарь.

- Ш-ш! Быстрей идите домой. Как раз сегодня ночью вы мне снились. Вид у вас был печальный, как сейчас, я проснулась в слезах.

Дома мне пришлось выстирать сутану. Материя была заскорузлой, вода покраснела. Я понял, что меня сильно рвало кровью.

Ложась, я почти принял решение поехать первым же утренним поездом в Лилль. Я был настолько ошарашен - страх смерти пришел позднее, - что будь в живых старый доктор Дельбанд, я тотчас побежал бы в Девр, прямо среди ночи. Но, как всегда, случилось то, чего не ждешь. Я проспал всю ночь без просыпа и пробудился с петухами, в отличном настроении. Я не мог даже удержаться от смеха при взгляде на свою печальную физиономию, пока снова и снова скреб щетину, с которой не управляется ни одна бритва, настоящую шоферскую, кучерскую

щетину... В конце концов, может, кровь, запятнавшая мою сутану, попросту текла у меня из носу? Как это вполне правдоподобное объяснение не пришло мне в голову сразу? Наверно, кровь пошла, когда я ненадолго потерял сознание, и я остался под впечатлением того отвратительного ощущения тошноты, которое томило меня перед обмороком.

Все же я непременно поеду на этой неделе в Лилль проконсультироваться у врача.

После обедни посетил окольтского священника, чтобы попросить его заменить меня, если мне придется отлучиться. Мы едва знакомы, но он почти одних лет со мной и внушает мне доверие. Несмотря на усердную стирку, пластрон моей сутаны выглядит безобразно. Я сказал, что в шкафу опрокинулся флакон с красными чернилами, и он любезно ссудил меня старой теплой сутаной. Что он думает обо мне? Я ничего не прочел в его глазах.

Господина торсийского кюре вчера отвезли в амьенскую клинику. Говорят, у него сердечный приступ, ничего опасного, но он нуждается в медицинской помощи, в уходе сиделки. Перед тем как его уложили в санитарную машину, он нацарапал карандашом записку мне: "Мой ма-

ленький Грибуй, молись усердно Господу Богу и навести меня на той неделе в Амьене".

Выходя из церкви, столкнулся с м-ль Луизой. Я считал, она уже далеко от здешних мест. Она пришла пешком из Арша, туфли ее были все в глине, лицо грязное и, как показалось мне, расстроенное, из шерстяной перчатки, прорванной в нескольких местах, торчали пальцы. И это она - прежде такая аккуратная, холеная! Я ужасно огорчился. Однако с первых же слов понял, что ее терзания не из тех, в которых можно признаться.

Она сказала мне, что последние полгода ей не платили жалованья, а теперь нотариус г-на графа предложил ей совершенно неприемлемую сделку, и она не решается покинуть Арш, живет в гостинице.

- Господин граф окажется в полном одиночестве, это человек слабый, эгоист, дорожащий своими привычками, дочь мигом приберет его к рукам.

Я понял, она еще надеется, не смею сказать - на что. Она старалась говорить округлыми фразами, как и прежде, и минутами ее голос даже чем-то напоминал голос г-жи графини, от которой она переняла также манеру щурить веки близоруких

глаз... Добровольное самоуничижение - царственно, но в зрелище разлагающейся спеси приятного мало!..

- Даже госпожа графиня обращалась со мной, как с человеком из общества. Впрочем, мой двоюродный дед, майор Эднер, был женат на девице Нуазель, а Нуазели им родня. Испытание, ниспосланное мне Богом...

Я не выдержал и прервал ее:

- Не поминайте всуе имя божье.

- О, вам легко меня обвинять, презирать. Вам неведомо, что такое одиночество.

- Кому это ведомо, - сказал я. - Нам никогда не изведать всей глубины нашего одиночества.

- В общем, вы заняты своим делом, дни для вас бегут быстро.

Я невольно улыбнулся.

- Вам сейчас нужно уехать подальше отсюда, порвать все связи. Обещаю получить для вас все, что положено. И перевести по адресу, который вы укажете.

- С помощью мадемуазель, разумеется? Я не думаю ничего дурного об этой девочке, я все ей прощаю. Это необузданная, но великодушная натура. Иногда мне кажется, что, объяснись я с ней откровенно...

Она сняла одну из перчаток и нервно комкала ее в руке. Конечно, она внушала мне жалость, но отчасти и отвращенье.

- Мадемуазель, - сказал я ей, - не говоря уж обо всем другом, хотя бы гордость должна была бы удержать вас от некоторых поступков, к тому же бесполезных. И самое поразительное, что вы хотите втянуть в это меня.

- Гордость? Покинуть эти края, где я жила счастливо, почти как ровня своих хозяев, и отправиться неведомо куда, нищенкой - это вы именуете гордостью? Уже вчера, на рынке, крестьяне, которые прежде кланялись мне чуть не до земли, делали вид, что не узнают меня.

- Не узнавайте и вы их. Будьте гордой!

- Гордость, снова гордость! Да и что такое гордость? Никогда не думала, что гордость - христианская добродетель... Мне странно даже слышать это слово из ваших уст.

- Простите, если вы хотите говорить со священником, он должен потребовать от вас покаяния в грехах, чтобы получить право их отпустить.

- Ничего такого я не хочу.

- Тогда позвольте мне говорить с вами на языке, который вам доступен.

- На мирском?

- Почему бы нет? Прекрасно, когда человек может стать выше собственной гордости. Но прежде нужно до нее возвыситься. Я не вправе свободно рассуждать о чести, как ее понимают миряне, это не предмет разговора для такого ничтожного священника, как я, но мне порой кажется, что честью недостаточно дорожат. Увы, каждый из нас способен рухнуть в грязь, измученному сердцу грязь кажется освежающей. И стыд - это, знаете ли, тоже сон, тяжелый сон, беспробудный хмель. И если последние остатки гордости могут поставить на ноги несчастного, почему бы пренебрегать ею?

- И эта несчастная - я?

- Да, - сказал я. - Я не позволил бы себе унижать вас, если бы не надеялся таким образом избавить от унижения еще более тяжкого, непоправимого, которое навсегда уронило бы вас в ваших собственных глазах. Откажитесь от мысли встретиться с мадемуазель Шанталь, вы понапрасну осрамите себя, она вас растопчет, раздавит...

Я умолк. Я видел, что она подстегивает свою злобу, свое возмущение. Мне хотелось бы выразить ей сочувствие, но все слова, приходившие мне на ум, я это чувствовал, могли только распалить ее жалость к себе и вызвать отвратительные

слезы. Никогда еще я не понимал так хорошо свое бессилие перед лицом невзгод, которые не мог разделить, как бы ни старался.

- Да, - сказала она, - между Шанталь и мною вы выбрали твердо. Мне вас не перетянуть. Она меня сломила.

Ее слова напомнили мне одну фразу из моего последнего разговора с г-жой графиней. "Господь вас сломит!" - вскричал я тогда. Это воспоминанье причинило мне боль.

- В вас нечего ломать! - сказал я. И сразу пожалел об этих словах, но теперь больше не жалею, они вырвались у меня из сердца.

- Она и вас провела, - ответила гувернантка, сделав печальную мину. Она не повышала голоса, но говорила все торопливее, ужасно торопливо, не могу даже передать всего, слова рвались нескончаемым потоком с ее обметанных губ. - Она вас ненавидит. Она возненавидела вас с первого дня. Она дьявольски прозорлива. А уж хитра! От нее ничто не ускользает. Стоит ей нос высунуть на улицу, сбегаются все дети, она пичкает их сахаром, они ее обожают. Она им говорит о вас, они ей рассказывают невесть что о ваших уроках закона божьего, она передразнивает вашу походку, ваш голос. Она неотвязно думает о вас, это ясно. А уж

если она неотвязно о ком-нибудь думает, она превращает этого человека в мальчика для битья, преследует его до самой смерти, она безжалостна. Вот еще позавчера...

Меня точно резануло в самое сердце.

- Замолчите! - сказал я.

- Нет, вы должны знать, что она такое.

- Я знаю! - воскликнул я. - Вам ее не понять.

Она обратила ко мне свое бедное униженное лицо. Ветер высушил слезы на ее смертельно бледных щеках, оставив поблескивающий след, который терялся в темных провалах под скулами.

- Я говорила с Фашоном, помощником садовника, который прислуживает за столом в отсутствие Франсуа. Шанталь все рассказала отцу, они корчились от смеха. Она нашла неподалеку от дома Дюмушелей книжечку с вашим именем на первой странице. Ей пришло в голову расспросить Серафиту, и, как водится, она сумела вытянуть из девочки все...

Я смотрел на нее с дурацким видом, не в силах вымолвить ни слова. Но и в эту минуту, когда она, вероятно, упивалась местью, ничто, даже злоба, не могло изменить выражение ее печальных глаз, в них была неизбывная покорность рабочей

скотины, и только лицо чуть порозовело.

- Похоже, девочка наткнулась на вас, когда вы храпели на дороге в...

Я повернулся к ней спиной. Она побежала за мной, ухватилась за мой рукав, я не смог сдержать жеста отвращения, мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы взять ее руку и тихонько отвести в сторону.

- Уходите! - сказал я. - Я буду молиться за вас.

Мне наконец стало жаль ее.

- Все уладится, поверьте. Я повидаюсь с господином графом.

Она удалилась быстрым шагом, как-то косо склонив голову, точно раненое животное.

Господин каноник де ла Мотт-Бёврон только что уехал из Амбрикура. Я так и не видел его больше.

Сегодня заметил издалека Серафиту. Она пасла свою корову, сидя на обрыве. Я подошел к ней чуть ближе. Она убежала.

Без сомнения, моя всегдашняя робость с некоторого времени приобрела маниакальный характер. Не так-то легко справиться с безотчетным детским страхом, который заставляет меня резко оборачиваться, стоит мне почувствовать на себе чей-нибудь взгляд. Сердце начинает прыгать

в моей груди, и дыханье возвращается только после того, как я услышу "добрый день" в ответ на свое приветствие. Пока этот отклик долетит до меня, я уже успеваю утратить всякую надежду на него.

А меж тем я больше не вызываю любопытства. Приговор мне вынесен, чего же еще от меня ждать? У них теперь есть правдоподобное, привычное, успокоительное объяснение моего поведенья, они могут отвернуться от меня и заняться вещами более насущными. Известно, что я "пью" - пью в одиночестве, тайком, - молодежь добавляет "как сапожник". Как будто все ясно. Остается, увы! мой ужасный вид - краше в гроб кладут, - от которого я, естественно, не могу избавиться и который никак не согласуется с невоздержанностью. Вот этого-то они мне и не простят.

Я очень боялся урока закона божьего, предстоявшего в четверг. Нет, я ждал, конечно, не того, что именуется на школьном жаргоне "буза" (крестьянские дети никогда не бузят), но всяких перешептываний, хихиканья. Однако ничего такого не было.

Серафита пришла с опозданием, задыхающаяся, раскрасневшаяся. Мне показалось, что она

прихрамывает. К концу урока, когда я читал "Sub tuum" [7], я увидел, что она крадется за спинами подружек, и не успел я произнести "Amen", как услышал торопливый стук деревянных подошв по плитам.

Когда церковь опустела, я нашел под кафедрой носовой платок, синий в белую полоску, слишком большой для кармана ее фартука, она часто его теряет. Мне подумалось, что она не осмелится прийти домой без столь драгоценного предмета, так как г-жа Дюмушель славится своей скаредностью.

Серафита и в самом деле вернулась. Она стрелой промчалась к своей скамье, совершенно бесшумно (башмаки она сняла). Хромала она гораздо сильнее, чем раньше, но когда я окликнул ее из глубины церкви, она опять пошла, почти не припадая на ногу.

- Вот твой платок. Не теряй его больше!

Она была очень бледна (я редко видел ее такой, потому что от малейшего волнения она делается пунцовой). Она взяла платок у меня из рук, сердито, даже не поблагодарив. Но не сдвинулась с места. Она стояла, поджав больную ногу.

---

[7] Примечания: 7
Под твой [покров прибегаю] (лат.).

- Ступай, - сказал я ей ласково.

Она сделала шаг к двери, потом повернулась и встала прямо передо мной, очаровательно передернув плечиками.

- Сначала мадемуазель Шанталь меня вынудила (она приподнялась на цыпочки, чтобы смотреть мне прямо в лицо), а потом... потом...

- Потом ты уже говорила охотно? Что поделаешь, девочки болтливы.

- Я не болтливая, я - злая.

- Ты уверена?

- Уверена! Разрази меня Бог! (Она перекрестила лоб и губы большим пальцем, перемазанным чернилами.) Я помню все, что вы им говорили, - все ласковые слова, комплименты, да вот хотя бы - вы сказали Зелиде "моя маленькая". Моя маленькая! Этой пузатой косоглазой кобыле! Только такому, как вы, это и может взбрести на ум!

- Ты ревнуешь.

Она глубоко вздохнула, прищурив глаза, точно всматривалась в глубины своей мысли, в самые глубины.

- А вы ведь даже некрасивый,- процедила она сквозь зубы с невообразимой серьезностью. - Все дело в том, что вы грустный. Даже когда улыбаетесь, все равно - грустный. Мне кажется, что если

бы я поняла, почему вы грустный, я бы никогда больше не делала ничего дурного.

- Я грустный потому, что люди не любят Бога.

Она покачала головой. Синяя грязная лента, которой она перехватывает на макушке свои жалкие волосенки, развязалась, и ее концы нелепо болтались у подбородка. Мои слова явно показались ей непонятными, совершенно непонятными. Но она не долго раздумывала.

- Я тоже грустная. Это хорошо - быть грустной. Это искупает грехи, иногда говорю я себе...

- Ты, значит, много грешишь?

- Еще бы! (Она бросила на меня взгляд, в котором был и упрек, и какое-то смиренное признанье.) Вам же отлично это известно. И не в том дело, что они так уж меня интересуют, мальчишки! Они ничего не стоят. Такие дураки! Просто бешеные псы, да и только.

- И тебе не стыдно?

- Стыдно. Мы вместе с Изабеллой и Ноэми часто встречаемся с ними там, наверху, за Маликорновым холмом, в песчаном карьере. Сначала мы все скатываемся с горки. Тут уж я самая отчаянная, можете не сомневаться! А когда они все уходят, я играю в покойницу...

- В покойницу?

- Ну да, в покойницу. Вырою яму в песке, лягу в нее на спину, вытянусь, руки на груди скрещу, глаза закрою. Стоит мне пошевелиться, хоть самую чуточку, песок сыплется за шиворот, в уши, даже в рот. Я хотела бы, чтобы это была не просто игра, чтобы я в самом деле умерла. После разговора с мадемуазель Шанталь я там пролежала несколько часов. Когда я вернулась домой, папа меня отлупцевал. Я даже заплакала, а это со мной случается не часто...

- Значит, ты никогда не плачешь?

- Нет. Слезы кажутся мне противными, грязными. Когда плачешь, грусть выходит из тебя, а сердце тает, как масло, фу, мерзость! Или же... (она снова прищурилась) может, нужно найти какой-то другой... другой способ плакать, что ли? По-вашему, все это глупо?..

- Нет, - сказал я. Я не знал, как ей ответить, боялся, что малейшая неосторожность отдалит от меня навсегда этого дикого зверька. - Настанет день, когда ты поймешь, что такой другой способ плакать - молитва, только в слезах молитвы нет малодушья.

При слове "молитва" она насупила брови, както по-кошачьи сморщив нос. Она повернулась ко мне спиной и, сильно хромая, пошла к двери.

- Почему ты хромаешь?

Она резко остановилась, напружинилась всем телом, готовая сорваться с места, оборотила ко мне только лицо. Потом опять передернула плечиками, как в первый раз. Я потихоньку приблизился, она тщетно пыталась натянуть на колени свою серую шерстяную юбку. Через дырку в чулке я увидел, что нога у нее совершенно лиловая.

- Вот из-за чего ты хромаешь, - сказал я, - что это?

Она отскочила назад, но я успел схватить ее за руку. Она стала вырываться, и чуть выше икры приоткрылась толстая веревка, стянутая так туго, что по обе ее стороны набухли два валика, лиловые, как баклажан. Выдернув руку, она запрыгала на одной ноге между скамей, мне удалось поймать ее только в двух шагах от двери. Она глядела на меня с такой серьезностью, что сначала я молчал.

- Это я наказала себя за то, что выболтала все мадемуазель Шанталь, я дала обет не снимать веревки до сегодняшнего вечера.

- Разрежь немедленно! - сказал я и протянул ей свой нож, она молча подчинилась. Но боль от внезапного прилива крови была, вероятно, чудо-

вищна, так как она скорчила ужасную гримасу. Если бы я ее не подхватил, она наверняка упала бы. - Обещай мне, что это не повторится.

Она кивнула, все с той же серьезностью, и ушла, держась рукой за стену. Храни ее Господь!

Ночью у меня, по-видимому, было кровотечение, пустяковое, конечно, но теперь я уже не могу обманываться, нос тут ни при чем.

Было бы неразумно откладывать без конца визит к врачу в Лилль, и я написал доктору, попросив его принять меня пятнадцатого. Через десять дней.

Я выполнил обещание, которое дал м-ль Луизе. Мне было трудно заставить себя пойти в замок. Но, к счастью, я повстречался с г-ном графом на улице. Его, казалось, ничуть не удивила моя просьба, можно подумать, он ждал ее. Я и сам действовал на этот раз гораздо более ловко, чем надеялся.

С обратной почтой получил ответ от доктора. Он согласен принять меня пятнадцатого. Я сумею обернуться за сутки.

Вместо вина я пью теперь очень крепкий кофе. Это мне на пользу. Чувствую себя хорошо, но из-за кофе у меня бессонница. Я не страдал бы от нее, иногда она мне даже приятна, если бы не сердце-

биение, по правде говоря довольно томительное. Рассвет, как всегда, приносит мне избавление. Он сладостен, как божья благодать, как улыбка. Да будет благословенно утро.

Силы возвращаются ко мне и вместе с ними что-то вроде аппетита. К тому же стоит прекрасная погода, сухо и холодно. Луга в белом инее. Деревня совсем иная, чем осенью, в прозрачном воздухе она словно мало-помалу приобретает невесомость, и когда солнце начинает клониться к закату, кажется, что она висит в пустоте, не прикасаясь к земле, ускользает от меня, возносится. Зато сам я будто тяжелею, точно мой вес все сильнее притягивает меня к земле. Иногда это обманчивое ощущение настолько навязчиво, что я смотрю со своего рода ужасом, с необыкновенным омерзением на свои грубые башмаки. Зачем они здесь, в этом сияющем свете? Мне чудится, что они увязают в почве.

Молюсь я, конечно, лучше. Но сам не узнаю своей молитвы. Раньше она была настоятельной мольбой, и даже когда я читал, например, по требнику, что отвлекало мое внимание, я ощущал себя собеседующим с Богом, то просительно, то упрямо, требовательно - да, я хотел вырвать у него милости, силой добиться его ласки. Теперь

я ничего не хочу. Подобно деревне, моя молитва стала невесомой, она возносится... Хорошо ли это? Плохо? Не знаю.

Опять небольшое кровотечение, точнее, я харкаю кровью. Страх смерти коснулся меня. Конечно, мысль о смерти часто посещала меня и раньше, подчас внушала боязнь. Но боязнь не страх. Это длилось всего мгновение. Не знаю, с чем сравнить это пронзительное ощущение. С ударом тонкого бича по сердцу, возможно?.. О, Голгофа!

Легкие у меня в плохом состоянии, это точно. Но ведь доктор Дельбанд внимательно меня выслушал. За несколько недель туберкулез не мог значительно прогрессировать. К тому же с этой болезнью нередко можно совладать энергичным усилием, волей к выздоровлению. Я способен на это.

Сегодня завершил посещения, которые г-н торсийский кюре иронически назвал "надомными". Если бы мне не был так ненавистен лексикон, привычный для многих из моих собратьев, я сказал бы, что эти визиты были "утешительными". А меж тем я отложил на конец те из них, положительный исход которых казался мне наименее вероятным... Откуда вдруг эта легкость

в отношениях с людьми и вещами? Или она воображаема? Или я утратил чувствительность к мелким неприятностям? Или теперь, когда мое ничтожество признано всеми, это обезоружило подозрительность, антипатию? Все проходит передо мной, точно во сне.

(Страх смерти. Второй приступ был, мне кажется, не таким острым, как первый. Но какое странное чувство - это содрогание, это сжатие всего существа вокруг какой-то точки в груди...)

Только что была у меня одна встреча. Встреча, впрочем, ничем не удивительная! В том состоянии, в котором я сейчас, самое ничтожное событие теряет свои точные пропорции, словно пейзаж в тумане. Короче, я повстречал, как мне думается, друга, мне открылась дружба.

Это признание немало удивило бы моих прежних товарищей, так как я слыву человеком, который хранит верность приятельским отношениям, сложившимся в юности. Я помню все даты, славлюсь, например, тем, что не забываю никого поздравить с годовщиной рукоположения. Над этим даже посмеиваются. Но все это не более, чем приятельские отношения. Теперь я понимаю, что дружба между двумя людьми может вспыхнуть внезапно с той неодолимой силой, которую ми-

ряне готовы признать лишь за любовью с первого взгляда.

Итак, я направлялся в Мезанг, когда услышал вдалеке за спиной рев сирены и тарахтенье, которое то наполняло собой воздух, то стихало, в зависимости от капризов ветра или изгибов дороги. В последние дни все уже привыкли к этим звукам, и никто даже головы не подымает. Только скажут: "Опять этот мотоцикл г-на Оливье". Машина немецкая, поразительная, она похожа на небольшой сверкающий локомотив. Настоящее имя г-на Оливье Тревий-Соммеранж, он приходится племянником г-же графине. Старики, знавшие его здесь ребенком, неистощимы на рассказы о нем - восемнадцати лет пришлось отправить его в армию, настолько трудным был этот мальчик.

Я остановился передохнуть на склоне холма. Шум мотора на несколько секунд затих (наверное, из-за крутого Диллонского поворота), потом вдруг снова стал нарастать. Это напоминало какой-то дикий вопль, повелительный, угрожающий, отчаянный. Почти тотчас на гребне передо мной возник сноп пламени - солнце било прямо в отполированную сталь, - и вот уже машина промчалась по спуску и с мощным рыком так

стремительно поднялась вверх, что казалось, единым махом вспрыгнула на холм. Когда я кинулся в сторону, чтобы пропустить ее, сердце точно оборвалось в моей груди. Лишь через минуту я осознал, что не слышу больше рева, только пронзительный стон тормозов, скрежет колес о гравий дороги. Потом не стало и этих звуков. Наступившая тишина показалась мне оглушительней грохота.

Господин Оливье стоял передо мной, в сером свитере, закрывавшем шею до самых ушей, с непокрытой головой. Так близко я еще ни разу его не видел. Лицо у него спокойное, внимательное, а глаза настолько светлые, что мне трудно даже сказать, какого они в точности цвета. Он глядел на меня и улыбался.

- Не соблазнитесь, господин кюре? - спросил он меня голосом... Боже мой, голосом, который я тотчас узнал, - мягким и непреклонным голосом г-жи графини. (Я не слишком хороший физиономист, как принято говорить, но памятлив на голоса, их я никогда не забываю, я люблю голоса. Слепец, которого ничто не отвлекает, должно быть, многое узнает из голосов.)

- А почему бы нет, сударь? - ответил я.

Мы молча оглядывали друг друга. Я прочел в

ею взгляде удивленье, легкую иронию. Рядом с этой яркой машиной моя сутана выглядела черным и унылым пятном. Что за чудо, почему я ощутил себя в эту минуту юным, совсем юным да, совсем юным, - ничуть не менее юным, чем само победоносное утро? Передо мной промелькнуло мое тоскливое отрочество - не так, как проходит, говорят, перед утопающим вся его жизнь, прежде чем он окончательно идет ко дну, ибо это не было чредой мгновенно сменяющих друг друга картин, нет. Мое отрочество предстало передо мной, как личность, как некое существо (живое или мертвое, одному Богу известно!). Но я не был убежден, что узнаю его, я не мог его узнать, потому что... это покажется очень странным - потому что я увидел его впервые, я никогда прежде его не видел. Оно прошло когда-то, как проходят поблизости от нас посторонние люди, и, может, среди этого множества людей есть такие, которые могли бы стать нам братьями, но они исчезли навсегда. Я никогда не был юным, потому что не осмелился. Жизнь вокруг меня, вероятно, текла как обычно, мои товарищи познали эту терпкую весну, насладились ею, в то время как я старался о ней не думать, оглушая себя работой. В приятелях у меня, конечно, недостатка не было! Но

даже самым близким из друзей внушала, верно, безотчетный страх та печать, которую наложило на меня мое раннее детство, мой детский опыт нищеты, ее позора. Если бы я открыл им свое сердце... но именно то, что мне пришлось бы в таком случае сказать, я и хотел как раз скрыть во что бы то ни стало. Господи, сейчас это мне кажется таким простым! Я никогда не был юным, потому что никому не захотелось быть юным вместе со мной.

Да, все вдруг мне показалось простым. Этого я никогда не забуду. Светлое небо, фиолетовый туман, отливающий золотом, склоны еще белые от изморози, и эта ослепительная машина, тихонько урчавшая на солнце... Я понял, что юность благословенна, что в юности есть свой риск - но и этот риск благословен. И какое-то предчувствие, которого я не могу объяснить, подсказывало мне - я это твердо знал, - что Бог не пожелал, чтобы я умер, не приобщившись хоть отчасти к этому риску, - может, лишь настолько, насколько это необходимо для полноты жертвы, когда придет для нее час. Мне дано было познать этот славный миг в его мимолетности.

Такие слова по поводу ничем не замечательной встречи, вероятно, покажутся совершенно

идиотскими, я знаю. Но что мне за дело до этого! Чтобы не быть смешным в счастье, надо этому научиться с пеленок, с дней, когда еще не умеешь пролепетать ни слова. У меня никогда, ни на секунду не будет этой уверенности, этого изящества. Счастье! Своего рода гордость, веселье, абсурдная, чисто плотская надежда, плотская форма надежды - мне кажется, именно это они и называют счастьем. Короче, я ощутил себя юным, по-настоящему юным рядом с этим, таким же юным, как я, товарищем. Мы оба были юны.

- Куда вы направляетесь, господин кюре?

- В Мезарг.

- Вам еще никогда не приходилось ездить на мотоцикле?

Я расхохотался. Я думал про себя, что доведись мне лет двадцать тому назад хотя бы ласково провести рукой, как я это делал сейчас, по продолговатому корпусу, содрогавшемуся от медленной пульсации мотора, я обмер бы от восторга. Не помню, чтобы в детстве я осмеливался даже мечтать об одной из таких игрушек, сказочно недоступных маленьким беднякам, о какой-нибудь из этих механических игрушек, которые сами движутся. Однако эта мечта, видно, дремала где-то в глубоких тайниках моего "я". И не

оттуда ли, из прошлого, она всплывала теперь, неожиданно разгораясь в моей больной груди, уже тронутой, возможно, смертью? Она пылала там, как солнце.

- Право, - продолжал он, - вы можете похвалиться тем, что сразили меня. И вы не боитесь?

- Ничуть, почему я должен бояться?

- Да ни почему.

- Послушайте,- сказал я, - отсюда до Мезарга дорога пустынна, мы, скорей всего, никого не встретим. Мне бы не хотелось, чтобы над вами смеялись.

- Я просто дурак. - сказал он, помолчав.

Я кое-как вскарабкался на маленькое сиденье, довольно неудобное, и почти тотчас длинный склон, который был перед нами, словно отпрыгнул назад, меж тем как пронзительный голос мотора набирал все больше и больше высоту, пока не слился в единую ноту удивительной чистоты. Это была точно песнь света, сам свет, и мне чудилось, что все мои желанья стремятся следом за ней, по гигантской кривой ее чудесного взлета. Пейзаж не надвигался на нас, он открывался со всех сторон и где-то, за смятенным скольжением дороги, величественно обращался вокруг собственной оси, подобно вратам, разверстым в

иной мир.

Я был совершенно неспособен измерить ни расстояние, покрытое, нами, ни время. Знаю только, что ехали мы быстро, очень быстро, все быстрее и быстрее. Встречный ветер уже не был, как вначале, барьером, на который налегало всей своей тяжестью мое тело, он превратился в головокружительный коридор, в прогал между воздушными колоннами, вращавшимися с непостижимой скоростью. Я ощущал, как они откатываются назад справа и слева от меня, точно упругие стены, и когда я пытался отвести в сторону руку, ее прижимало к моему боку неодолимой силой. Мы были уже у поворота на Мезарг. Мой водитель на миг обернулся. Примостившись на высоком сиденье, я возвышался над ним, так что ему приходилось смотреть на меня снизу вверх.

- Берегитесь! - крикнул он.

Глаза его смеялись, лицо было напряжено, ветер вздымал дыбом длинные светлые волосы. Я увидел, как подъем дороги ринулся на нас, потом внезапно бросился наутек, описав растерянную кривую. Беспредельный горизонт дважды покачнулся, и вот мы уже летели вниз по Деврскому откосу. Мой спутник что-то крикнул мне, я в ответ рассмеялся, я чувствовал себя счастливым,

раскрепощенным, все куда-то отступило. Наконец до меня дошло, что он несколько удивлен моим видом, возможно, думает, что напугал меня. Мезарг остался позади. Протестовать было свыше моих сил. В конце концов, подумал я, мне понадобилось бы не меньше часа, чтобы добраться туда пешком, так что я еще выиграл время...

К церковному дому мы подъехали на более разумной скорости. Небо заволокло тучами, с севера повеяло холодом. Я ощутил, что пробудился от сна.

По счастью, дорога была пустынна, мы не встретили никого, кроме старухи Мадлен, собиравшей хворост. Она даже не обернулась. Я полагал, г-н Оливье поедет дальше, в замок, но он очень мило попросил разрешения зайти ко мне. Я не знал, что ответить. Я отдал бы все на свете за возможность угостить его, в моей крестьянской башке твердо засело, что военного всегда мучат голод и жажда. Но я, естественно, не осмелился предложить ему моего вина, превратившегося в никуда не годное мутное пойло. Мы разожгли хворост в камине, и он набил свою трубку.

- Жаль, я завтра уезжаю, мы могли бы повторить...

- С меня, пожалуй, хватит, - ответил я. - Людям

не слишком бы понравилось, что их кюре носится по дорогам со скоростью экспресса К тому же недолго и разбиться.

- Вы этого боитесь?

- О нет... В общем, не так уж... Но что подумал бы монсеньер?

- Вы мне очень нравитесь, - сказал он. - Мы подружились бы.

- Я и вы?

- Конечно! И не думайте, что я так говорю, ничего о вас не зная. Там только о вас и говорят.

- Дурно?

- Скорее... Моя кузина в бешенстве. Настоящая Соммеранж эта девица.

- Что вы хотите этим сказать?

- Да я и сам ведь Соммеранж. Мы, Соммеранжи, ненасытны и твердолобы, ничем не можем удовлетвориться, должно быть, дьявол наградил нас этой неуживчивостью, из-за которой мы не перестаем враждовать с собой, так что наши добродетели смахивают на наши пороки, и самому Господу Богу было бы трудно разобраться, кто в нашей семье негодяй, а кто святой, найдись случайно такой. Единственное качество, присущее нам всем, - мы, как чумы, страшимся чувства. Делить с другим наши радости мы ненавидим, но

зато проявляем порядочность хотя бы в том, что не взваливаем на него свои беды. В час смерти это неоценимое достоинство, и истина обязывает меня отметить, что умираем мы неплохо. Так-то. Теперь вы знаете столько, сколько я сам. Все это в совокупности делает из нас неплохих солдат. К сожалению, это ремесло пока недоступно женщинам, так что женщины в нашем семействе, черт побери!.. Моя бедная тетушка нашла для них девиз: "Все или ничего". Я как-то ей сказал, что в этом девизе мало смысла, если только не рассматривать его как вызов. А вызов такого рода всерьез можно бросить лишь в свой смертный час, не правда ли? Никто из наших, однако, не вернулся, чтобы сообщить нам, был ли этот вызов принят и кем.

- Я убежден, что вы веруете в Бога.

- В нашей семье, - ответил он, - такими вопросами не задаются. Мы все веруем в Бога, даже самые худшие из нас - худшие, возможно, даже сильней других. Думаю, мы слишком обуяны гордыней, чтобы согласиться творить зло, ничем не рискуя: так что у нас всегда есть свидетель, с которым предстоит столкнуться, - Бог.

От этих слов у меня должно было разорваться сердце, потому что в них легко было бы увидеть

богохульство, а меж тем они вовсе не смутили меня.

- Столкнуться с Богом не так уж плохо, - сказал я, - Это заставляет человека во всем идти до конца - ставить на карту всю свою надежду до конца, всю надежду, на которую он способен. Но только Бог иногда отворачивается...

Он уставился на меня своими светлыми глазами.

- Мой дядя считает вас ничтожным, грязным священнишкой, и он даже утверждает, что вы...

Кровь бросилась мне в лицо.

- Я надеюсь, вы не считаетесь с его мнением, он глуп как пробка. Что касается моей кузины...

- Хватит, прошу вас! - сказал я. Я чувствовал, что слезы навертываются у меня на глаза, но ничего не мог поделать с этой неодолимой слабостью, от отчаяния, что я поддаюсь ей, меня охватил озноб, я присел на корточки у края камина, прямо в золу.

- Я впервые вижу, чтобы моя кузина выражала какое-то чувство с такой... Обычно она не допускает никакого нескромного вторжения, при малейшей попытке у нее делается каменное лицо.

- Лучше уж говорите обо мне...

- О вас! Да, если бы не этот черный чехол, вы были бы точь-в-точь как любой из нас. Я понял это с первого взгляда.

Я не понимал (да и сейчас не понял).

- Не хотите же вы сказать, что...

- Именно хочу. Но вам, может быть, не известно, что я служу в Иностранном легионе?

- В Иностранном легионе?..

- Ну да, в Легионе, что тут такого! Это слово внушает мне отвращение с тех пор, как романисты сделали его модным.

- Так как же священник?.. - пробормотал я.

- Священник? У нас и в священниках нет недостатка. Да вот хотя бы ординарец моего майора - прежде он был кюре в Пуату. Мы об этом узнали только после...

- После?..

- После его смерти, черт возьми!

- И как он?..

- Как он умер? На вьючном муле, будь оно проклято, перепеленатый, как сосиска. С пулей в брюхе.

- Я не об этом вас спрашиваю.

- Послушайте, я не хочу вам лгать. Ребята любят порисоваться в такую минуту... У них есть для этого два или три выраженья, которые не

слишком отличаются от тех, что вы именуете богохульствами, будем откровенны!

- Какой ужас!

Со мной творилось что-то необъяснимое. Господь ведает, что мне никогда не приходилось особенно задумываться об этих жестоких людях, об их ужасном, воинственном призвании, потому что для моего поколения слово "солдат" было связано с будничным образом гражданского человека, мобилизованного в армию. Я вспоминаю отпускников, которые являлись домой с набитыми солдатскими сумками и в тот же вечер выходили на улицу в вельветовых штанах - такими же крестьянами, как все вокруг. И теперь слова этого незнакомца вдруг пробудили во мне неизъяснимое любопытство.

- Но богохульство богохульству рознь, - продолжал мой собеседник своим спокойным, почти суровым голосом. - Для наших ребят это способ жечь за собой мосты, для них это дело привычное. Глупость, конечно, но ничего грязного тут, по-моему, нет. Их поставили вне закона в этом мире, вот они и ставят себя сами вне закона в ином. Если Господь Бог не спасает солдат, всех солдат без разбору, потому что они - солдаты, нечего и добиваться. Одним богохульством больше, чтобы

не отстать, чтобы получить по той же мерке, что и товарищи, не искать льготы, не оказаться в привилегированном меньшинстве, только и делов - а потом, была ни была!.. В общем, все тот же девиз - все или ничего, - вы не находите? Бьюсь об заклад, что и вы...

- Я?

- Ну, конечно, тут есть оттенки. Но если бы вы только захотели взглянуть на себя...

- Взглянуть на себя!

Он не выдержал и рассмеялся. Мы дружно смеялись так же, как только что смеялись там, на дороге, в солнечном свете.

- Я хочу сказать, что если бы ваше лицо не выражало... - он приостановился, но светлые глаза теперь уже не сбивали меня с толку, я читал в них его мысль,- привычку к молитве, полагаю, - закончил он. - Черт побери, не умею я говорить на этом языке...

- Молитва! Привычка к молитве! Увы! Если бы вы только знали... я молюсь плохо.

Он ответил очень странно, я с тех пор немало раздумывал о его словах.

- Для меня привычка к молитве это скорее неотступная озабоченность молитвой, борьба, усилье. Неутихающая боязнь страха, страх страха,

который лепит лицо отважного человека. Ваше лицо - позвольте мне сказать - точно изношено молитвой, оно напоминает ветхий молитвенник или те стертые лики, что выбиты резцом на могильных плитах. Не беда! Я думаю, понадобилось бы не так много, чтобы оно стало лицом человека вне закона, молодчика вроде нас. Впрочем, дядя утверждает, что у вас отсутствует всякое понимание социальных устоев. Признайтесь: наш порядок не их порядок.

- Я не отвергаю их порядка, - ответил я, - я только ставлю ему в вину отсутствие любви.

- Наши ребята не входят во все эти тонкости. Они только считают, что Бог стал на сторону того правосудья, которое они презирают, как правосудье, лишенное чести.

- Но сама честь, - начал я...

- О да, конечно, честь они понимают по-своему... Но как бы примитивно это ни выглядело на взгляд ваших казуистов, их закон хорош хотя бы тем, что за него дорого плачено, очень дорого. Он подобен жертвенному камню булыжник как булыжник, может, чуть покрупней других, но обагренный очистительной кровью. Разумеется, с нами не все ясно, и теологам пришлось бы здорово поломать головы с нашим случаем, если бы эти

доктора богословия нашли время нами заняться. Но, как бы там ни было, ни один из них не посмел бы утверждать, что мы, живые или мертвые, принадлежим миру, над которым тяготеет вот уже двадцать столетий единственное евангельское проклятие. Ибо закон этого мира - отказ, а мы ни в чем не отказываем, даже в собственной шкуре, и - наслажденье, а мы и распутничаем-то только ради передышки и забвения, для нас что разврат, что сон, и - корысть, а у большинства из нас нет ничего, даже незаинвентаризованной одежды, чтобы быть в ней положенным в землю. Согласитесь, что такая нищета выдерживает сравнение с нищетой некоторых модных монахов, которые специализировались на разведывании редких душ!..

- Послушайте, - сказал я, - есть солдаты-христиане... - Голос мой дрожал, как всегда, когда какой-то неведомый знак предупреждает меня, что, хочу я того или не хочу, слова мои, по воле божьей, либо принесут утешенье, либо введут в соблазн.

- Рыцари? - ответил он с улыбкой. - Когда я учился в коллеже, на устах у святых отцов только и было что рыцарские шлемы и латы, "Песнь о Роланде" нам подавали как французскую "Илиа-

ду". Эти славные ребята, ясное дело, были вовсе не такими, как воображают барышни, но, черт возьми, враги-то видели их - щит к щиту, плечо к плечу. Они стоили того, чего стоил высокий образ, на который они равнялись. А это образ незаемный. У людей нашей породы рыцарство было в крови, церкви только и осталось, что его благословить. Солдаты, солдаты в чистом виде - вот кто были рыцари, других таких солдат не видел мир. Защитники града, они не были его слугами, они держались с ним на равных. Самое высокое воплощение воина прошлого - солдат-пахарь Древнего Рима - после них как бы изгладилось из Истории. Нет, я не утверждаю, что все они были справедливы и чисты. И тем не менее они представляли справедливость, особую справедливость, о которой вот уже века и века печалятся или грезят бедняки. Ведь справедливость в руках сильных мира сего только орудие власти, ничем не лучше любого другого. Можно ли тут говорить о справедливости? Правильнее было бы сказать - несправедливость, но несправедливость рассчитанная, действенная, целиком опирающаяся на ужасное знание сопротивляемости слабого, его способности вынести страдания, унижения и невзгоды. Несправедливость, поддерживае-

мая на должном уровне давления достаточном, чтобы безостановочно вращались все колесики гигантской машины, производящей богачей, но в то же время не слишком высоком, чтобы котел не взорвался. И вот по всей христианской земле пробежал слух, что создается нечто вроде жандармерии Господа нашего Иисуса Христа... Слух сам по себе дело не великое, согласен! Но заметьте вот что - если задуматься над баснословным, непреходящим успехом такой книги, как "Дон-Кихот", нельзя не понять, что человечество по сю пору мстит смехом за свою великую обманутую надежду, значит, оно долго ее еще носило в своем сердце, значит, она глубоко в нем укоренилась! Отмстители за поругание - рыцари восстанавливали железной рукой попранную справедливость. И сколько бы вы ни твердили - эти люди рубили наотмашь, рубили с плеча, они врубились и в ваше сознанье. Еще и сегодня немало женщин готово дорого дать за право носить их имена, жалкие солдатские имена, а наивные аллегории, некогда намалеванные на рыцарских щитах неумелой рукой какого-нибудь клирика, тревожат воображение богатейших королей угля, нефти или стали. Вы не находите, что это комично?

- Нет, - сказал я.

- А я нахожу! До смерти смешно думать, что светские люди тешат себя мыслью, будто у них есть что-то общее с теми высокими ликами, и это после семи веков домашнего прозябания, лени и супружеских измен. Куда им! Те солдаты были неотторжимой частью христианского мира, а ныне христианский мир утрачен. Христианского мира уже нет и не будет.

- Почему?

- Потому что больше нет солдат. А раз нет солдат, значит, нет и христианского мира. Знаю, вы мне скажете, что его восприемница - церковь, и это главное. Не спорю. Но только с земным царством Христа покончено навсегда. Надежда на него умерла вместе с нами.

- Вместе с вами? - вскричал я. - Вот уж в ком нет недостатка, так это в солдатах!

- В солдатах? Называйте этих людей военнослужащими, так будет вернее. Последний настоящий солдат пал тридцатого мая тысяча четыреста тридцать первого года, и убили его вы, вы, служители церкви! Хуже чем убили: осудили, отлучили, сожгли!

- Мы также причислили ее к лику святых...

- Вы? Скажите уж лучше, на то была воля Гос-

подня. А он вознес ее так высоко именно потому, что она была последним солдатом. Последний из этой породы не мог не быть святым. Господь пожелал также, чтобы им была святая. Он уважил древний рыцарский кодекс. Древний меч, не опустившийся ни перед кем, покоится на коленях, которые самый гордый воин может лишь поцеловать, обливаясь слезами. Мне, знаете, по душе это сдержанное напоминание о турнирах, когда герольды возглашали: "Честь дамам!" Вашим докторам богословия, которые относятся с такой опаской к прекрасному полу, тут есть от чего злобно передернуться, а?

Казалось, я должен был рассмеяться - его шутка была вполне в духе тех, которые мне не раз доводилось слышать в семинарии, но я видел в его глазах хорошо знакомую мне печаль. Такая печаль берет меня за душу, я перед ней совершенно теряюсь, непреодолимо, по-дурацки робею.

- В чем же вы упрекаете церковнослужителей? - наконец выдавил я из себя, не найдя ничего лучшего.

- Я? Да ни в чем особенном. В том только, что они обмирщили нас. Первым настоящим обмирщением было обмирщение воина. И это случилось не вчера. Когда вы хныкали по поводу эксцессов

национализма, вам следовало вспомнить, как вы заигрывали с законодателями Возрождения, которые, припрятав в карман христианское право, восстановили у вас под носом, смеясь вам в лицо, языческое государство, знающее только один закон - закон собственного спасения, все эти безжалостные отечества, исполненные алчности и гордыни.

- Послушайте, - сказал я, - я не слишком сведущ в истории, но, как мне кажется, в феодальной анархии таились свои опасности.

- Без сомнения... Вы не рискнули иметь с ними дело. Вы бросили христианский мир в незавершенном виде, слишком уж медленно он созидался, дорого стоил, мало давал доходу. Впрочем, разве вы не строили некогда свои соборы из камней языческих храмов? Новое право? Зачем, когда под рукой есть кодекс Юстиниана?.. "Все под контролем Государства, и Государство под контролем Церкви" - эта изящная формула должна была прийтись по вкусу вашим политикам. Да только рядом были мы, мы - воины. И у нас были наши привилегии, и наше братство - поверх всех границ. У нас были даже собственные обители. Монахи-воины! Было от чего перевернуться в гробу римским проконсулам, да и вам тоже, вам

тут тоже нечем было гордиться! Честь солдата, сами понимаете, не поймать в силки казуистики. Достаточно перечесть процесс Жанны д'Арк. "Вы поклялись, что верите в наших святых, верны сюзерену, признаете законность французского короля, так доверьтесь же нам, говорили они, - и мы даруем вам прощение во всем". - "Я не нуждаюсь в том, чтобы мне что-нибудь прощали!" - восклицала она. "Так что же, нам проклясть вас?" Она могла бы ответить: "Пусть же я буду проклята вместе с моей присягой". Ибо нет для нас закона, кроме присяги. Вы благословили эту присягу, но покорны мы были ей, не вам. Не в том дело! Вы нас выдали Государству. Государство, которое нас вооружает, обмундировывает и ставит на довольствие, берет на себя также нашу совесть. Нам запрещено судить, запрещено даже понимать. А ваши богословы все это одобряют, не сморгнув. Покривившись, они разрешают нам убивать, убивать где угодно, как угодно, убивать по приказу, словно мы палачи. Защитники родины, мы подавляем также мятежи, а если мятеж одержит победу, служим победителю. Мы освобождены от верности. Такой режим и превратил нас в военнослужащих. Мы - военнослужащие в чистом виде, до такой степени, что в демократической

стране, где никаким холуйством не удивишь, холуйство генералов-министров представляется скандальным даже адвокатам. Мы до такой степени военнослужащие - и ничего больше, - что Лиоте, человек из породы великих военачальников, неизменно отвергает это порочащее звание. Впрочем, скоро и с военнослужащими будет покончено. Все, от семи до шестидесяти лет... Все? Что все?.. Само слово "Армия" теряет всякий смысл, когда народы набрасываются друг на друга точно дикари, право слово! - точно эти дикие племена, в которых по сто миллионов. А богословы, чувствуя все большее омерзение, все так и будут подписывать индульгенции - отпущения грехов, отпечатанные в типографии и составленные, надо полагать, редакторами министерства национальной совести? Но где же предел? Когда же они, между нами говоря, остановятся, ваши богословы? Отменные убийцы будут завтра убивать без всякого риска. Какому-нибудь гнусному инженеришке, расположившемуся по-домашнему, в шлепанцах, с командой специально обученных рабочих где-нибудь на высоте в тридцать тысяч футов над землей, достаточно будет нажать кнопку, чтобы уничтожить целый город и скорехонько вернуться восвояси, опаса-

ясь только одного - как бы не опоздать к обеду. Ясное дело, такого чиновника никому и в голову уже не придет называть солдатом. Да достоин ли он называться даже военнослужащим? Ну где вы, духовенство, отказавшееся в семнадцатом веке хоронить на освященной земле бедных комедиантов, где похороните вы этого субъекта? Неужели наше ремесло так марает человека, что у нас полностью отняли право нести ответственность за свои действия, как будто мы разделяем чудовищную невинность нашей стальной механики? Как же так! Какого-нибудь несчастного парня, если он весенним вечером опрокинет на мох подружку, вы обвиняете в смертном грехе, а убийца целых городов, стоит ему только сменить штаны, может причаститься телу господню, пока отравленные им дети умирают, надрывая свои бедные легкие на материнской груди. Комедианты - вот вы кто! И нечего делать вид, будто вы ведете переговоры с нашими кесарями! Древний град мертв, мертв, как мертвы его боги. А кто такие боги-покровители современного града, нам известно - они пируют в светском обществе, это банкиры. Можете заключать какие угодно конкордаты! Вне христианского мира на Западе нет места ни для отчизны, ни для солдата, а ваша

трусливая уступчивость скоро окончательно обесчестит как первую, так и второго!

Он встал, вбирая меня своими странными глазами, голубизна которых по-прежнему оставалась бледной, но в полумраке казалась словно позолоченной. Яростным жестом швырнул в золу свою сигарету.

- Мне лично плевать на все, - снова заговорил он, - меня убьют раньше.

Каждое его слово переворачивало мне душу. Увы! Бог предался в наши руки - Душой и Телом - Тело, Душа, Честь Бога были в наших священнических руках, и то, что эти люди расточают на всех дорогах мира... "Сумеем ли мы хотя бы умереть, как они?" - думал я. На мгновение я прикрыл лицо руками, я был в ужасе от того, что слезы текли у меня между пальцев. Плакать перед ним, как ребенок, как женщина! Но Господь вернул мне немного мужества. Я поднялся, сделав над собой усилье, опустил руки и - воспоминанье об этом мучит меня - открыл ему свое несчастное лицо, свои постыдные слезы. Он долго не отрывал от меня взгляда. О, гордость все еще жива во мне! Я боялся увидеть презрительную или хотя бы жалостливую улыбку на волевых губах - меня страшила даже больше его жалость, чем

презрение.

- Вы отличный парень, - сказал он, - в свой смертный час я не пожелал бы другого священника.

И он расцеловал меня, как целуют дети, в обе щеки.

Я решил поехать в Лилль. Сегодня утром явился мой заместитель. Оп нашел, что выгляжу я неплохо. Я и вправду чувствую себя лучше, много лучше. Строю тысячи фантастических планов. Я и вправду до сих пор слишком уж сомневался в себе. Сомнение в себе - не смирение. Полагаю даже, что подчас это, напротив, самая взвинченная, почти безумная форма гордыни, своего рода ревнивая ожесточенность, настраивающая несчастного человека против самого себя, сжирающая его. В этом-то, должно быть, и кроется тайна ада.

Боюсь, во мне заронено семя великой гордыни. Уже давно собственное безразличие к тому, что принято называть мирской суетностью, внушает мне не столько удовлетворение, сколько недоверие. Мне кажется, что в моем непреодолимом отвращении к своей нелепой особе есть что-то скверное. Я не забочусь о себе, уже даже не пытаюсь преодолеть свою природную недотепистость,

испытываю едва ли не удовольствие, безропотно приемля мелкие несправедливости по отношению к себе - а ведь именно они самые жгучие. Уж не таится ли за всем этим некое разочарование, источник которого, на взгляд Бога, нечист? Конечно, все это помогает мне, худо ли, хорошо, быть терпимым к слабостям окружающих, поскольку по первому движению души я склонен всегда пенять на себя и поэтому легко вхожу в положение другого. Но в то же время во мне из-за этого мало-помалу угасают доверие, порыв, упование на лучшее... Моя молодость - ну, то, что во мне есть от молодости! - принадлежит не мне, вправе ли я держать ее под спудом? Нет, слова г-на Оливье, как они ни были приятны, головы мне отнюдь не вскружили. Они только убедили меня, что я могу привлечь симпатию таких, как он, - людей, стоящих во многих отношениях гораздо выше меня... Разве это не знак?

Мне припоминаются также слова г-на торсийского кюре: "Ты не создан для войны на истощение". А здесь поистине идет война на истощение.

Господи, если бы мне выздороветь! Если бы мои теперешние страдания оказались всего лишь первым симптомом той перестройки организма,

которая происходит иногда на тридцатом году... Последние два дня не могу отвязаться от прочитанной, не помню где, фразы: "Мое сердце с теми, кто на первой линии, мое сердце с теми, кто будет убит". С теми, кто будет убит... С солдатами, миссионерами...

Погода как нельзя лучше, даже чересчур отвечает моей... едва не написал - радости, но это слово не точно. Правильно было бы сказать упованьям. Да, великим, чудесным упованьям, не покидающим меня даже во сне, ибо именно это чувство разбудило меня сегодня ночью. Я вдруг осознал, что лежу с открытыми глазами, во тьме, безмерно счастливый, ощущение счастья было почти болезненным, так как я не понимал, откуда оно. Я встал, выпил воды и молился до рассвета. Душа моя изливалась в этом шепоте. Так тихонько шуршит листва перед восходом солнца. Какое солнце взойдет во мне? Смилуется ли надо мной Господь?

Нашел в почтовом ящике записочку от г-на Оливье, отправленную из Лилля, он пишет, что проведет там последние дни отпуска, у своего друга, в доме № 30 по улице Верт. Не помню, чтобы я ему говорил, что собираюсь поехать в этот город. Какое странное совпадение!

Сегодня в половине шестого утра за мной заедет машина г-на Бигра.

Вчера благоразумно лег пораньше. Но сон не приходил. Я долго боролся с желанием встать и еще раз взяться за этот дневник. Как он мне дорог! Самая мысль оставить его здесь на время моего отсутствия, хотя оно будет очень непродолжительным, приводит меня в ужас. Думаю, что не устою и в последнюю минуту суну эту тетрадь в саквояж. Впрочем, ящики действительно плохо запираются, а возможность нескромного любопытства никогда не исключена.

Увы! Живешь уверенный, что ничем не дорожишь, и вдруг в один прекрасный день замечаешь, что втянулся в затеянную тобой игру. У самого бедного человека есть свое тайное сокровище. И порой опасней отнюдь не то, которое ценней, даже напротив. Есть, без сомнения, нечто болезненное в моей привязанности к этим страницам. А все же они очень помогли мне в трудные минуты, да и сейчас служат весьма драгоценным напоминанием, слишком унизительным, чтобы я мог нравиться самому себе, достаточно точным, чтобы сосредоточить мою мысль. Они оторвали меня от грез. А это не мало.

Возможно, даже вполне вероятно, что отныне

нужда в дневнике отпадет. Господь ниспослал мне столько милостей, совсем неожиданных, удивительных! Меня переполняет доверие и покой.

Сунул в камин вязанку хвороста, глядел, как она пылает, прежде чем снова взяться за дневник. Если мои предки перепили и недоели, мерзли они, должно быть, тоже предостаточно, потому что я всегда испытываю какое-то глупое детское или дикарское изумление перед пылающим огнем. Как тиха ночь! Чувствую, больше мне не уснуть.

Итак, сегодня после обеда, кончая сборы, я услышал скрип входной двери. Я ждал своего заместителя, и мне показалось, я узнаю его походку. Если уж говорить все до конца, я был поглощен нелепым занятием. Мои башмаки в приличном состоянии, но порыжели от влаги, и я красил их чернилами, прежде чем начистить. Ничего больше не слыша, я вышел в кухню и увидел там м-ль Шанталь, сидевшую на низкой скамеечке у очага. Она не глядела на меня, уставясь в золу.

Признаюсь, я не слишком удивился ее приходу. Я заранее был готов претерпеть все последствия собственных ошибок, вольных или невольных. У меня такое ощущение, что мне дана милостивая отсрочка, передышка, я не хочу заглядывать вперед, к чему? Я с нею поздоровался, казалось, она

была этим обескуражена.

- Вы как будто уезжаете завтра?

- Да, мадемуазель.

- Вы вернетесь?

- Это будет зависеть...

- Это зависит только от вас самого.

- Нет, от врача. Я еду в Лилль на консультацию.

- Ваше счастье, что вы больны. Мне кажется, болезнь дает время помечтать. Я никогда не мечтаю. Все развертывается в моей голове с ужасающей точностью, словно в расчетной книге какого-нибудь судебного исполнителя или нотариуса. Женщины в нашей семье отличаются практичностью, вам это известно?

Она приблизилась ко мне. Я старательно покрывал сапожной мазью свои башмаки. Я делал это даже с какой-то нарочитой медлительностью, я был бы вовсе не против, чтобы наша беседа завершилась взрывом смеха. Быть может, она догадалась о моих мыслях. Внезапно она прошипела:

- Кузен говорил вам обо мне?

- Да, - ответил я. - Но не могу пересказать вам его слов. Я уже ничего не помню.

- А мне-то что. Мне дела нет до того, что думает обо мне он или вы.

- Послушайте, - сказал я, - вам ужасно хочется узнать, что я о вас думаю.

Она минуту поколебалась, а потом ответила: "Да", потому что лгать она не любит.

- Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, - у священника не может быть собственного мнения о человеке. Миряне судят о людях, исходя из добра и зла, которые они способны причинить друг другу, а мне вы не можете сделать ни зла, ни добра.

- Но вы могли бы судить обо мне, исходя хотя бы... не знаю уж... ну, из заповедей, что ли, морали?

- Я могу судить о вас, только исходя из благодати божьей, а мне неведомо, сколь он милосерден по отношению к вам, и этого мне не дано будет узнать никогда.

- Полноте! У вас есть глаза и уши, надеюсь, вы пользуетесь ими, как все прочие люди?

- Они ничего мне в вас не откроют! - Мне кажется, я улыбнулся.

- Договаривайте до конца, договаривайте! Что вы хотите этим сказать?

- Я боюсь вас оскорбить. Мне вспоминается, я видел ребенком спектакль кукольного театра как-то в ярмарочный день в Вильмане. Петрушка спрятал свое сокровище в глиняный горшок и

отчаянно размахивал руками на другом конце ширмы, чтобы отвлечь внимание полицейского. Я думаю, что вы очень суетитесь в надежде утаить от всех истину вашей души, а возможно, и для того, чтобы самой о ней забыть.

Она внимательно слушала меня, поставив локти на стол, положив подбородок на ладони и прикусив мизинец левой руки.

- Я, господин кюре, правды не боюсь, и если вы вызываете меня на правду, могу немедленно вам исповедоваться. Я ничего не скрою, клянусь!

- Я ни на что вас не вызываю, - сказал я, - что касается исповеди, то я согласился бы ее выслушать только в том случае, если бы вам грозила смертельная опасность. Грехи будут вам отпущены в положенное время надеюсь, и уж наверняка не моей рукой!

- Ну, это предсказать не трудно. Папа поклялся, что добьется вашего перевода, и все тут у нас теперь считают вас пьяницей, потому что...

Я резко обернулся к ней.

- Хватит, - сказал я. - Мне не хотелось бы проявлять неуважение к вам, но я сыт по горло вашими глупостями, мне в конце концов становится стыдно слушать. Раз уж вы здесь, - да еще против воли собственного отца! - помогите мне убрать

дом. Я один с этим ни за что не справлюсь.

Когда я сейчас думаю об этом, мне трудно понять, почему она мне подчинилась. Но тогда я счел это вполне естественным. Дом преображался на глазах. Она молчала, но когда я искоса посматривал на нее, мне казалось, что она становится все бледнее и бледнее. Внезапно она отбросила тряпку, которой вытирала мебель, и снова подошла вплотную ко мне, лицо ее было искажено яростью. Я почти испугался.

- Ну, этого с вас достаточно? Вы довольны? Да, ловко вы прикидываетесь! Все думают, что вы безобидный, что вас надо пожалеть! А вы - тверды, как камень!

- Тверд не я, это вы сами несгибаемы, и это - от Бога.

- Что вы морочите мне голову? Я прекрасно знаю, Бог любит только кротких, смиренных... Да расскажи я вам, что я думаю о жизни!

- В вашем возрасте о жизни не слишком задумываются, просто хотят того или другого, вот и все.

- Ну так вот, а я хочу все, дурное и хорошее. Я испробую все.

- Надеюсь, вам не придется долго ждать, - сказал я, смеясь.

- Оставьте! Пусть я еще молода, но мне отлично

известно, что большинство умирает, так этого и не добившись.

- Значит, они не добивались по-настоящему. Они мечтали. А вы ведь никогда не мечтаете. Те, о ком вы говорите, напоминают путешественников, не выходящих из комнаты. А когда человек действительно стремится вперед, земля не так уж велика.

- Пусть жизнь меня разочарует, не важно! Я отомщу, я буду творить зло ради зла!

- Вот тут-то вы и обретете Бога, - сказал я. - Наверно, я выражаюсь неточно, к тому же вы - ребенок. Но, в общем, могу вам сказать, что вы отправляетесь в путь, отвернувшись от мира, ибо мир - это не бунт, мир - это приятие, и прежде всего, приятие *лжи*. Так что рвитесь вперед изо всех сил, настанет день, когда стена поддастся, а любая брешь в стене ведет к небу.

- Вы так говорите... это ваши фантазии... или...

- Воистину, землю унаследуют кроткие. А люди вроде вас не станут у них ее оспаривать, так как не будут знать, что с нею делать. Похитители похищают лишь царство небесное.

Она вся покраснела и пожала плечами.

- Хочется ответить вам, не знаю чем... выругаться, что ли... Вы что считаете, будто располагаете

мною, независимо от моей воли? Да я, если захочу, обреку себя на вечную муку.

- Я отвечаю за вас, - сказал я, не задумываясь, - душой за вашу душу.

Она мыла руки под краном в кухне и даже не обернулась. Потом спокойно надела шляпу, которую сняла раньше, перед уборкой. Медленным шагом приблизилась ко мне. Если бы я не знал ее лица, я мог бы счесть, что оно было спокойным, но я видел, как подергивался уголок ее рта.

- Предлагаю вам сделку, - сказала она, - если вы действительно такой, каким я вас считаю...

- Нет, я вовсе не такой, каким вы меня считаете. Вы видите во мне, как в зеркале, самое себя и свою судьбу.

- Я спряталась под окном, когда вы говорили с мамой. Ее лицо стало вдруг таким... таким ласковым! Я вас в эту минуту возненавидела. Нет, я в чудеса верю не больше, чем в привидения, но мать свою, возможно, я все-таки знала! Ей красивые фразы нужны были, как рыбке зонтик. У вас что - есть секрет? Да или нет?

- Это утраченный секрет, - сказал ей я, - и вы, в свою очередь, найдете его, чтобы потом утратить, и другие подхватят его, ибо порода, к которой вы принадлежите, не вымрет, пока существует мир.

- Что? Какая еще порода?

- А та, которую сам Бог отправил бродить по свету и которая не остановится до скончания веков.

III

Мне стыдно, что я не в состоянии держать перо. Руки дрожат. Не все время, но приступами, впрочем, непродолжительными, несколько секунд. Заставляю себя записать это.

Если бы у меня еще оставались деньги, я поехал бы в Амьен. Но я совершил нелепицу только что, выйдя от врача. Какая глупость! У меня остается только обратный билет и тридцать семь су.

Предположим, все сошло бы благополучно: не исключено, что и в этом случае я точно так же сидел бы тут и писал. Припоминаю, что приметил уже раньше это маленькое тихое кафе с безлюдной задней комнатой, такой уютной с ее грубо отесанными столами. (Из соседней булочной приятно тянет запахом свежевыпеченного хлеба.) И мне точно так же хотелось бы есть...

Да, наверно... Я вытащил бы эту тетрадь из саквояжа, попросил бы перо и чернила, та же служанка принесла бы мне их с той же улыбкой. И я тоже улыбнулся бы в ответ. Улица залита солнцем.

Когда я перечитаю эти строки завтра, через

шесть недель, - быть может, через шесть месяцев, как знать? - уверен, мне захочется найти в них... Господи, найти что?.. Да только доказательство того, что и сегодня я вел себя как всегда. Какое ребячество.

Сначала я пошел, куда глаза глядят, к вокзалу. Зашел в старую церковь, не знаю, как она называется. Там было слишком людно. Это тоже ребячество, но мне хотелось свободно преклонить колени на плитах, скорее даже пасть ниц, прижаться лицом к полу. Никогда еще я с такой силой не ощущал физического протеста против молитвы - с такой отчетливостью, что меня даже не мучили угрызения совести. Я тут был не волен. Никогда не думал, что за банальным словом "рассеянность" может таиться такая степень распада, раздрызга. Ибо я боролся не со страхом, но как бы с бессчетными страхами - каждая моя жилочка была переполнена страхом, множеством страхов. И стоило мне прикрыть глаза, попытаться сосредоточиться, как начинало мерещиться, будто я слышу их перешептывание, словно гул несметной незримой толпы, забившейся в глубь моего тоскливого ужаса, как в пучины мрака.

Мой лоб и руки взмокли от пота. Наконец я вышел из церкви. Меня охватил уличный холод.

Я шел быстро. Думаю, если бы я страдал, мне удалось бы проникнуться жалостью к себе, оплакать себя, свое несчастье. Но я не ощущал ничего, кроме невероятной легкости. Соприкосновение с этой гудящей толпой ошарашило меня, как ошеломляет внезапная радость. У меня точно выросли крылья.

Обнаружил в кармане своей теплой сутаны пять франков. Я приготовил их для шофера г-на Бигра, но забыл отдать. Заказал черный кофе и один из тех хлебцев, аппетитный запах которых доносился из булочной. Хозяйку кафе зовут г-жа Дюплуи, она вдова каменщика, у него прежде была мастерская в Торси. Некоторое время она исподтишка наблюдала за мной с высоты своей стойки, поверх перегородки, отделяющей заднюю комнату. Потом подсела ко мне, глядя, как я ем.

- В вашем возрасте, - сказала она, - у человека волчий аппетит.

Пришлось согласиться, чтобы мне принесли масла, фландрского масла, отдающего орешками. Единственный сын г-жи Дюплуи умер от туберкулеза, а внучка - от менингита, ей не было и двух лет. Сама она больна диабетом, ноги у нее распухли, но ей никак не удается найти покупателя на это кафе, куда никто не ходит. Я утешал ее, как

мог. Безропотность всех этих людей устыжает меня. На первый взгляд в их покорности судьбе нет ничего христианского, потому что они выражают ее на присущем им языке, а в этом языке ничего христианского не осталось. У их смирения нет истинных слов, у них нет истинных слов, чтобы выразить себя. Они отделываются поговорками и газетными фразами.

Узнав, что поезд у меня только вечером, г-жа Дюплуи любезно предложила мне воспользоваться задней комнатой кафе.

- Вы тут сможете спокойно писать вашу проповедь.

Мне стоило большого труда помешать ей растопить печурку (меня все еще познабливает).

- Когда я была молодой, - сказала она, - священники слишком много ели, страдали от полнокровия, а вы теперь тощи, как бездомные коты.

Мне кажется, она неправильно истолковала то, что я поморщился, поскольку поспешно добавила:

- Вначале всегда приходится туго. Не беда! В ваши годы вся жизнь впереди.

Я открыл рот, чтобы ответить, и... сначала я даже не понял. Да, еще ничего не решив, я уже знал, что буду хранить молчание. "Хранить молчание"

какое странное выражение! Ведь это молчание хранит нас.

(Господи, на то была твоя воля, я узнаю твою длань. Я ощутил ее на своих устах.)

Госпожа Дюплуи оставила меня и снова заняла свое место за стойкой. В кафе зашли посетители, рабочие, которые хотели перекусить. Один из них увидел меня через перегородку, и его товарищи расхохотались. Шум их разговоров мне не мешает, даже напротив. Тишина в моей душе - тишина, благословенная Богом, и она никогда не отгораживала меня от людей. Мне чудится, они входят в мою душу, и я принимаю их, точно на пороге своего жилища. А они входят в нее, тут нет сомнения, входят помимо своей воли. Увы, мне нечего предложить им, кроме непрочного убежища! Но есть души, тишина которых представляется мне чем-то вроде исполинского надежного крова. Бедные изнемогшие грешники входят под него ощупью, засыпают под ним и потом уходят утешенными, не сохранив даже воспоминанья об огромном незримом храме, где они скинули на миг свое бремя.

Разумеется, глупо думать об одном из самых сокровенных таинств причащения святых в связи с только что принятым мною решением,

возможно, оно продиктовано обычной человеческой осторожностью. Но не моя вина, если я полностью завишу от минутного вдохновения или, точнее было бы сказать, от порыва нежной жалости Господней, которой я полностью себя вверяю. Короче, я вдруг понял, что с момента моего визита к доктору сгораю желанием рассказать о своем секрете, разделить с кем-нибудь свое горе. Но я понял также, что должен промолчать, чтобы вновь обрести покой.

В моем несчастье нет ничего исключительного. Возможно, сегодня сотни, тысячи людей во всем мире услышат тот же приговор и будут точно так же ошеломлены им. Вполне вероятно, я среди них - один из наименее способных совладать с первым впечатлением, мне известна эта моя слабость. Но, по опыту, я знаю также, что унаследовал от матери и, без сомнения, от многих других горемычных женщин моего рода какую-то особую выносливость, в конечном итоге почти неодолимую, потому что, не пытаясь бороться с болью, она как бы погружается в нее, свыкается с ней - в этом наша сила. Как иначе объяснить то упорство, с которым боролись за жизнь все эти несчастные, чье ужасающее терпение в конце концов одолевало неблагодарность и

несправедливость мужа, детей, родных - о, милые кормилицы обездоленных!

Но только - нужно молчать. Нужно молчать до тех пор, пока мне будет дозволено безмолвие. А это может длиться неделями, месяцами. Страшно подумать, что еще несколько минут тому назад достаточно было одного слова, жалостливого взгляда, может, даже просто вопроса, чтобы этот секрет вырвался у меня!.. Он уже был у меня на языке. Господь удержал меня. Да, я знаю, сочувствие другого человека приносит минутное облегчение, я вовсе не пренебрегаю им. Но это сочувствие не утоляет жажды, душа пропускает его, как решето. А когда страданье переходит из жалости в жалость, словно изо рта в рот, мы уже не можем, как мне кажется, ни уважать, ни любить его...

И вот я снова за этим столом. Мне захотелось вернуться в ту церковь, откуда я вышел таким пристыженным сегодня утром. Она и вправду холодна и темна. То, чего я ждал, не произошло.

Когда я вернулся, г-жа Дюплуи пригласила меня пообедать с ней. Я не посмел отказаться. Мы говорили о г-не торсийском кюре, которого она знала викарием в Преле. Она его очень боялась. Я поел вареной говядины, овощей. Пока меня

не было, она растопила печурку и после обеда оставила меня одного, в тепле, за чашкой черного кофе. Я чувствовал себя хорошо, даже задремал ненадолго. Проснувшись...

(Господи, я обязан это написать. Я думаю об этих рассветах, о моих последних рассветах на этой неделе, о том, как я встречал утро, о пенье петухов, о высоком покойном окне, еще полном ночи, где в одном стекле, всегда в том же, справа, начинало загораться солнце... Каким все это было свежим, чистым...)

Итак, ранним утром я пришел к доктору Лавиню. Меня почти тотчас провели в приемную. В ней было неприбрано, служанка, опустившись на колени, скатывала ковер. Несколько минут мне пришлось обождать в столовой, здесь, мне кажется, все оставалось, как накануне вечером - ставни и шторы закрыты, на столе скатерть, на полу - хлебные крошки, которые скрипели под моими подошвами, застоявшийся сигарный запах. Наконец за моей спиной отворилась дверь, доктор пригласил меня войти.

- Извините, что принимаю вас здесь, - сказал он, - это комната, где играет моя дочь. Сегодня вся квартира вверх дном. По требованию хозяина, мы каждый месяц должны освобождать ее для

генеральной уборки - глупо, конечно! Сегодня я принимаю только с десяти, но вы, кажется, торопитесь. В общем, диван у нас есть, вы сможете лечь на него, это главное.

Он раздвинул занавеси, и я увидел его при ярком свете. Никак не думал, что он так молод. Лицо у него такое же худое, как у меня, а кожа настолько странного цвета, что я решил сначала, будто это игра света. Она точно отливала бронзой. Его глаза смотрели на меня с какой-то отчужденностью, нетерпением, но вовсе не сурово, напротив. Пока я неловко стягивал с себя шерстяную рубашку, всю заштопанную, он отвернулся. Я сидел с дурацким видом на диване, не осмеливаясь лечь. Диван, впрочем, был весь завален игрушками, более или менее поломанными. Среди них валялась даже тряпичная кукла, перемазанная чернилами. Доктор усадил ее на стул, потом, задав мне несколько вопросов, внимательно прощупал меня, временами закрывая глаза. Лицо его было как раз над моим, и длинная прядь черных волос касалась моего лба. Я видел его исхудалую шею, стиснутую дешевым целлулоидным воротником, уже пожелтевшим. Кровь мало-помалу приливала к его щекам, придавая им медную окраску. Он внушал мне страх и отчасти также отвращение.

Осматривал он меня долго. Меня удивило, что он почти не обратил внимания на мою больную грудь, только провел несколько раз рукой по левому плечу, у ключицы, что-то насвистывая. Окно выходило во дворик, и мне была видна сквозь стекла почерневшая от сажи стена, прорезанная такими узкими отверстиями, что они походили на бойницы. Признаюсь, я представлял себе профессора Лавиня и его квартиру совсем по-иному. Комнатушка казалась просто грязной, и, сам не знаю почему, от этих поломанных игрушек, от этой куклы у меня сжималось сердце.

- Одевайтесь, - сказал он.

Неделю тому назад я был готов к самому худшему. Но в последние несколько дней мне стало настолько лучше! Как бы там ни было, минуты ожидания показались мне очень долгими. Я пытался думать о г-не Оливье, о нашей прогулке в последний понедельник, об этой пылающей солнцем дороге. Руки у меня так дрожали, что, обуваясь, я дважды порвал шнурки.

Доктор шагал взад-вперед по комнате. Наконец он, улыбаясь, подошел ко мне. Улыбка его успокоила меня лишь отчасти.

- Ну что ж, я предпочел бы иметь рентгеновский снимок. Я дам вам записку в больницу, в отделе-

ние доктора Груссе. К сожалению, вам придется побыть здесь до понедельника.

- Это действительно так уж необходимо?

Он на секунду замялся. Господи, мне кажется, в этот момент я готов был выслушать, не дрогнув, любой приговор. Но я знаю по опыту - когда во мне рождается немой, глубокий зов, предшествующий молитве, на лице моем появляется выражение, похожее на страх. Теперь я думаю, что доктор неправильно это истолковал. Он улыбнулся еще шире, открытой, едва ли не нежной улыбкой.

- Да нет, - сказал он, - это, в общем, для профформы. К чему вас тут задерживать! Возвращайтесь спокойно восвояси.

- Я могу отправлять свои обязанности?

- Разумеется. (Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо.) Не обещаю, конечно, что все ваши неприятные ощущения исчезнут, могут быть и приступы. Что поделаешь? Надо научиться жить со своим недугом, все мы больны, в большей или меньшей степени. Я даже не требую от вас соблюдения диеты: пробуйте одно, другое, ешьте то, что не противно. А когда от чего-нибудь станет мутить, не упрямьтесь, переходите потихоньку на молоко, на подсахаренную воду,

я с вами говорю по-дружески, по-товарищески. Если боли очень уж усилятся, будете принимать микстуру, я вам выпишу рецепт, каждые два часа по столовой ложке, но не более пяти ложек в день, понятно?

- Хорошо, господин профессор.

Он пододвинул круглый столик к креслу, стоявшему передо мной, и оказался лицом к лицу с тряпичной куклой, словно обращавшей к нему, снизу вверх, свою бесформенную голову, с которой облупились чешуйки краски. В ярости он отбросил куклу в другой конец комнаты, она хлопнулась о стену со странным звуком, потом упала на пол. Там она и осталась, лежа на спине, раскинув руки и ноги. Я не смел взглянуть ни на нее, ни на него.

- Послушайте, - сказал он вдруг, - я считаю, что рентген вам решительно необходим, но спешить не к чему. Приезжайте через неделю.

- Если нет абсолютной необходимости...

- Я не вправе говорить с вами по-другому. В конце концов все мы можем ошибаться. Только не позволяйте Груссе дурить вам голову! Его дело - снимок, речей от него не требуется. Мы потом с вами поговорим обо всем, наедине... Но как бы там ни было, если вы мне верите, не меняйте

ничего в ваших привычках, привычки - друзья человека, в сущности, даже дурные привычки. Для вас нет ничего хуже, чем перестать делать свое дело, какая бы тому ни была причина.

Я почти не слышал его, мне хотелось поскорее вырваться на улицу, на свободу.

- Хорошо, господин профессор...

Я поднялся. Он нервно мял свои манжеты.

- Кто, черт возьми, направил вас ко мне?

- Господин доктор Дельбанд.

- Дельбанд? Не знаю такого.

- Господин доктор Дельбанд умер.

- Ах, так? Ну, тем хуже! Приезжайте через неделю. По здравому рассуждению, лучше будет, если я сам отведу вас к Груссе. Во вторник, через неделю, договорились?

Он почти вытолкал меня за дверь. В последние минуты на его угрюмом лице появилось странное выражение; оно казалось веселым, но в этом веселии было что-то судорожное, какое-то замешательство, точно у человека, которому стоит большого труда не выказать своего нетерпения. Я вышел, не решившись даже пожать ему руку, но, дойдя до передней, сообразил, что забыл взять рецепт. Дверь только закрылась, мне казалось, я слышу шаги в гостиной, я подумал, что комната

пуста и я смогу взять со стола рецепт, никого не потревожив... Но он стоял там, в амбразуре узкого окна, расстегнув брюки и поднеся к бедру маленький шприц, металлический ободок которого поблескивал у него между пальцами. Никогда не забуду его ужасной улыбки, не сразу исчезнувшей при моем внезапном появлении: она блуждала у приоткрытого рта, хотя взгляд, устремленный на меня, выражал изумление и гнев.

- Что еще?

- Я пришел взять рецепт, - промямлил я.

Я сделал шаг к столу, но листка там уже не было.

- Я сунул его в карман, обождите минуту.

Он резким движением вытянул иглу и замер передо мной, неподвижно, не отрывая от меня глаз, все еще держа в руке шприц. Казалось, он бросает мне вызов.

- Это вполне заменяет Господа Бога.

Думаю, что мое смущение его обезоружило.

- Не сердитесь, это только солдатская шутка. Я отношусь с уважением к любым убеждениям, даже религиозным. У меня самого нет никаких убеждений. Врач ни в чем не убежден, у него есть только гипотезы.

- Господин профессор...

- Почему вы называете меня профессором? Какой я профессор?

Я подумал, что имею дело с сумасшедшим.

- Да отвечайте же, черт бы вас подрал! Вы ссылаетесь на рекомендацию коллеги, имени которого я даже не слышал, называете меня профессором...

- Господин доктор Дельбанд посоветовал мне обратиться к профессору Лавиню.

- К Лавиню? Вы что, смеетесь надо мной? Ваш Дельбанд, должно быть, был законченный балбес. Лавинь умер еще в январе, семидесяти восьми лет от роду! Кто дал вам мой адрес?

- Я нашел его в телефонной книге.

- В самом деле? Меня зовут не Лавинь, а Лавиль. Вы что, читать не умеете?

- Я ужасно рассеян, - сказал я, - извините меня, пожалуйста.

Он встал между мною и дверью, я думал только о том, как бы выбраться из этой комнаты, я чувствовал себя точно в ловушке, в западне. Пот струился по моему лицу, ослепляя меня.

- Это я должен просить у вас прощенья. Если хотите, я напишу вам записку к другому профессору, Дюптипре, например? Но, между нами говоря, я считаю это совершенно бесполезным, я

владею своим ремеслом ничуть не хуже, чем эти провинциалы, я работал интерном в парижских клиниках, да еще прошел третьим по конкурсу! Извините, что сам себя нахваливаю. В вашем случае нет ничего затруднительного, тут любой разберется не хуже меня.

Я снова направился к двери. Слова его не внушали мне ни малейшего недоверия, но взгляд мучительно стеснял. В нем был нестерпимый блеск и пристальность.

- Я не хотел бы злоупотреблять вашим временем, - сказал я.

- Ничем вы не злоупотребляете (он вытащил свои часы), я начинаю прием только в десять. Должен вам признаться, - продолжал он, - что я впервые встречаюсь с глазу на глаз с таким, как вы, в общем, со священником, с молодым священником. Это вас удивляет? Не спорю, это странно.

- Я сожалею только, что из-за меня у вас может создаться дурное впечатление обо всех нас, - ответил я. - Я вполне заурядный священник.

- О, помилуйте, напротив, вы меня страшно интересуете. У вас лицо... замечательное лицо. Вам никогда этого не говорили?

- Конечно, нет, - воскликнул я, - вы, наверно, смеетесь надо мной.

Он повернулся ко мне спиной, пожав плечами.

- У вас в роду много священников?

- Ни одного, господин доктор. Правда, я не очень-то много знаю о своей родне. У таких семей, как наша, нет истории.

- Вот тут вы ошибаетесь, историю вашей семьи можно прочесть в каждой морщинке вашего лица, а их предостаточно!

- У меня нет никакого желанья читать по ним, зачем? Пусть мертвые хоронят мертвых.

- Они отлично хоронят и живых. Вы полагаете, что свободны?

- Не знаю, в какой мере я свободен, в большей или в меньшей. Я думаю только, что Господь мне ниспослал ту долю свободы, которая необходима, чтобы я, когда придет день, мог отдать ее в его руки.

- Простите меня, - продолжал он, помолчав, - я, наверно, кажусь вам хамом. Но дело в том, что я сам принадлежу к семье, которая... к семье вроде вашей, наверно. Когда я вас увидел сегодня утром, у меня возникло неприятное ощущение, что передо мной... что передо мной мой двойник. Вы считаете меня сумасшедшим?

Я невольно поглядел на шприц. Он рассмеялся.

- Не беспокойтесь, от морфия не пьянеют. Он,

напротив, неплохо прочищает мозги. Я жду от него того, чего вы, вероятно, ждете от молитвы забвения.

- Простите, - сказал я, - от молитвы ждут не забвения, а силы.

- Сила мне уже ни к чему.

Он подобрал с пола тряпичную куклу и заботливо усадил ее на камин.

- Молитва, - продолжал он задумчиво, - желаю вам, чтобы вы молились с той же легкостью, с какой я вонзаю эту иглу в кожу. Люди, вроде вас, у которых тоска в душе, не молятся или молятся плохо. Признайтесь, вам в молитве дорого лишь усилие, лишь принуждение, вы себя насилуете, заставляете. Неврастеник всегда - собственный палач.

Теперь, думая об этом, я не могу себе объяснить, почему при этих словах меня охватил какой-то стыд. Я не смел поднять глаз.

- Не принимайте только меня за материалиста на старый манер. Инстинкт молитвы живет в каждом из нас, и он так же необъясним, как и все остальные. Это - как я предполагаю - одна из форм той темной борьбы, которую индивид ведет против рода. Но род поглощает все, безмолвно А род, в свою очередь, пожирается человечеством, так

что иго мертвецов давит на живых все тяжелее. Не думаю, чтобы хоть у одного из моих предков на протяжении столетий возникло малейшее желание разобраться во всем этом лучше, чем его родители. В деревне, в низовьях Мэн, где мы живем от века, даже сложилась поговорка: "Упрям, как Трике", - Трике это наше прозвище с незапамятных времен. А упрямыми в наших местах называют тугодумов. Так вот, я родился с тем бешенством познанья в крови, которое вы именуете libido sciendi [8]. Я работал, как люди жрут. Когда я думаю о своих юношеских годах, о своей комнатушке на улице Жакоб, о своих ночах тех лет, меня охватывает какой-то ужас, почти религиозный. И зачем все это? Зачем, спрашиваю я вас?.. Теперь я умерщвляю это любопытство, неведомое моей родне, выколачиваю его помаленьку из себя, выколачиваю морфием. Ну а если это слишком затянется... У вас никогда не было искушения покончить с собой? Дело нередкое, для неврастеников вашего типа - даже нормальное...

Я не нашелся, что ответить, меня будто околдовали.

- Правда, тяга к самоубийству - особый дар,

---

[8] Примечания: 8
Похоть знания (лат.)

своего рода шестое чувство, не знаю уж как назвать, - с этим рождаются. Поверьте, я сделаю это незаметно. Я все еще охочусь. Пробираешься, например, через заросли, таща за собой ружье, - паф! - и на следующее утро заря находит тебя уткнувшимся носом в траву, покрытым росой, свежим, спокойным, меж тем как первые дымки подымаются над деревьями, поют петухи, щебечут птицы. А? Это вас не соблазняет?

Господи, на мгновение я подумал, что он знает о самоубийстве доктора Дельбанда и нарочно разыгрывает передо мной эту жестокую комедию. Но нет! Его взгляд был искренним. Как я ни был сам взволнован, я чувствовал, что мое присутствие - уж не знаю почему - его потрясает, что оно становится с каждой минутой все невыносимей для него и что тем не менее он не в состоянии меня отпустить. Мы были пленниками друг друга.

- Людям, вроде нас, лучше бы так и не вылезать из навоза, - снова заговорил он глухим голосом. - Мы себя не жалеем, мы ничего не жалеем. Хотите, побьемся об заклад, что вы в вашей семинарии были таким же, как я в моем Прованском лицее? Бог там или Наука, но мы на это набрасывались, нас сжигало изнутри. Ну и что! Вот мы оба теперь перед тем же... - Он внезапно умолк.

Мне следовало бы понять, но у меня в голове было одно - удрать побыстрее.

- Такой человек, как вы, - сказал я, - никогда не отворачивается от поставленной цели.

- Зато цель от меня отворачивается, - ответил он. - Через шесть месяцев я умру.

Я подумал, что он все еще говорит о самоубийстве, и, очевидно, он прочел эту мысль в моих глазах.

- Не знаю, зачем я ломаю перед вами всю эту комедию. Вы так смотрите, что тянет рассказывать вам всякие истории, все равно какие. Покончить с собой? Вы поверили? Нет, это занятие для важных господ, для поэтов, мне эти элегантные замашки не по плечу. Не хотелось бы, однако, чтобы вы сочли меня малодушным.

- Я не считаю вас малодушным, я только думаю, что это... этот наркотик...

- Не болтайте, чего не знаете, о морфии... Настанет день, когда вы тоже... - Он ласково поглядел на меня. - Вам приходилось когда-нибудь слышать о злокачественном лимфогранулематозе? Нет? Это, впрочем, болезнь не для широкой публики. Она как раз была темой моей диссертации, представляете? Так что обмануться я не могу, мне даже лабораторные анализы ни к чему. Я себе даю еще

три месяца, от силы шесть. Как видите, я не отворачиваюсь от цели. Я смотрю ей в глаза. Когда прурит становится нестерпимым, я чешусь, но что поделаешь, у клиентуры есть свои требования - врач всегда должен оставаться оптимистом. Вот я и подкалываюсь перед приемом. Лгать больным при нашем ремесле - необходимо.

- Уж не слишком ли вы им лжете?..

- Вы считаете? - сказал он. В его голосе была все та же ласковость. Ваша роль легче моей; вы, полагаю, имеете дело только с умирающими. Агония, в большинстве случаев, эйфорична. Другое дело - единым махом, одним-единственным словом отнять у человека всякую надежду. Мне такое доводилось, раз или два. Знаю, знаю, что вы могли бы мне ответить, ваши богословы возвели Надежду в ранг добродетели, у вашей Надежды руки смиренно сложены на груди. Ну ладно, пусть так, никто этой богини вблизи не лицезрел. Но наша, человеческая надежда - это зверь, говорю я вам, зверь в человеке, зверь матерый и свирепый. Лучше уж дать ему угаснуть потихоньку. В противном случае, смотрите, не упустите его! Упустите - он вас задерет, загрызет. А больные - хитрецы! Кажется, уж знаешь их как свои пять пальцев, а все же даешь промашку, попадаешься

на крючок не сегодня, так завтра. Да вот хотя бы: старый полковник, закаленный колониальный вояка требует, чтобы я сказал ему всю правду, по-товарищески... Бр-р!..

- Надо умирать постепенно, - пролепетал я, - выработать в себе привычку.

- Ерунда! Вы сами прошли эту тренировку?

- Во всяком случае, я пытался. Я, впрочем, не сравниваю себя с мирянами, у которых есть свои заботы, семья. Жизнь такого незаметного священника, как я, никому не важна.

- Возможно. Но если ваша проповедь сводится к приятию судьбы, это не ново.

- Я говорю о радостном приятии, - сказал я.

- Хватит! Человек глядится в свою радость, как в зеркало, и не узнает себя, дурак! Радость требует самозатраты, затраты человеческой субстанции радость и боль одно и то же.

- То, что называете радостью вы, возможно Но миссия церкви как раз и состоит в том, чтобы вновь обрести источники утраченной радости.

В его глазах была та же ласковость, что и в голосе. Я невыразимо устал, мне казалось, я провел здесь уже долгие годы.

- Позвольте мне наконец уйти! - воскликнул я.

Он вынул из кармана рецепт, но не протянул

мне его. И вдруг положил ладонь на мое плечо, рука его была вытянута, голова чуть наклонена, глаза полуприкрыты. Его лицо напоминало мне мои детские виденья!

- В конце концов, - сказал он, - таким людям, как вы, возможно, следует говорить правду.

Он замялся, прежде чем продолжить. Как это ни покажется невероятным, слова его долетали до моих ушей, не пробуждая никаких подозрений. Двадцатью минутами раньше я вошел в этот дом, уже смирившись, готовый выслушать все, что угодно. Хотя последняя неделя в Амбрикуре наполнила мою душу необъяснимым ощущением безопасности, уверенности, каким-то обещанием счастья, слова г-на Лавиля, поначалу такие успокоительные, все же очень меня обрадовали Теперь я понимаю, что эта радость была куда сильнее, чем мне казалось, куда глубже. Я ощутил ту же раскрепощенность, веселье, что и на дороге в Мезарг, но к этому примешивался еще какой-то нетерпеливый восторг. Мне прежде всего хотелось вырваться из этою дома, из этих стен. И в тот самый момент, когда мой взгляд, казалось, отвечал на безмолвный вопрос доктора, все мое внимание на самом деле было сосредоточено на смутном шуме, доносившемся с улицы.

Вырваться! Убежать! Вновь оказаться под этим зимним небом, таким чистым, на котором всходила заря, когда я сегодня утром глядел на него из окна поезда! Г-на Лавиля это, должно быть, ввело в заблуждение. Впрочем, внезапно я все понял: он еще не закончил фразы, а я был уже только мертвецом среди живых.

Рак... Рак желудка... Это слово особенно поразило меня. Я ждал другого. Я ждал туберкулеза, Мне пришлось напрячь все свое внимание, чтобы проникнуться мыслью, что я умру от болезни, которая действительно очень редко встречается у людей моего возраста. Я, должно быть, только нахмурил брови, как делаешь, слушая условия трудной задачи. Я был настолько поглощен этим, что, кажется, даже не побледнел. Глаза доктора глядели в мои, я читал в них доверие, приязнь, еще что-то невыразимое. Это был взгляд друга, товарища. Рука снова сжала мое плечо.

- Мы сходим проконсультироваться у Груссе, но, откровенно говоря, не думаю, чтобы эта дрянь была операбельна. Меня удивляет, что вы еще держитесь Брюшная полость широко затронута, опухоль значительна, и под левой ключицей я обнаружил признак, увы, почти безошибочный, так называемую железку Труазье. Заметьте,

что болезнь может прогрессировать более или менее медленно, хотя, должен сказать, в вашем возрасте...

- Какой срок вы мне даете?

Он, вероятно, опять ошибся, потому что голос мой не дрогнул. Увы, я был не хладнокровен, а просто ошарашен. Я отчетливо слышал, как трогается трамвай, дает звонок, мысленно я уже вышел за порог этого мрачного дома, смешался с быстрой толпой... Да простит меня Господь! Я не вспомнил о Нем...

- Трудно сказать. Это зависит, главным образом, от потери крови. Кровотечение редко бывает смертельным, но если оно повторяется часто... Ба, как знать? Когда я вам посоветовал спокойно вернуться к работе, я не ломал комедию. Если вам повезет, вы умрете на ногах, как пресловутый император, или почти на ногах. Это уж зависит от морального состояния. Разве что...

- Разве что?..

- Вы человек стойкий, - сказал он, - из вас вышел бы хороший врач. Лучше уж я сам вам скажу все до конца, чем заставлять вас рыться в справочниках. Так вот, если в ближайшие дни вы почувствуете боль в левом бедре и при этом слегка повысится температура, лягте в постель.

Такого рода флебиты в вашем случае нередки, и есть опасность эмболии. Теперь, мой дорогой, вы знаете столько же, сколько я.

Он наконец протянул мне рецепт, я машинально сунул его в свою записную книжку. Почему я не ушел тут же? Не знаю. Быть может, я не смог подавить вспышку гнева, возмущения против этого незнакомца, который так спокойно распорядился мною, словно своей собственностью. Или был слишком поглощен абсурдным старанием привести за несколько жалких секунд свои мысли, планы, даже воспоминания, всю свою жизнь в согласие с этой новой очевидностью, делавшей меня совершенно другим человеком? Мне кажется, я просто был, как это мне свойственно, парализован застенчивостью, не знал, каким образом откланяться. Мое молчание удивило доктора Лавиля. Я отдал себе в этом отчет по дрожи в его голосе.

- Впрочем, среди тысяч больных, некогда приговоренных врачами, попадаются и такие, которые доживают едва ли не до ста лет. Отмечены случаи рассасывания злокачественных опухолей. Как бы там ни было, такого человека, как вы, не надолго обманула бы болтовня Груссе, успокаивающая только дураков. Нет ничего унизительней, чем

вырывать правду по крохам у этих авгуров, которым совершенно наплевать на то, что они плетут. Когда тебя окатывают то холодной, то горячей водой, постепенно теряешь уважение к себе, люди самые мужественные падают духом и подчиняются судьбе, как и все остальные, попадают в то же покорное стадо. Итак, мы встречаемся через неделю, во вторник, я отведу вас в клинику. А вы тем временем служите обедни, исповедуйте богомолок, ничего не меняйте в своих привычках. Я хорошо знаю ваш приход. У меня даже есть друг в Мезарге.

Он протянул мне руку. Я был все в том же рассеянном, отсутствующем состоянии. Как бы я ни старался, мне ни за что не понять, какое ужасное чудо заставило меня в такую минуту позабыть обо всем, вплоть до самого имени божьего. Я был одинок, невыразимо одинок перед лицом смерти, эта смерть была всего лишь концом бытия - ничем больше. Зримый мир точно утекал из меня с чудовищной быстротой беспорядочной чредой образов, но не мрачных, а, напротив, светозарных, ослепительных. "Неужели это возможно? Значит, я так любил все это?" - думал я. Эти рассветы, эти сумерки, эти пути. Эти изменчивые, таинственные пути, всегда полнящиеся

людскими шагами. Неужели я так любил пути, наши пути, земные пути? Какой бедный ребенок, выросший в их пыли, не поверял им своих грез? И они плавно, величаво несли эти грезы в какие-то неведомые моря, о, великие реки света и тени, несущие мечты бедняков! Мне думается - именно слово "Мезарг" так пронзило мое сердце. Мысли мои в эти минуты, казалось, были далеки от г-на Оливье, от нашей прогулки, и тем не менее это было не так. Я не отрывал глаз от лица доктора, но внезапно оно исчезло. Я не сразу понял, что плачу.

Да, я плакал. Я плакал беззвучно, мне кажется, даже без единого вздоха. Я плакал широко раскрытыми глазами, плакал так, как при мне плакали умирающие, и это от меня тоже уходила жизнь. Я утер лицо рукавом сутаны и снова различил лицо доктора. Он глядел на меня с неизъяснимым выражением удивленья, сочувствия. Если бы человек мог умереть от отвращения к себе, я бы умер. Мне следовало бежать, я не смел. Я ждал, что Господь ниспошлет мне слово, слово священника, я отдал бы жизнь за это слово, то, что мне еще оставалось от жизни. Мне хотелось хотя бы попросить прощения, я смог лишь пролепетать что-то невнятное, слезы душили меня. Я чувство-

вал, как они текут из моей груди, у них был вкус крови. Чего бы я ни отдал за то, чтобы они были действительно кровью! Откуда они брались? Кто может это объяснить? Я оплакивал не себя, клянусь! Я никогда еще не был так близок к тому, чтобы себя возненавидеть. Я оплакивал не свою смерть. В детстве мне случалось вот так просыпаться в слезах. От каких же снов пробудился я на этот раз? Увы! Я считал, что прохожу по этому миру, почти не глядя на него, как пробираешься, опустив глаза, сквозь шумную толпу, мне случалось иногда даже мнить, что я его презираю. Но тогда мне было стыдно за себя, не за него. Я был несчастным человеком, который любит, не смея сказать об этом, не смея признаться даже себе самому, что любит. Нет, я не отрицаю, в этих слезах могло быть и малодушье! Но, я думаю, они были также слезами любви... В конце концов я повернулся и вышел, опомнился я уже на улице.

Полночь, у г-на Дюфрети.

Не знаю, почему мне не пришло на ум занять двадцать франков у г-жи Дюплуи, я смог бы тогда переночевать в гостинице. Правда, вчера вечером я совершенно потерял голову от отчаяния, что опоздал на свой поезд. Мой бедный друг, впрочем, устроил меня вполне прилично. Мне

кажется, все хорошо.

Конечно, меня станут порицать за то, что я воспользовался, хотя бы на одну ночь, гостеприимством священника, положение которого не вполне нормально (оно даже хуже). Г-н торсийский кюре назовет меня Грибуйем. И будет прав. Я думал об этом, поднимаясь вчера по лестнице, вонючей, темной. Несколько минут я стоял, не двигаясь, перед дверью квартиры. На ней четырьмя кнопками была прикреплена пожелтевшая визитная карточка: "Луи Дюфрети, торговый представитель". Чудовищно.

Несколькими часами раньше я, возможно, не осмелился бы войти. Но теперь я не один. Во мне сидит это... Короче, я дернул за звонок в смутной надежде, что никого нет дома. Он открыл мне дверь. На нем была сорочка, бумажные брюки, которые мы носим под сутаной, шлепанцы на босу ногу. Он сказал мне, едва ли не сердито:

- Ты мог бы предупредить меня, у меня контора на улице д'Онфруа. Я живу здесь временно. Дом омерзительный.

Я поцеловал его. Он закашлялся. Мне кажется, он был взволнован больше, чем хотел показать. На столе еще были остатки еды.

- Я должен хорошо питаться, - вновь заговорил

он с надрывающей душу серьезностью, - а у меня нет аппетита. Помнишь бобы, которыми кормили нас в семинарии? Хуже всего, что приходится готовить здесь же, в комнате, в алькове. Я возненавидел запах жареного жира, это - нервное. В другом месте я ел бы как зверь. Мы уселись рядом, я с трудом узнавал его. Шея у него непропорционально вытянулась, и голова на ней кажется совсем крошечной, точно крысиная мордочка.

- Это мило с твоей стороны, что ты зашел. Сказать откровенно, меня удивило, что ты отвечаешь на мои письма. У тебя, между нами говоря, прежде были не слишком широкие взгляды...

Не помню даже, что ответил я.

- Извини, я немного приведу себя в порядок. Сегодня я решил побездельничать, но это бывает не часто. Что поделаешь? У активной жизни есть и свои хорошие стороны. Но не думай, что я предаюсь сладкой лени! Я очень много читаю, как никогда раньше. Возможно даже, в один прекрасный день... У меня собрано немало весьма интересных, весьма жизненных заметок. Мы еще к этому вернемся. Ты, помнится, неплохо владел александрийским стихом? Твои советы будут мне весьма кстати.

Минуту спустя я увидел через полуприкрытую

дверь, как он проскользнул на лестницу с молочной банкой в руке. И я снова остался наедине с... Господи, это правда - я предпочел бы другую смерть! Легкие, которые мало-помалу тают, как кусочек сахара в воде, или изнуренное сердце, которое приходится непрерывно подбадривать, или даже эту странную болезнь г-на доктора Лавиля, позабыл ее название, - мне кажется, угроза, нависающая во всех этих случаях, должна оставаться какой-то смутной, абстрактной... Тогда как теперь, стоит мне нащупать под сутаной место, где так надолго задержались пальцы врача, мне чудится... Может, это все - воображение? И все же! Тщетно я твержу себе, что ничто во мне не изменилось, я такой же, как все последние недели, ну, почти такой же, - от одной мысли вернуться домой с этой... в общем, с этой вещью, меня охватывает стыд, омерзение. Я и так был слишком склонен питать отвращение к своей персоне, и знаю, как подобное чувство опасно - в конце концов оно отнимет у меня последнее мужество. Мой первейший долг теперь, когда впереди меня ждут испытания, безусловно должен был бы состоять в примирении с самим собой...

Я много думал о своем унизительном поведении сегодня утром. Полагаю, дело не столько в

моем малодушии, сколько в ошибочном суждении. Я лишен здравого смысла. Ясно ведь, что перед лицом смерти я не могу вести себя так же, как люди, которые много выше меня и вызывают во мне восхищение - г-н Оливье, например, или г-н торсийский кюре. (Я намеренно сближаю эти два имени.) В подобных обстоятельствах, как один, так и другой держались бы с тем высшим достоинством, которое является естественным, свободным проявлением великой души. Даже г-жа графиня... Да, я знаю, все это скорее свойства натуры, нежели добродетели, они не приобретаются! Увы! Но, наверно, что-то такое есть и во мне, коль скоро я восхищаюсь этим в других... Это словно язык, который я хорошо понимаю, хотя и не могу на нем говорить. И ошибки меня ничему не учат. И вот в момент, когда мне нужно собрать все силы, чувство собственного бессилия охватывает меня с такой неодолимостью, что я теряю нить моего бедного мужества, как неумелый оратор теряет нить собственной речи. Это испытание для меня не ново. Прежде я утешал себя надеждой на что-то чудесное, непредвидимое - уж не на мученический ли крест? В мои годы смерть кажется такой далекой, что даже понимание собственной заурядности, почерпнутое

из повседневного опыта, ни в чем не убеждает. Трудно поверить, что и в этом событии не будет ничего из ряда вон выходящего, что и оно будет обыкновенным, как ты сам, по твоему образу и подобию, по образу и подобию твоей судьбы. Оно как бы выпадает из привычного мира, думаешь о нем, точно о сказочных краях, названия которых читаешь в книгах. Именно это я и говорил себе - мой страх был вызван внезапным грубым разочарованием. Передо мной вдруг предстало то, что казалось где-то за горами, за долами, по ту сторону воображаемого океана. Моя смерть здесь. Смерть как смерть, и я приму ее с теми же чувствами, с какими приемлет любой обыкновенный, заурядный человек. Нет сомнений, что и умереть я сумею не лучше, чем умел владеть собой в жизни. Я и тут окажусь так же неловок, так же неуклюж. Нам твердят: "Будьте просты!" Я стараюсь изо всех сил. Но быть простым не так-то легко! Миряне произносят слова "простые люди" точно так же, как "смиренные",- с той же снисходительной улыбкой. Им следовало бы сказать: "цари".

Господи, я отдаю тебе все, ото всей души. Но я не умею давать, я даю, точно позволяю взять. Самое правильное - не суетиться. Ибо если я не умею

давать, ты зато умеешь брать... Как мне хотелось бы, однако, хоть раз, хоть один-единственный раз быть щедрым и милостивым к тебе!

Меня ужасно тянуло повидаться с г-ном Оливье. Я даже пошел уже к улице Верт, но повернул назад. Думаю, от него я не смог бы утаить свой секрет. Поскольку он через два-три дня уезжает в Марокко, это не так уж важно, но я чувствую, что невольно стал бы перед ним в позу, заговорил бы на языке, мне не присущем. Я не хочу ничем бравировать, бросать какой-либо вызов. Единственный героизм, который мне по плечу, - отсутствие всякого героизма, и коль скоро силы оставили меня, я хотел бы теперь одного - пусть смерть моя будет неприметной, настолько неприметной, насколько это возможно, пусть она ничем не выделяется на фоне других событий моей жизни. В конце концов именно моей природной неуклюжести я обязан дружбой такого человека, как г-н торсийский кюре. Быть может, она не так уж недостойна этой дружбы? Быть может, это - детская неуклюжесть? Как ни строго сужу я себя подчас, я никогда не сомневался, что нищ духом. Детская нищета под стать духовной. Нет сомнения, это нечто единое.

Я рад, что не повидался еще раз с г-ном Оливье.

Я рад, что встречаю первый день моего искуса здесь, в этой комнате. Да это, впрочем, даже и не комната, мне поставили раскладушку в коридорчике, где мой друг хранит свои образчики химических товаров. Воняет от всех этих пакетов ужасно. Нет одиночества глубже, чем своего рода безобразие, своего рода безысходность безобразия. Газовый рожок - из тех, что именуют, кажется, "бабочкой", свистит и плюется над моей головой. Мне чудится, я забился в это безобразие, в эту нищету, как в нору. Прежде она внушала бы мне отвращение. Я рад, что теперь она приемлет мое горе. Я должен сказать, что не искал ее, не сразу даже и узнал. Когда вчера вечером, после второго обморока, я очнулся на постели, у меня в мыслях только и было, что удрать, удрать любой ценой. Я вспомнил, как потерял сознание в солнечный день, у загона г-на Дюмушеля. Тогда мне было хуже. Я вспомнил не только дорогу в глубокой узкой лощине, но увидел и свой дом священника, садик. Мне чудилось, я слышу шорох высокого тополя, который в самые безветренные ночи пробуждался задолго до зари. Вдруг мне показалось, что мое сердце перестает биться,

- Я не хочу умирать здесь! - закричал я. - Снесите меня вниз, отвезите куда-нибудь, все равно куда!

Я, конечно, был не в себе, но все же узнал голос своего несчастного товарища. Он был одновременно яростным и дрожащим. (Он с кем-то препирался на лестничной площадке.)

- Ну, чего ты от меня хочешь? Я не в силах снести его вниз один, и ты сама прекрасно знаешь, что консьержа мы просить ни о чем не можем!

И тут я устыдился, я осознал свое малодушие.

Я должен, впрочем, объясниться тут раз и навсегда. Поэтому я продолжу рассказ с того места, на котором оборвал его несколькими страницами раньше. Мой друг вышел, довольно долго я оставался в одиночестве. Потом я расслышал перешептывание в коридоре, и, наконец, он вошел, по-прежнему держа в руке молочную банку, задыхаясь, весь красный.

- Надеюсь, ты поужинаешь у меня, - сказал он. - Мы можем пока поболтать. Если хочешь, я тебе почитаю... Это нечто вроде дневника и называется "Этапы". То, что случилось со мной, должно заинтересовать многих, случай достаточно типичный.

Пока он говорил, я, очевидно, в первый раз потерял сознание. Он заставил меня выпить большой бокал вина, мне стало лучше, только мучительно болело около пупка, но мало-помалу

и боль стихла.

- Что поделаешь, в наших жилах дурная кровь. В семинарских школах не обращают никакого внимания на прогресс гигиены, это ужасно. Один врач сказал мне: "Все вы - интеллигенты, недоедавшие с детства". Это объясняет многое, ты не находишь?

Я не мог не улыбнуться.

- Не подумай только, что я хочу оправдаться! Я принадлежу лишь к одной партии - партии полной откровенности, как с другими, так и с самим собой. У каждого - своя правда, так называется поразительная пьеса какого-то очень известного писателя.

Я передаю в точности его слова. Они показались бы мне смешными, если бы я не видел на его лице явных следов расстройства, причин которого, я уже понял, он мне не скажет.

- Если бы не моя болезнь, - продолжал он после паузы, - я, наверно, остался бы навсегда таким же, как и ты. Я много читал. А потом, по выходе из санатория, мне пришлось искать места, померяться силами с судьбой. Это вопрос воли, упорства - упорства в особенности. Ты, естественно, воображаешь, что нет ничего легче, чем найти покупателя на товар? Ошибаешься, глубоко оши-

баешься! Независимо от того, что ты продаешь москательные товары или золотые копи, кто ты - Форд или скромный торговый представитель, тут необходимо умение воздействовать на людей. Необходимость воздействия на людей - лучшая школа воспитания воли, я теперь это раскусил. К счастью, опасный порог уже позади. Не пройдет и полутора месяцев, у меня будет свое дело, я вкушу сладость независимости. Заметь, я никого не толкаю на свой путь. Бывает, приходится туго, и не поддерживай меня в такие моменты чувство ответственности за... за особу, которая пожертвовала для меня блестящим положением и которой... Прости мне, что я касаюсь ситуации...

- Она мне известна, - сказал я.

- Да, разумеется... Впрочем, мы можем рассмотреть ее объективно. Как ты понимаешь, я принял все меры, чтобы тебе не пришлось сегодня вечером столкнуться...

Мой взгляд явно стеснял его, он, конечно, не находил в моих глазах того, что желал бы в них прочесть. А я испытывал перед никчемной суетностью, терзавшей его, те же мучительные ощущения, что и тремя днями раньше в присутствии м-ль Луизы. Ту же неспособность пожалеть, войти в положение, то же щемящее чувство в

душе.

- Обычно она возвращается как раз в это время. Я попросил ее провести вечер у подруги, у соседки...

Он робко протянул через стол худую бледную руку, торчавшую из чересчур широкого рукава, положил ее. на мою, ладонь у него была потная, холодная. Думаю, он был искренне взволнован, однако глаза его лгали.

- В моей интеллектуальной эволюции она роли не сыграла, хотя наша дружба поначалу сводилась к обмену мыслями, суждениями о жизни, о людях. Она работала старшей сестрой в санатории. Это женщина культурная, начитанная, она получила образование куда выше среднего: у нее дядя - директор лицея в Ран-дю-Флие. Короче, я счел должным выполнить обещание, которое дал ей там. Не подумай только, что это увлеченье, страсть! Тебя это удивляет?

- Нет, - сказал я. - Но мне кажется, ты напрасно оправдываешься в том, что любишь женщину, которую избрал.

- Я не знал, что ты сентиментален.

- Послушай, - продолжал я, - если бы мне выпало преступить обет, данный в день, когда я был рукоположен, я предпочел бы, чтобы это случилось

из-за любви к женщине, а не из-за того, что ты называешь своей интеллектуальной эволюцией.

Он пожал плечами.

- Я с тобой не согласен, - сухо ответил он. - Позволь мне прежде всего сказать тебе, что ты говоришь о вещах, которых не знаешь. Моя интеллектуальная эволюция...

Он, должно быть, говорил еще некоторое время, так как мне помнится длинный монолог, который я слушал, не понимая. Потом мой рот наполнился какой-то приторной грязью, а его лицо, проступив вдруг на мгновение с необычайной ясностью, четкостью, исчезло во тьме. Когда я открыл глаза и в последний раз сплюнул что-то клейкое, прилипавшее к деснам (это был сгусток крови), я услышал женский голос:

- Не двигайтесь, господин кюре, сейчас все пройдет.

Произношение у нее было, как у жителей Лана.

Сознание тотчас вернулось ко мне, после рвоты мне стало гораздо легче. Я сел на кровати. Бедная женщина хотела выйти, мне пришлось удержать ее за руку.

- Извините меня, пожалуйста. Я была у соседки, через коридор. Господин Луи немножко расте-

рялся. Он хотел сбегать в аптеку Ровеля. Господин Ровель его приятель. К сожалению, лавка закрыта ночью, а господин Луи не может ходить быстро, он задыхается при малейшем усилии. Здоровье его оставляет желать лучшего.

Чтобы ее успокоить, я сделал несколько шагов по комнате, и она наконец согласилась сесть. Она такая крохотная, что ее легко принять за одну из тех девочек без возраста, которых полно в шахтерских поселках. Лицо ее не лишено приятности, даже напротив, тем не менее у меня такое ощущение, что стоит от него отвернуться, как оно тотчас исчезнет из памяти. Но ее увядшие голубые глаза улыбаются так безропотно, так кротко, что напоминают глаза какой-нибудь прабабки, древней пряхи.

- Когда вы почувствуете себя хорошо, я уйду, - снова заговорила она. Господин Луи рассердится, если застанет меня здесь. То, что мы с вами разговариваем, ему придется не по вкусу, он мне строго наказал, уходя, сказать вам, что я просто соседка.

Она присела на низкий стульчик.

- Вы, наверно, очень плохо обо мне думаете, комната даже не прибрана, кругом грязь. Вся беда в том, что я с утра ухожу на работу, и очень

рано, в пять часов. И сил у меня тоже не слишком много, сами видите...

- Вы медицинская сестра?

- Сестра? Скажете тоже! Там, в санатории, я была нянечкой, когда познакомилась с господином Луи... Вас, наверное, удивляет, что я называю его господин Луи, хотя мы теперь вместе? - Она опустила голову, делая вид, что поправляет складки своей юбчонки. - Он больше не встречается ни с кем из своих прежних... своих... ну, в общем, своих прежних товарищей, что ли! Вы первый. С одной стороны, я прекрасно знаю, что не пара ему. Но только, понимаете, там, в санатории, он думал, что вылечился, вообразил невесть что... Что касается церкви, я не вижу ничего дурного в том, чтобы жить как муж и жена, но он, кажется, дал обет, это правда? Обет есть обет. Но как быть! Тогда я не могла с ним об этом говорить, тем более что... простите... я его любила.

Она произнесла эти слова так печально, что я не нашелся, как ответить. Мы оба покраснели.

- Есть еще причина. За таким образованным человеком, как он, ухаживать не просто, он сам знает не меньше доктора, разбирается в лекарствах, и хотя он теперь и пользуется льготами, как лицо этой профессии, на аптеку даже с пя-

тидесятипятипроцентной скидкой уходит много денег.

- Чем же вы занимаетесь?

Она замялась на мгновение.

- Уборкой. В нашей работе самое утомительное, что приходится бегать с одного конца города в другой.

- Ну а его торговля?

- Вроде бы дело будет доходное. Но только пришлось взять в долг - на контору, на пишущую машинку, и потом, знаете, он ведь совсем не выходит из дому. Только и говорит что об усталости! Знаете, я вполне могла бы заработать на двоих, но ему втемяшилось мое образование, как он говорит, ну, вроде школы, что ли!

- Это когда же?

- А по вечерам, ночью, он ведь почти не спит. Но ведь таким, как я, рабочим людям, нужно выспаться. Нет, вы не подумайте, он не нарочно, ему это просто не приходит в голову, иногда скажет: "Вот и полночь", как ни в чем не бывало. Я должна, он считает, стать дамой! Такому человеку, как он, ясное дело, сами понимаете... Тут, как ни верти, я бы ему в жены не годилась, если бы...

Она наблюдала за мной с таким пристальным вниманьем, точно сама ее жизнь зависела от

следующего слова, от секрета, который она мне откроет. Не думаю, чтобы она мне не доверяла, просто ей не хватало храбрости произнести перед чужим человеком роковое слово. Она словно стыдилась. Я частенько замечал у бедных женщин это отвращение к разговору о болезнях, эту застенчивость. Лицо ее залилось краской.

- Он скоро умрет, - сказала она. - Но он этого не знает.

Я невольно вздрогнул. Она покраснела еще больше.

- О, я догадываюсь, о чем вы думаете. Сюда приходил здешний викарий, человек очень учтивый, господин Луи с ним, впрочем, даже не знаком. По его мнению, я мешаю господину Луи выполнить свой долг, как он сказал. А что такое долг? Это не так-то просто понять. Конечно, эти господа будут лечить его лучше, чем я, в нашей квартире и воздух плохой, да и еда не та, что нужно, как я ни стараюсь. (По качеству - хорошая, это мне удается, но разнообразия нет, господину Луи все так быстро приедается!) Но мне хотелось бы, чтобы решение исходило от него самого, так было бы лучше, вы не находите? Предположим, я уйду - он сочтет, что я его предала. Потому что, в общем, не обижайтесь, ему ведь известно, что я совсем

неверующая. Ну и...

- Вы так и не обвенчались? - сказал я.

- Нет, господин кюре.

Я заметил, что по ее лицу пробежала тень. Потом она, словно вдруг, решилась:

- Не хочу вам лгать, это я не захотела.

- Почему?

- Из-за того, что... ну, из-за того, кто он, что ли! Когда он вышел из санатория, я надеялась, ему станет лучше, он выздоровеет. Ну а если бы ему вздумалось в один прекрасный день, как знать?.. Зачем, чтобы у него были из-за меня неприятности, говорила я себе.

- А он что об этом думал?

- Да ничего. Он считал, что я отказываюсь из-за своего дяди из Ран-дю-Флие, который раньше был почтальоном, у него есть денежки, а священников он недолюбливает. Я сказала, он лишит меня наследства. Самое забавное, что старик и в самом деле лишил меня наследства, но как раз потому, что я не вышла замуж, стала, как он выражается, сожительницей. Он человек по-своему хороший, мэр своей деревни. "Ты даже не можешь добиться, чтобы твой кюре женился на тебе, должно быть, ты стала полным ничтожеством".

- Но когда...

У меня не хватило духа закончить фразу, она договорила за меня тем голосом - многим он показался бы безразличным, но я-то хорошо его знаю, он пробуждает во мне столько воспоминаний, - тем голосом без возраста, тем отважным и безропотным голосом, который усмиряет пьяного, выговаривает непослушным детям, баюкает младенца, не имеющего пеленок, спорит с безжалостным лавочником, умоляет судебного исполнителя, утешает умирающего, голосом матери семейства, неизменным на протяжении столетий, голосом, которого не сломить всем невзгодам мира.

- Когда он умрет, я останусь прислугой. Перед тем, как я поступила работать в санаторий, я была кухаркой в детском профилактории, возле Иера, на Юге. Я люблю детей, лучше детей, знаете, никого нет, дети - это сам Господь.

- Может, вы найдете опять что-нибудь в таком роде, - сказал я.

Она покраснела еще больше.

- Не думаю. Потому что - мне не хотелось бы, чтобы вы кому-нибудь говорили об этом, - но, между нами, я оказалась недостаточно крепкой, я подхватила от него чахотку.

Я молчал, ей, казалось, было ужасно не по себе

от моего молчания.

- Возможно, я уже и раньше была больна, - сказала она, как бы извиняясь, - у меня и мать была не очень крепкой.

- Я был бы рад помочь вам, - сказал я.

Она, очевидно, решила, что я собираюсь предложить ей денег, но, взглянув на меня, успокоилась, даже улыбнулась.

- Знаете, мне очень хотелось бы, чтобы вы, при случае, намекнули ему, насчет его идеи дать мне образование. Как подумаешь... ну, в общем, сами понимаете, не очень-то много времени нам с ним остается быть вместе, а учиться так трудно! Он никогда не отличался терпением, что вы хотите, он ведь болен! Но он говорит, будто я это нарочно, будто я могла бы, если бы захотела. Наверно, тут и моя болезнь виновата, вообще-то я не так уж глупа... Ну а что я могу ему ответить? Подумайте только, он стал обучать меня латыни, с ума сойти! Это меня-то, которая и начальной школы не окончила. К тому же, после всех этих уборок, я просто падаю от усталости, мне ничего, кроме сна, и в голову не идет. Разве нельзя хотя бы просто поговорить спокойно?

Она опустила голову, играя кольцом, которое было у нее на пальце. Заметив, что я смотрю на

это колечко, она поспешно спрятала руку под передник. Я сгорал от желания задать ей один вопрос, но не решался.

- В общем, - сказал я, - жизнь у вас трудная... И вы никогда не отчаиваетесь?

Она, должно быть, решила, что в моем вопросе есть какой-то подвох, лицо ее посуровело, напряглось.

- Вас никогда не тянет взбунтоваться?

- Нет, - ответила она, - только иногда я перестаю понимать.

- И тогда?

- Такие мысли лезут в голову, когда отдыхаешь, воскресные мысли, как я их называю. А другой раз, если я уж очень устану, устану до смерти... Но почему вы меня спрашиваете об этом?

- Из дружеских чувств, - сказал я. - Потому что бывают минуты, когда я и сам...

Она глядела мне в глаза.

- По правде говоря, вы не слишком хорошо выглядите, господин кюре. Ну что ж, скажу: когда я уже ни на что не способна, на ногах не стою, да еще в боку болит, я, бывает, забьюсь в уголок, одна-одинешенька, и вместо того вы станете смеяться - вместо того, чтобы вспомнить о чем-нибудь веселом, о чем-нибудь, что подбадривает,

думаю о всех тех незнакомых людях, которым приходится так же туго, как мне, - а их немало, земля-то велика! - о нищих, что топчутся под дождем, о бездомных ребятишках, о больных, об умалишенных, которые воют на луну в сумасшедшем доме, обо всех, обо всех! Я стараюсь затеряться среди них, сделаться маленькой-премаленькой - и не только среди живых, знаете, но и среди мертвых, которые тоже страдали, среди тех, что еще родятся на свет и будут страдать, как мы... "Почему? Почему нужно страдать?" - твердят они все... И мне кажется, я спрашиваю вместе со всеми, мне чудится, я слышу кругом себя их шепот, и он меня убаюкивает. В такие минуты я не поменялась бы местом даже с миллионером, я чувствую себя счастливой. Что поделаешь? Это не от меня зависит, я себя даже не корю. Я похожа на свою мать. "Если везенье из везений быть невезучей, - говорила она, - то мне его с лихвой хватает!" Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась. А ведь она была замужем дважды, и оба оказались пьяницы, такая незадача! Папа был худшим из двоих, да еще вдовец с пятью мальчишками, чистыми чертенятами. Она растолстела до невозможности, вся ее кровь превратилась в жир. Но все равно! "Нет никого выносливей женщины,

говаривала она еще, - нам не след укладываться в постель, пока не придет час умереть". Ее то в груди схватывало, то болело плечо, рука, она уж и дышать не могла. В последний вечер папа вернулся домой мертвецки пьяный, как обычно. Она хотела поставить кофейник на огонь, он выскользнул у нее из рук. "Вот дурища, - сказала она, - надо же быть такой растяпой, сбегай-ка к соседке, займи у нее другой кофейник, да побыстрее, одна нога здесь, другая там, а то, гляди, проснется отец". Когда я вернулась, она, можно сказать, почти уже умерла, лицо с одной стороны было совсем черное, язык, тоже черный, торчал изо рта. "Надо бы мне лечь, - говорит, - что-то нехорошо". Папа храпел на постели, она не посмела его разбудить, присела у очага. "Можешь уже положить сала в суп, - сказала еще, - он закипел". И умерла.

Мне не хотелось прерывать ее, я хорошо понимал, что она еще никогда не рассказывала этого никому с такими подробностями, она и в самом деле точно пробудилась внезапно от какого-то сна и страшно смутилась.

- Я все говорю, говорю, а вот, слышу, возвращается господин Луи, я узнаю его шаги на улице. Мне лучше уйти. Он, может, и позовет меня, добавила она, краснея, - но не рассказывайте ему ни о

чем, он пришел бы в бешенство.

Увидя, что я на ногах, мой друг сделал радостный жест, который меня глубоко тронул.

- Аптекарь был прав, посмеявшись надо мной. Меня и в самом деле пустяшный обморок пугает до ужаса. Должно быть, у тебя просто несварение желудка.

Потом мы решили, что я проведу ночь здесь, на этой раскладушке.

Я попытался еще поспать, но не смог. Опасаясь, что свет и в особенности свист газового рожка мешает моему другу, я, приоткрыв дверь, кинул взгляд в комнату. Она пуста.

Нет, я не сожалею, что остался здесь, напротив, мне даже кажется, г-н торсийский кюре одобрил бы меня. Впрочем, если я даже и сделал глупость, это теперь не в счет. Мои глупости уже не в счет: я вышел из игры.

Конечно, многое во мне должно было тревожить вышестоящих. Но дело-то в том, что мы совершенно неправильно глядели на вещи. Например, г-н бланжермонский благочинный не напрасно сомневался в моих возможностях, в моем будущем. Да только у меня и не было вовсе никакого будущего, а мы оба этого не знали.

Я говорю себе также, что юность - дар божий

и, как о всяком божием даре, о ней не следует сожалеть. Молоды, по-настоящему молоды лишь те, кому Он определил не пережить своей молодости. Я принадлежу к этой породе. Я спрашивал себя: "Что я буду делать в пятьдесят, в шестьдесят лет?" И, естественно, не находил ответа. Даже вообразить его не мог. Во мне не было старика.

Эта уверенность утешительна. Впервые за долгие годы, возможно, даже впервые за всю мою жизнь, я гляжу, как мне кажется, на свою молодость прямо, без недоверия. Мне чудится, я узнаю ее лицо, ее забытое лицо. И она тоже глядит на меня, прощает меня. Меня всегда давило бремя собственной нескладности, оно мешало мне совершенствоваться, я требовал от своей молодости того, чего она не могла мне дать, я находил ее нелепой, стыдился ее. А теперь, устав от взаимных упреков, мы можем присесть с нею рядом у края дороги и передохнуть минутку, молча, наслаждаясь великим покоем вечера, в который нам скоро предстоит погрузиться вместе.

Утешительна также мысль, что я не могу никого обвинить в чрезмерной суровости к себе, мне не хочется употреблять слишком громкого слова "несправедливость". Разумеется, я полон почтения к людям, которые, чувствуя себя жерт-

вами людского неправосудия, черпают в этом душевные силы и упования. Но мне самому - и тут я бессилен что-либо изменить - всегда противно думать, что я, пусть даже и невольно, послужил причиной или хотя бы поводом чужих прегрешений. Даже на Голгофе, приемля в томлении свою крестную чашу, Спаситель в его святой человечности не считал себя жертвой людской несправедливости: "Non sciunt quod faciunt" [9]. Слова, доступные малому ребенку, хочется сказать - младенческие слова, но бесы, которым их никогда не понять, должно быть, непрестанно твердят их с тех самых пор со все нарастающим ужасом. Они ждали разящей молнии, а вместо этого безгрешная рука словно захлопнула над ними крышку бездонного колодезя преисподней.

Поэтому я бесконечно радуюсь при мысли, что попреки, от которых я подчас страдал, делались мне только по нашему общему неведенью моей истинной судьбы Такого здравомыслящего человека, как г-н бланжермонский благочинный, не могло, конечно, не тревожить мое будущее, и он безотчетно гневался на меня сегодня за ошибки, которые я мог совершить завтра.

---

[9] Примечания: 9
Не ведают, что творят (лат).

Я любил души наивно (думаю, впрочем, что мне и не дано любить иначе). Эта наивность, чувствую, с годами стала бы опасной и для меня самого, и для ближних, ибо я всегда неуклюже противился склонности, настолько естественной для моего сердца, что мне позволено считать ее неодолимой. Мысль, что эта борьба окончена, ибо больше не с чем сражаться, возникла у меня еще утром, но тогда я был оглушен тем, что открыл мне г-н доктор Лавиль. Мало-помалу она входила в меня. Точно тоненькая струйка прозрачно чистой воды. И теперь душа моя переполнена ею, она меня освежает. Тишина и покой.

Само собой, в эти последние недели, последние месяцы, дарованные мне Богом, пока мне хватит сил управляться с приходом, я попробую, как и прежде, действовать со всей осмотрительностью, на которую способен. Но мне уже незачем думать о будущем, я стану работать ради настоящего. Такое дело, думаю, мне по плечу, по силам. Я ведь добиваюсь успеха только в мелочах и, как ни часто я терзался тревогой, должен признать, малые радости дают мне чувство победы.

И с этим решающим днем будет то же, что со всеми прочими: я не завершил его в страхе, однако день, грядущий следом, не займется во славе.

Я не отворачиваюсь от смерти, но и не бросаю ей вызова, как сумел бы это сделать, нет сомнения, г-н Оливье. Я пытался взглянуть на нее со всем возможным для меня смирением, не без тайной надежды обезоружить ее, разжалобить. Не кажись мне такое сравнение слишком глупым, я сказал бы, что смотрю на нее, как смотрел бы на Сюльписа Митонне или на м-ль Шанталь... Увы! Тут нужны были бы неведенье и простота младенца.

Прежде чем я узнал свой жребий, меня не раз посещал страх, что я не сумею достойно умереть, когда настанет мой час, ибо я, нет сомненья, ужасно впечатлителен. Мне вспоминаются слова дорогого старого доктора Дельбанда, которые я, кажется, приводил в этом дневнике. Говорят, что монахи и монахини приемлют смерть не слишком смиренно. Но теперь эти опасения меня больше не мучат. Я хорошо понимаю, что человек, уверенный в себе, в своем мужестве, может желать, чтобы его агония была чем-то совершенным, безупречным. Моя же агония, за неимением лучшего, пусть будет такой, как будет, только и всего. Не звучи это слишком дерзко, я сказал бы, что для истинно любящего сердца самая прекрасная поэма не стоит неуклюже пролепетанного

признанья. Подумавши, я прихожу к выводу, что такое сравнение никого не может оскорбить, ибо человеческая агония - прежде всего акт любви.

Возможно, Господу будет угодно сделать из моей пример, урок. Но если она вызовет жалость, это ничуть не хуже. Что тут такого? Я любил людей и чувствую, что этот мир живых был дорог мне. Я умру не без слез. Нет ничего более чуждого мне, чем стоическое равнодушие, с какой же стати мне желать смерти, которой умирают люди бесстрастные? Герои Плутарха внушают мне одновременно страх и скуку. Войди я в рай в этаком маскарадном костюме, мне кажется, я вызвал бы у всех, вплоть до моего ангела-хранителя, насмешливую улыбку. Чего мне тревожиться? Зачем заглядывать вперед? Если мне будет страшно, я скажу: мне страшно, без всякого стыда. И пусть первый взгляд Господа, когда я предстану перед его божественным ликом, будет взглядом ободрения!

Я задремал на мгновение, положив голову на стол. Должно быть, рассвет уже близко, слышны тележки молочников.

Мне хотелось бы уйти, не повидавшись ни с кем. К сожалению, это не так-то просто, даже если я оставлю на столе записку, пообещаю вскоре

вернуться. Мой друг не поймет меня.

Что могу я сделать для него? Боюсь, он откажется повидаться с г-ном торсийским кюре. Еще больше боюсь, как бы г-н торсийский кюре не ранил жестоко его тщеславия и не побудил к какому-нибудь безрассудному, отчаянному поступку, на который он вполне способен из упрямства. Нет, я нисколько не сомневаюсь, что мой старый наставник в конце концов одержал бы верх над ним. Но если верить этой бедной женщине, надо спешить.

Да и с ней самой надо спешить... Вчера вечером я старался не подымать на нее глаз, она, боюсь, все прочла бы в них, а я не был уверен в своей правоте. Нет! Я не был достаточно уверен! Напрасно я твержу себе, что любой другой на моем месте не стал бы ждать, а, напротив, нарочно вызвал бы слова, которых я так опасался,- я все-таки далеко не убежден, что это нужно. "Уезжайте, - полагаю, сказал бы ей всякий другой священник, - уезжайте. Пусть он умрет вдали от вас, примирившись с церковью". И она бы уехала. Но уехала бы, не понимая, просто покорясь, как всегда, извечному инстинкту своей породы, безропотной породы, испокон века обреченной ножу мясника. Она затерялась бы в людской толпе со своим

смиренным горем, своим невинным протестом, не находящим для своего выражения ничего, кроме покорности. Не думаю, чтобы она была способна проклинать, ибо невообразимое неведение, сверхчеловеческое неведение ее сердца - из тех, над которыми бдит ангел. Не слишком ли жестоко уж и то, что никто так и не научит ее поднимать свой отважный взор к лику Всеприемлющего? Возможно, Господь принял бы от меня бесценный дар руки, не ведающей, что она дает? Но я не осмелился. Пусть г-н торсийский кюре поступит, как сочтет нужным.

Я прочел все положенные молитвы, отворив окно во двор, похожий на черный колодец. Но мне кажется, что угол стены, обращенной на восток, начинает светлеть над моей головой.

Я завернулся в одеяло, даже натянул его слегка на лицо. Мне не холодно. Обычная боль не терзает меня, но тошнит.

Если бы я мог, я ушел бы из этого дома. Так приятно было бы снова пройтись по пустынным улицам, как вчера утром. От моего визита к доктору Лавилю, от часов, проведенных в кафе г-жи Дюплуи, у меня осталось только какое-то смутное воспоминание, и когда я стараюсь сосредоточиться, восстановить подробности, мною

овладевает невероятная, неодолимая усталость. То, что тогда во мне страдало, уже не существует, уже не может существовать. Какая-то часть моей души утратила чувствительность, останется бесчувственной до конца.

Конечно, я сожалею о слабости, проявленной перед доктором Лавилем. Но мне следовало бы стыдиться, что я нисколько не угрызаюсь из-за ложного представления о священниках, которое сложилось по моей вине у этого человека, такого твердого, решительного. Ну и пусть! Все это позади. Недоверие, которое я испытывал к себе, к своей особе, рассеялось, думаю, навсегда. Конец борьбе. Я ее больше не понимаю. Я примирился с собой, с этими бренными останками.

Ненавидеть себя легче, чем думают. Благодать в том, чтобы себя забыть. И если бы всякая гордость угасла в нас, высшей благодатью было бы смиренно возлюбить себя - один из страдающих членов Господа нашего Иисуса Христа.

Письмо г-на Луи Дюфрети г-ну Торсийскому кюре.

ПОСТАВКА АПТЕКАРСКИХ И МОСКАТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ

Луи Дюфрети, торговый представитель.

Лилль... февраля 19... года

Господин кюре,

Сообщаю вам без промедления просимые вами подробности. Впоследствии они будут дополнены рассказом, который мое состояние здоровья пока не позволяет мне окончательно отделать и который я намерен опубликовать в "Кайе де ла женесс лиллуаз", скромном журнале, где я сотрудничаю в часы досуга.

Позволю себе выслать вам соответствующий номер, как только он появится в продаже.

Посещение моего друга доставило мне живейшее удовольствие. Наша взаимная привязанность, возникшая в самые прекрасные годы юности, была из тех, которым нечего бояться враждебных ударов времени. Полагаю, впрочем, что сначала в его намерения не входило затягивать свой визит дольше, чем это необходимо для доброй братской беседы. Часов в семь вечера он почувствовал легкое недомогание. Я счел должным не выпускать его из дому. Моя квартира, хоть она и скромна, казалось, очень ему понравилась, и он охотно принял предложение переночевать у меня. Добавлю, что сам я, из деликатности, попросил приюта у одного друга, живущего по соседству.

Сон не шел ко мне, и часа в четыре я тихонечко заглянул в его комнату мой бедный друг был распростерт на полу, без сознания. Мы перенесли его на кровать. Как мы ни были осторожны, боюсь, это повлекло за собой фатальный исход. Его сильно вырвало кровью. Поскольку особа, разделявшая тогда мою жизнь, получила серьезное медицинское образование, она смогла оказать ему необходимую помощь и объяснить мне, в каком он состоянии. Прогноз был самый мрачный. Однако кровотечение прекратилось. Пока я ждал врача, наш бедный друг пришел в сознание. Но не говорил. Капли густого пота стекали с его лба и щек, а взгляд, едва различимый под полуприкрытыми веками, казалось, был полон тоскливого страха. Я заметил, что пульс его быстро слабеет. Соседский мальчик побежал за дежурным священником, викарием прихода святой Остреберты. Умирающий знаками дал мне понять, что просит четки, я взял их из кармана его брюк, он прижал четки к груди и держал так до последней минуты. Казалось, силы начинают к нему возвращаться, едва слышным голосом он попросил меня отпустить ему грехи. Лицо его стало спокойнее, он даже улыбнулся. Хотя трезвая оценка положения обязывала меня не

слишком спешить с выполнением его просьбы, гуманность и дружба не позволили мне отказаться. Добавлю, что я, как мне думается, выполнил этот долг с чувством, которое должно избавить вас от всяких тревог.

Священник все еще заставлял себя ждать, и я счел необходимым выразить моему несчастному товарищу свое огорчение по поводу того, что из-за этого опоздания он рискует лишиться того утешения, которое церковь хранит для умирающих. Он, казалось, не слышал меня. Но несколько минут спустя он положил свою руку на мою, призывая меня взглядом приблизить ухо к его губам. И тут он отчетливо, хотя и чрезвычайно медленно, произнес - заверяю вас, что передаю его слова совершенно точно: "Что с того? Все - благодать".

Мне кажется, он умер почти в тот же миг.